

# Луи Дюбрейль

## КОММУНА 1871 года

Перевод с французского и предисловие Н.С.Тютчева  
Петроград: государственное издательство. 1920

Веб-публикация: Vive Liberta, 2010  
[http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio\\_1.htm](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm)

Документы, исследования, публицистику, посвященные Парижской коммуне 1871 года и отдельным ее деятелям, можно читать и скачивать здесь, в специальном разделе нашей библиотеки:  
[http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio\\_1.htm#commune](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm#commune)  
а также  
<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p64478563.htm>  
<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p70661197.htm>  
<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p72861790.htm>  
<http://www.diary.ru/~vive-liberta/p81555317.htm>  
а также  
[http://vive-liberta.narod.ru/biblio/folk\\_1.htm#commune](http://vive-liberta.narod.ru/biblio/folk_1.htm#commune)  
а также [http://community.livejournal.com/znanie\\_vlast/](http://community.livejournal.com/znanie_vlast/)  
а также <http://politazbuka.ru/>

### О Г Л А В Л Е Н И Е .

	СТР.
I. Предисловие . . . . .	III
Глава I. Осажденный Париж . . . . .	1
» II. Париж вне закона! . . . . .	18
» III. Восемнадцатое марта . . . . .	31
» IV. Мэры и Центральный Комитет . . . . .	41
» V. Коммуна избрана . . . . .	64
» VI. Перед неизвестным . . . . .	72
» VII. Затруднения . . . . .	90
» VIII. Тьер за работой . . . . .	108
» IX. Вылазка 3 апреля . . . . .	114
» X. Коммуна в провинции . . . . .	130
» XI. После вылазки . . . . .	141
» XII. Под стенами Парижа . . . . .	155
» XIII. Комиссии и делегации . . . . .	162
» XIV. Миротворцы . . . . .	175
» XV. Политика Коммуны . . . . .	186
» XVI. На пути к гибели . . . . .	192
» XVII. За баррикадами . . . . .	218
» XVIII. Трехцветный террор . . . . .	239
» XIX. Несколько замечаний . . . . .	268

148

### ПРЕДИСЛОВИЕ.

«Коммуна 1871 года» Луи Дюбрейля входит, как отдельная монография, в серию «Социалистической Истории» Франции, охватывающую период со времени Великой революции до конца минувшего века (с 1789 по 1900 г.)<sup>1)</sup>.

Этот капитальный исторический труд покойного великого социалистического трибуна Франции Ж. Жореса проредактирован им в каждом его отделе, а четыре первых тома, обнимающих собою историю Французской революции, до 8 Термидора (1794 г.), и последний том серии—«Социальные итоги XIX века»—резюме и выводы всего исторического исследования—написаны

<sup>1)</sup> Прим. В эту серию вошли следующие отдельные монографии:

I. Ж. Жорес. Учредительное Собрание.

II. » » Законодательное Собрание.

III и IV. » » Конвент.

V. Г. Довиль. Термидор и Директория.

VI. П. Брусс и А. Тюро. Консульство и Империя.

VII. Р. Вивиани. Реставрация.

VIII. Е. Фурньер и Руанэ. Царствование Людовика Филиппа.

IX. Мильеран и Ж. Ренар. Республика 1848 г.

X. А. Тома и Ж. Жорес. История Второй Империи.

XI. Ж. Жорес. Франко-Прусская война.

XII. Л. Дюбрейль. Коммуна.

XIII. Ж. Лабюссьер. Третья республика (1871—1885).

XIV. Ж. Ришар. 1835 - 1900.

XV. Ж. Жорес. Социальные итоги XIX в.

им самим. Им-же описана «Франко-Прусская война», а в содружестве с А. Тома также и «История Второй Империи».

Одно уже имя Ж. Жореса, как редактора и автора, говорит достаточно за ценность и объективность «Социалистической Истории», и не только социалисту по убеждениям, но и всякому образованному человеку иного мировоззрения, ибо великие люди тем и отличаются от простых смертных, что их слова и деяния, если они не касаются специальной партийной области, — авторитетны для всего культурного мира.

Отбросив прагматический и догматический методы описания исторических событий и развития идей, Ж. Жорес обратил главное внимание на экономическую базу развития различных классов населения, приводящую их к последовательному завоеванию политического господства в государстве. Конечно, не будучи узким догматиком исторического материализма, Ж. Жорес придает соответствующее влияние, и порою громадное, и другим факторам развития человечества — эволюции идей, прогрессу общей культуры всего общества, завоеваниям научной мысли во всех отраслях знания и техники и т. д. Но все они в конечном счете приводят к одному — к экономическому преобладанию известного класса.

В частности Ж. Жорес наглядно доказал анализом тех статистических данных, которые имеются в распоряжении историка и относятся к вершине, непосредственно предшествовавшему Великой революции, а также и охватывающему первые ее годы, что фактически, еще до начала революции, французская буржуазия, благодаря своему экономическому положению, завоеванному во всех сферах промышленности, торговли и транспорта (главным образом морского), уже пользовалась преимуществами господствующего класса. Революция оформила лишь то, что уже существовало ранее, как реальное данное.

То же основное положение о постепенной, но вечно прогрессирующей эволюции классового самосознания и фактического захвата трудящимся классом господствующего экономического влияния, в известный момент их созревания переходящих в торжествующую революцию, санкционирующую уже фактически

сложившиеся междуклассовые отношения, — то же основное положение проведено во всей «Социалистической Истории» и по отношению к грядущему торжеству социализма.

По мысли Ж. Жореса и его литературных сотрудников, рабочий класс, при помощи профессиональных и кооперативных своих учреждений, готовит себя к будущему господству — политическому и экономическому; но завоевать его он в состоянии будет лишь тогда, когда фактически будет готов к этому, а равно и его соседи — трудовые элементы соседних стран. Жорес не допускал возможности осуществления социалистического строя в одной изолированной стране.

Отсутствие в наличности этой именно необходимой предпосылки успешности всякого движения и вызвало разгромы пролетариата Франции в 1848 и в 1871 г.

Вся серия снабжена во французском издании многочисленными, современными событиями иллюстрациями и гравюрами, умело подобранными, которые всегда так помогают читателю войти, так сказать, в самую жизнь описываемой эпохи. К сожалению, переживаемый нами тяжелый период дороговизны и даже порою полного отсутствия необходимых технических средств лишает возможности дать читателю «Историю Коммуны 1871 г.» с этими иллюстрациями.

Автор ее Луи Дюбрейль долгие годы был бессменным секретарем Бюро социалистической партии Франции. Его монография о Коммуне 1871 г., написанная им 35 лет спустя после трагического ее конца, отличается среди других трудов о Коммуне редкой объективностью и беспристрастием. Не щадя эвфемизмов, Дюбрейль не только не закрывает глаз, говоря о лицах, участвовавших в парижском и провинциальном движении 1870—71 г., но бесстрастно вскрывает их ошибки, а также и нерешительность и колебания самой Коммуны в целом, отсутствие у нее, как руководящего органа движения — программы, что, в своей совокупности, и привело так быстро к гибели все движение, сначала в провинции, а затем и в Париже.

Могло ли восторжествовать рабочее движение 1871 г.?

Л. Дюбрейль дает на этот вопрос категорический ответ: и да, и нет.

Оно могло завершиться победой и упрочиться, как движение коммунальное (муниципально-автономное) и демократическое, задающееся целями социальных (а не социалистических) реформ, но оно не имело никаких шансов на успех и победу, как классовое рабочее движение, т. е., другими словами, как социалистическое.

Анализируя состояние французского пролетариата в те годы, его еще полную неподготовленность к тому, чтобы взять в свои руки все производство и управление великой страной, соотношение борющихся сил (причем на стороне Версаля, т. е. земельно-промышленно-торговой буржуазии, стояла и победоносная Пруссия, с графом, впрочем, тогда уже князем, Бисмарком во главе!) и почти полный нейтралитет провинции, почти изолированной от Парижа и частью не гонимавшей его, а частью питавшейся исключительно лишь лево-тенденционными сообщениями вожака версальцев, главы исполнительной власти А. Тьера,—анализируя все это, Дюбрейль приходит к выводу, что в марте 1871 г. когда провозглашена была коммуна (18-го марта), было уже поздно надеяться даже на торжество движения, как исключительно коммунально-демократического. Оно могло-бы восторжествовать укрепиться и увлечь за собою всю Францию, если-бы ему удалась двукратная попытка захвата власти в октябре 1870 г., или даже третья попытка в январе 1871 г.—до капитуляции Парижа. Попытки эти, вызванные возмущением парижского населения двуличную политикой правительства Национальной Защиты, здоровыми чувствами самообороны против обложившего и бомбардировавшего Париж врага, энтузиазмом геройского населения великого города, стремившегося прорвать эту блокаду и, соединившись с остальной Францией, изгнать врага из пределов родины,—попытки эти, говорит Дюбрейль, к сожалению, не удались. В случае-же их удачи Париж с полным правом мог рассчитывать объединить вокруг себя всю Францию.

После-же подписания предварительных условий мира, разбитая и уставшая страна не нашла в себе мужества возобновить

несравнимо уже борьбу, и департаменты, еще не занятые пруссаками (а они составляли громадное большинство!), принося в жертву две провинции, из боязни угрожавшей и им оккупации, послали в Национальное Собрание депутатов с мандатами: мир—во что бы то ни стало.

Таким образом, положение в смысле возобновления военных действий создано в марте 1871 г. настолько безнадежное, что Коммуна даже и не попыталась открыто возбуждать этого вопроса. Что, действительно, мог предпринять в этом отношении один Париж? Все северо-восточные его форты были уже сданы по условиям перемирия торжествующему врагу, и дальнобойные орудия этих фортов направлены были уже на Париж... Ему оставалось одно: ожидать решения Франции и погибнуть героически под своими развалинами—к чему он был готов,—в случае героического ее решения. Мы знаем, что решение это оказалось мешански-шкурным... Отсюда и упомянутое уже умолчание Коммуны о тех чаяниях и об общественном патриотическом настроении, в недрах которых заложены были первопричины всего движения, вызвавшего ее в конце концов к жизни.

Позиция Коммуны в этом отношении законна и понятна, что не помешало, однако, разным либеральным «героям задним числом», даже и таким корректно-чистоплотным, например, как Эдмонд Гонкур, бросить ей и этот упрек; давно, впрочем, уже известно, что побежденный во всем и всегда виноват, даже и в неисполнимом...

Но, как бы то ни было, Париж был изолирован, объединить вокруг себя всю Францию на этой почве он уже не мог, а потому и движение его обречено было с самого начала на неуспех, так как официальное представительство Франции—архиконсервативное и буржуазное Национальное Собрание—сразу почувствовало в парижском движении и другой его характер—*пролетарский*, т. е. поняло, что имеет дело с врагом.

Франция объявила Парижу войну: результаты не могли быть иными, кроме его разгрома...

Как социалистическое движение, Коммуна 1871 г. тоже уже заранее осуждена была на неуспех.

Дюбрейль говорит, что в Париже той эпохи грани между классами фактически были выражены менее резко, чем к началу нашего века. Поэтому Коммуне трудно было помочь в самой основе экономическим интересам различных категорий работников, живущих заработной платой, не затрагивая одновременно избытка и интересов многочисленного сословия мелких производителей-ремесленников, еще владевших орудиями труда. А, с другой стороны, систематически экспроприаторская политика была невозможна для Коммуны и потому еще, что наемные рабочие, в общей своей массе, еще не способны были усвоить самую возможность функционирования общества на иных началах, кроме традиционно капиталистических. Они не имели еще ни одного синдикального или кооперативного учреждения, которое могло-бы обеспечить нормальное функционирование производства и обмена в случае уничтожения всех капиталистических учреждений.

«Новый порядок вещей, особенно социальный порядок— говорит Л. Дюбрейль—нельзя вводить при помощи декретов; декреты и законы должны только санкционировать уже существующие отношения. Пытаясь на этой почве опередить время, Коммуна, вероятно, достигла-бы только того результата, что направила-бы против себя часть своих собственных сил, и притом лучших сил, не вызвав притом в среде самого пролетариата более энергичного подъема и большей к себе преданности. Коммуне оставалось, в виду этого, лишь работать под видом демократизации политических учреждений над подготовкой общего социального преобразования, чем она и занялась.

Но и тут ее встретили почти непреодолимые затруднения: пролетариат не мог еще выделить из своей среды достаточного контингента интеллигентных сил, которые не только способны были бы функционировать, как руководящие общественные силы, но даже и как средний служебный персонал многочисленных служб и общественных учреждений Парижа. А их прежний персонал или саботировал, или-же совсем покинул город, подчинившись приказу Версаля. Вследствие этого Коммуне даже с большим трудом удалось лишь кое-как наладить возобновление

функционирования всех этих городских служб, и она вынуждена была оставить мечту о политике непосредственных широких социальных реформ, отложив ее на будущее.

Отсюда и ее робкая политика в сфере экономических отношений.

Единственный изданный ею декрет, носивший до известной степени социалистический характер, относился к покинутым хозяевами мастерским и фабрикам: их решено было экспроприровать (впрочем, вознаградив их хозяев известной денежной суммой) и передать в эксплуатацию кооперативным ассоциациям рабочих, которые и должны были уплатить упомянутое уже вознаграждение прежним хозяевам этих фабрик. Но даже и этот декрет фактически осуществлен не был, и дело ограничилось, в виду кратковременности существования самой Коммуны, одними лишь подготовительными его обсуждениями.

Декреты Коммуны, касающиеся сроков платежей за квартиры и отсрочек уплат по торговым векселям, за период осады и до марта 1871 г., хотя и очень благодетельные для населения, не носили даже и этого социалистического характера.

То же самое следует сказать и о декрете, разрешавшем безвозмездную выдачу из ломбардов залогов на сумму, не превышавшую 20 франков, и совершенных до 20 апреля, если заложены были: одежда, белье, постельные принадлежности, домашняя утварь или орудия труда.

Ломбарды были учреждениями государственными, следовательно, государство просто дарило своим неимущим гражданам по 20 франков (по 5 р. 33 коп.)! Декрет о конфискации имущества духовных конгрегаций, что и до этого неоднократно уже совершалось буржуазными правительствами, тоже не носил социалистического характера.

Но, несмотря на все это, по своей сущности Коммуна была, все-же, первым крупным генеральным сражением труда с капиталом, а ее республиканство было бессознательным социализмом, который в будущем несомненно угрожал социальным основам старого общества и таил в себе задатки нового строя.

Поэтому то в глазах всемирного пролетариата она и оставалась светочем борьбы за лучшее будущее, как до нее таким же светочем было июньское движение рабочих 1848 г.

С той поры колесо истории вновь перевернулось, уступив место современному великому движению всемирного пролетариата. Движения 1848 и 1871 г.г. еще более отодвинулись в глубь истории, и, в свою очередь, современная нам революция, каков бы ни был ее конечный исход в данное время, явится в глазах наших преемников новым светочем борьбы за право трудящихся и за всемирную справедливость; светочем этим они будут вдохновляться и руководиться.

Память о Коммуне 1871 г. и благоговейное отношение к ее борцам, павшим в конечном счете истории все же за Интернационал, были живы среди парижского рабочего населения до самого последнего времени, выражаясь его демонстрациями в годовщину восстания—18 марта и массового расстрела коммунаров на кладбище Пер-Лашез—27 мая.

К вечеру этого дня, 27 мая 1871 г., обширное, поросшее деревьями кладбище Пер-Лашез, где отчаянно сопротивлялись остатки коммунаров, уже с полудня выпустивших последний свой артиллерийский снаряд, было, наконец, взято версальцами, и все захваченные раненые и нераненые коммунары были беспощадно расстреляны из митральез. Их загоняли к стене кладбища, в пространство между стеной и вырытым для их могилы рвом, и расстреливали в упор, группами. В эти группы попали все захваченные: в том числе и жены коммунаров с детьми, даже с грудными. По окончании экзекуции вся масса трупов (около 200) была свалена, как негодная говядина, в ров, тут же и заваленный. Сколько попало в него еще неполные добитых федералистов—неизвестно, но свидетели слышали, после этого, стоны, раздававшиеся из этой братской могилы...

Ежегодно 27 мая рабочий Париж совершал после этого чаломничества на кладбище, к этой «Стене федералистов» («Le mur des Fédérés»). И замечательно, что с каждым годом эти народные демонстрации делались все многочисленнее, достигнув в последние годы перед всемирной войной десятков тысяч участ-

ников; в них участвовала рабочая масса и делегации рабочих и синдикальных обществ.

Правда, одна из неизменно присутствовавших групп демонстрантов год от году убывала: группа участников Коммуны, вернувшаяся из Новой Каледонии и эмиграции после амнистии в конце 80-х гг. еще в количестве нескольких тысяч. В 1905 г., когда мне удалось быть на этой демонстрации, в этой группе насчитывалось еще несколько десятков ветеранов революции. В 1910 г. их было уже очень мало: 15—20 чел. Тут были уже дряхлые старики и старухи, поддерживаемые под руки сыновьями или внуками, но были еще бодрые патриархального облика старцы, гордо несущие свои седые головы. Были тут Вальян, Амилькар, Чичериани <sup>1)</sup> и другие. Один старик, с еще богатой совершенно седой шевелюрой и в костюме конца 60-х годов, особенно врезался мне в память: он вел за руки двоих детей—девочку лет пяти и мальчика лет семи... *Прошлая борьба за лучшее будущее человечества ведет в ту же борьбу ее будущее.* «Шапки долой!» Последние живые представители «мертвецов Коммуны» пришли приветствовать рабочий Париж и отдать дань уважения своим павшим товарищам! И толпа, при проходе этой группы, благоговейно обнажает головы...

Но не так встречают толпу в воротах кладбища и на нем самом, занятом сильными отрядами полиции и ее резервами.

Демонстрантов впускали на кладбище «пачками», которые и направлялись после этого по мосткам, оцепленным агентами, к «Стене федералистов». Перед нею устроена была еще другая—сортировочная—застава: «пачки» разбивались на более мелкие—человек в 20, которые и пропускались далее к самой стене; здесь никто не смел ни останавливаться, ни задерживаться, а тем более говорить или издавать какой-либо возглас: нарушителей тотчас же арестовывали и препровождали в суд исправительной полиции.

Знаменитая стена, заросшая уже лишайниками, изрешетена выбоинами от пуль, кое-где образовавших значительные впа-

<sup>1)</sup> Чиприани.

дини. На самой стене, покрытой бесчисленными, выцарапанными, очевидно ножами или гвоздями, надписями с именами погибших, прибиты полуистлевшие, а частью новые, венки из иммортелей; такие же венки в изобилии приставлены и к подножию стены. В 900-х годах правительство республики разрешило, наконец, поставить памятник расстрелянным на Пер-Лашез. Памятник этот, чрезвычайно оригинальный по замыслу, производит глубокое впечатление своей истинной реальностью.

Изображена в копии та же «стена федералистов» с пулевыми выбоинами, на ней выгравированы поясные абрисы, как бы тени, или призраки расстрелянных... И кого, кого тут только нет! Федералист в цвете сил, раскрывающий свою грудь и что-то очевидно кричащий, женщина с грудным ребенком у открытой груди, старик, может быть, борец 1848 г., дети, подростки, старухи, интеллигенты и рабочие, национальные гвардейцы и солдаты, опять дети...

Продефилировавшую мимо «стены» часть публики немедленно выпроваживали с кладбища, не позволяя ей задерживаться. Впечатление от этой демонстрации получалось сильное: чувствовался все более накипавший гнев толпы, но чувствовалась также и несокрушимая крепость власти, перед которою этот гнев уходил вглубь, сдерживался и проявлялся лишь во взглядах и судорожно сжимающихся кулаках.

История, не повторяясь никогда по существу, повторяется иной раз своей видимостью, например, в тех впечатлениях, которые развивающиеся революционные события и участвующие в них лица производят на так называемого обывателя. Весьма показательны в этом отношении свидетельства уже упомянутого нами известного французского романиста Э. Гонкура, внесшего в свой «Дневник» то, что он видел в дни Коммуны, или что слышал, тоже среди обывателей. Аналогия с нашим временем полная; порою, читая дневник Э. Гонкура, даже не веришь глазам: так все это сходно с современностью!

Дюбрейль почти не коснулся этих впечатлений заурядного парижского обывателя от переживавшихся им при Коммуне событий, он указал лишь на разнуждавшуюся ярость парижского буржуа, в тот момент, когда Коммуна была уже подавлена, ярость, требовавшую крови, больше крови...

Приведем поэтому несколько параллелей из «Дневника Э. Гонкура», гармонирующих с современными отзывами печати и обывателей о совершавшемся и совершающемся у нас в настоящее время. Параллели эти весьма поучительны для ознакомления с вечно одинаковой психологией так называемого «обывателя».

Вот эти места «Дневника»:

«18 марта. Булочница рассказывает, что на Монмартре дерутся. Я выхожу и встречаю лишь изумительное равнодушие к тому, что происходит там. Население столько перевидало за шесть месяцев, что ничто, видимо, не может его взволновать.

19 марта... На лицах парижан растерянность.... Нахожу афишу с именами нового правительства, именами столь неведомыми, что все это кажется мистификацией.

Эта афиша знаменует для меня смерть Республики... Прекрасная химера умов величаво мыслящих... неосуществима на основе буйных и мелких страстей французской черни. Для нее свобода, равенство и братство означают лишь порабощение или смерть высших классов.

...Улицы, ведущие к Ратуше, заграждены баррикадами, охраняемыми национальной гвардией. Я охвачен отвращением при взгляде на их тупые и низкие лица, которые торжество и опьянение покрыло особым лоском глупости. То и дело видишь, как они выходят, в копии набекрень, из патристических дверей кабаков...

21 марта. Кто то рассказывает нечто весьма показательное по поводу нового правительства. После разгрома полицейских архивов, первой заботой этих господ было уничтожение старых преситутуток.

28 марта. ...То, что творится, есть единственно покорение Франции рабочим населением и порабощение новым самодержавием.

вием дворянина, буржуа, крестьянина.... Власть переходит... к тем, которым совершенно безразличны порядок, устойчивость, сохранность.

1 апреля. Меня возмущает одно в этом режиме насилия и всяческих крайностей: это его *благодарное смирение перед мирным договором*, трусливое подчинение позорным условиям, это—сказал бы я—*чуть ли не дружеское отношение к германцам*... Я констатирую со скорбью, что в современных революциях *народ не сражается более... за принцип..*, что *любовь к родине—чувство, вышедшее из моды..*, что современное поколение встает лишь ради удовлетворения *утробных инстинктов* и что обжорство и пьянство одни могут побудить сегодня к героическому пролитию крови...

5 апреля... Было бы желательно, чтобы им досталась на 2 или 3 месяца победа, дабы они имели досуг для осуществления своей тайной программы и для осуществления своей анархической и противообщественной суди. *Этой ценой Франция, быть может, спасется...*

8 апреля. Сегодня (газеты) сообщают о провозглашении республики в России.

9 апреля. Привратник предупреждает меня, что в полдень должны явиться с обыском. Он советует спрятать оружие, если таковое имеется. *Эти господа забирают все*: оружие для украшения, для коллекций. Он сам видел, как уносили луки и стрелы дикарей...

12 апреля... Откуда эта жесточенность в обороне, какой не встречали немцы? Дело в том, что *идея Родины—при смерти*. Потому что *формула «народы-братья» одержала верх, даже в это время нашествия и жестокого разгрома*... Доктрина Интернационала просочилась в массы. Отчего еще это ожесточение в обороне? Оттого, что в этой войне *народ сам делает «кухню войны»*, ведет ее сам, а не под ярмом военщины...

18 апреля.... Афиши, вечно афиши и еще афиши. Белая бумага правительства образует настоящие утолщения на стенах.

20 апреля.... Роты составлены из стариков и подростков, которые кажутся детьми... Замечаю одного, несущего длинное

оружье, чья ребяческая рожица заставляет прохожих озираться состраданием...

По-прежнему *ложь и сообщения о победах, подписанные всеми этими иностранными именами*, которые подозрительны мне, словно генералы Пруссии, уступленные Франции, ради взаимного истребления и конечной гибели...

4 мая. ...Был в Ратуше... швейцар *не знает номера бюро печати*, а чиновники совершенно неведомы друг другу... В одной из гостиных национальные гвардейцы *от безделья дырявят штыками зеленую саржу* на люстрах. В коридоре *солдат бешено орет на офицера*... *всюду пахнет весьма дурно*... Вечером Верлен, известный поэт (знакомый Э. Гонкура), признается в невероятной вещи. Он заявляет, что ему пришлось оспаривать и воспрепятствовать проекту декрета: *постановлению, требующему уничтожения собора Парижской Богоматери* <sup>1)</sup>.

5 мая. *Скотское благодушие*, безразличие этого населения, *живущего под рукой торжествующей сволочи*, возмущает меня... О, эти нынешние парижане! Стали бы насиловать их жен... Сделали бы хуже, взяли бы у них кошельки... они остались бы тем, что они есть,—самыми трусливыми нравственно людьми, когда либо виденными мною.

7 мая. ... В церкви Св. Евстафия происходит открытие клуба... Некто в жемчужно-серых брюках заявляет злобным тоном, что победить можно единственно через террор. Он требует, чтобы немедленно покатались на площади головы изменников. Предложению этому неистово рукоплещет кляка...

Другой проповедник требует, чтобы были произведены обыски у буржуев, где *должны быть спрятаны большие продовольственные запасы*...

...На трибуну подымается член Коммуны, говорящий прямодушно и красиво... он выражает презрение к *звучным фразам* и... бросает смело и красиво: «Что мне из того, что мы победим

<sup>1)</sup> Об этом невероятном, чудовищном проекте не упоминает ни один из историков Коммуны. Но, вместе с тем, свидетельство Э. Гонкура, ссылающегося на известного поэта Верлена, стоит внимания... Н. Т

версальцев, если мы не отыщем разрешения социальной проблемы, если рабочий останется в тех же условиях?..»

16 мая. ...Эта национальная гвардия! Она поистине не заслуживает ни милости, ни пощады. Если бы сегодня то, что остается от Коммуны, от Комитета Общественного Спасения, было заменено *десятью заведомыми каторжниками*, хорошо ей известными, они выполняли бы рабски, без единого протеста, их разбойничьи предписания.

18 мая. Как будто бы всего того, что мы терпим, еще недостаточно: сегодня выясняется из газет перспектива германской оккупации...»

И наконец мы находим у автора «Дневника» своего рода: «Ныне отпускаешь раба твоего!..»

29 мая. «Читаю расклеванное на стенах воззвание Мак-Магона, объявляющее, что все закончено вчера, в четыре часа»...

Здесь мы прерываем цитаты, так как отношение парижского буржуа к возмездно «коммунарам» достаточно ярко очерчено самим А. Дюбрейлем.

Н. Тютчев.

Всероссийское Общество Рабочих и Со-владельцев  
Уральское Отделение

## ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.

### I. Осажденный Париж.

Коммуна запоздала своим возникновением на полгода. Когда события и скорее обдуманное тайное происки ее противников, чем сознательные побуждения ее сторонников, привели, наконец, к ее провозглашению, благоприятные для нее условия уже минували и пролетарское движение было уже заранее осуждено на поражение, было обречено на гибель и бойню.

8-го октября и 31-го октября (1870 г.) в осажденном пруссаками Париже, кипящем, как кратер, в Париже, опьяненном святым гневом и широкими надеждами, когда еще народная энергия клочкотала и не была израсходована, для провозглашения Коммуны были как раз подходящие моменты. Даже 22-го января, несмотря на бомбардировку и питание населения рационами, несмотря на Шампиньи и Бюзанвиль <sup>1)</sup>, время не было еще упущено.

Но после заключения мира, сдачи фортов, после того, как пушки неприятеля уже непосредственно господствовали над городом, на всем протяжении от Сен-Дени до Венсеня, когда все провинции вновь охватили апатия и животное прозябание, возможны были лишь героический порыв и грандиозная жертва, хотя почти и бесполезные. Привилегированные классы могли бесцеремонно смеяться над безнадежным восстанием доведенного до крайности народа. Действительно, этот народ мог избежать

<sup>1)</sup> Неудачные для парижан вылазки. Пр. пер.



поражения, только бросившись под пяту пруссака, который— а в этом они были патриотически уверены—вернет его им-же обратно, но расстрелянным и истерзанным.

Припомним другую Коммуну, первую Коммуну 1792—93 г.г. Она захватила власть, увлекла за собою Конвент, а через Конвент и всю нацию, только потому, что хотела и сумела охватить и вместе с тем задушить своими крепкими объятиями как внешнего врага, так и внутреннего предателя. Она не отступала ни в своей смелости, ни в борьбе, и те удары, которые нанесены были ею 10 августа и 2 сентября у себя дома заговорщикам, и предыдущие при Вальми и Жемаппе,—которые она обрушила при помощи своих санкюлотов на голову завоевателя, имели в виду одну и ту-же цель, приводили к одному концу—к сокрушению того старого мира, разрушение которого Коммуна считала своей задачей, необходимой для завершения революции. Этот-то двойной натиск и доставил Коммуне господство, он сдунул своим бурным дыханием, как соломинку, королевскую власть, дворянство, духовенство и основал новую Францию.

Точно также и для второй Коммуны повод для ее существования и возможность иметь влияние, продолжать свою деятельность и победить заключались только в том, чтобы она, как и первая революционная Коммуна, одновременно восстала как против внешнего врага, завоевателя-прусска, так и против внутреннего врага, буржуа-капитулянта, и одним и тем-же натиском напала на обоих. Ее спасение и торжество зависели от этого двойного удара, от этого одновременного нападения, не различающего капитализма в остроконечной каске, обрушивающегося из Германии, от туземного капитализма, его соучастника, нетерпеливо стремившегося к подчинению и капитуляции, так как он прекрасно понимал, что всякая победа Парижа была бы победой пролетарской, победой революции.

Во время самой осады рабочий класс понял необходимость единоробства со всею совокупностью капиталистических сил, как национальных, так и иностранных, и употребил все усилия, действуя при помощи своих наиболее проникательных и горячих элементов, чтобы вызвать эту борьбу.

Благодаря этому и произошли различные инсurreкционные движения батальонов рабочих кварталов Бельвиля и Монмартра, целью которых являлось изгнание из Ратуши (городской думы) занимавших ее буржуа и установление диктатуры рабочего класса, которая должна была явиться руководящей силой республики и власти.

Обстоятельства для таких попыток складывались чрезвычайно благоприятно. Чтобы защитить Париж, обложенный с половины сентября и ожидающий вскоре бомбардировки, необходимо было вооружить население, призвать в ряды национальной гвардии всех взрослых, способных носить оружие. В первый момент потребовали было ограничиться известным подбором, тщательно собрать 80 или 90,000 человек; но под давлением ясно выраженной воли населения, непрерывных демонстраций предместий, требований марсов, побуждаемых населением, правительство вынуждено было пойти до конца и снабдить всякого гражданина обмундировкой, оружием и патронами. Таким образом наряду с несколькими тысячами крупных буржуа, изолированно генушинскими в громадном целом, бок о бок с несколькими десятками тысяч людей, взятых из лавок и контор, в тех-же рядах оказались двести или двести пятьдесят тысяч вооруженных пролетариев. С 1793 г. не видано было подобного рода зрелища: все жители города, и какого города—Парижа-столицы!—снабжены были двумя орудиями освобождения: избирательной запиской и винтовкой.

Понятны поэтому были правительственные и буржуазные опасения, возникшие с самого начала, и все усиливавшиеся боязнь и тревога, которыми сопровождалась до самого конца совещания «Национальной Задатьи» Вооружить парижский народ—это значило то-же, что вооружить революцию и нарушить к выгоде производителя и получающего заработную плату то искусно налаженное равновесие сил, которое одно только и делает возможным сохранение капиталистического неравенства.

И никто не был лучше знаком с этим народом, чем три Жюльа: Фавр, Симон и Ферри, чем Ликар, Гарнье-Паже и все их статисты.

Народ этот составляли ремесленники предместьев Сент-Антуана и Тампля, а за ними стояли еще более плотные и компактные массы более отдаленных кварталов, многочисленные рабочие массы Бельвиля, Монмартра, Гренеля, Ля-Глясьеры, уже захваченные, в своей передовой части социалистической пропагандой прудонистов, Интернационала и бланкистов.

Начиная с 1862 г., это население, оправившись после ужасного июньского кровопускания (1848 г.), объявило империи борьбу на смерть; оно находилось в постоянном движении, всегда на-стороже, осаждало клубы, где раздавалось слово политического и социального освобождения, собиралось на бульварах при всякой манифестации в числе 10 и 20,000, участвовало в количестве сотни тысяч в процессии, шедшей за погребальной колесницей Виктора Нуара.

Правда, этот-же народ послал Фавра, Пикара и других своими представителями в Законодательном Корпусе. Но с какою целью? Потому, что он думал, что с их известными именами, их знаменитостью, как адвокатов или писателей, они являлись лучшими снарядами, как говорили тогда, для бомбардировки твердыни империи. Но возлагать на них свои надежды—народ перестал уже давно. Почти ежедневно между избранными и избирателями возникали трения, так как первые удовлетворялись детской игрою в оппозицию, становившуюся все более и более платонической и лояльной, и готовились, быть может, проделать, подобно Эмилю Оливье, полное обращение в либеральную империю, а вторые стремились к неизменной, непримиримой оппозиции, к завоеванию республики силою.

Могли-ли после этого Фавр, Пикар, Симон, в свою очередь ставшие властью, доверять этому народу и не остерегаться его? Раньше они боялись его, теперь они уже ненавидели его. К тому-же они хорошо понимали, чего именно стремились достигнуть эти массы. Они сознавали, что республика, о которой они так страстно мечтали и которая была, наконец, у них в руках, не являлась для этих масс, как для них самих, пустым призраком, простой каррикатурой режимов гнета и привилегий, уже испытанных ими в течение восьмидесяти лет, но была живой и действующей испкупительницей, наставницей новых времен, ломающей свое копье о забрало всего прошлого, несущей в тяжелых складках своего пеплума <sup>1)</sup> всем ограбленным и подавленным трудящимся: спокойную уверенность, благосостояние, свободу; массы видели в этой республике побежденную и подавленную в июне 48 г. демократическую и социальную республику. В глазах будущих палачей, которые были прежде всего буржуа, а затем уже республиканцами, если вообще в них что-либо еще оставалось от республиканских идей, такая вера являлась уже преступлением, а подобные надежды—смертным приговором.

Таково было положение 4 сентября и таковы были действующие лица начинавшейся драмы, эпилог которой должен был разыграться в Коммуне.

Парижский народ, не захватив в этот торжественный момент в свои руки власть в Париже и еще раз отрекшись от нее, возложив на других заботы о своей защите, совершил ошибку, и эта ошибка превратилась в его наказание. Заняв Законодательный Корпус, прогнав из него лакеев человека декабря-

ского переворота и об'явив его низложение, народ мог сохранить за собою только что завоеванную власть. Увлечение, прищипка, недоверие к себе и к своим политическим способностям явились причиной того, что народ сам себя отдал в руки тех, которые оплачивали его труд, как будто бы с целью еще раз убедиться в их слабости и вероломстве, и единственным правом которых было то, что они считались его избранниками, избранниками Парижа.

Но, во всяком случае, этот отказ народа от власти не был полным его устранением: уже вечером 4 сентября правительство «Национальной Защиты», еще не успевшее взять в свои руки правление, посетили первые делегаты рабочего класса. Эти делегаты посланы были из Кордери <sup>1)</sup> и являлись уполномоченными парижской секции Интернационала и Федерации Рабочих Синдикальных Палат.

Делегатов принял Гамбетта и выслушал их заявление. Делегация эта явилась сообщить те условия, при которых она и их доверители согласны были бы оказать полное содействие новому правительству.

Условия эти были следующие:

Немедленное избрание в Париже муниципальных советов, специальным назначением которых, помимо обычных административных функций, явилась бы быстрая организация батальонов национальной гвардии и их вооружение.—Уничтожение префектуры полиции и передача парижским муниципалитетам большинства функций, сконцентрированных в этой префектуре.—Принципиальное признание избираемости и смещения всех городских служащих и избрание их в возможно краткий срок.—Отмена всех репрессивных, ограничительных и фискальных законов, касающихся прессы; признание безусловного права собраний и союзов.—Уничтожение бюджета вероисповеданий.—Отмена всех приговоров по политическим делам, вынесенных до настоящего дня; прекращение всех возбужденных преследований и освобождение всех лиц, арестованных вследствие последних событий.

Как мы видим, эта программа, помимо непосредственных мер, вызываемых обстоятельствами, не шла дальше той программы, на основании которой сам Гамбетта был избран год тому назад, т. е. Бельвильской программы 1869 года.

Трибун ответил общими местами, фразами и неопределенными обещаниями. Он говорил об амнистии и сослался на то,

<sup>1)</sup> Древне-римская одежда—плащ. Пр. пер.

<sup>1)</sup> Рабочий клуб в Париже. Пр. пер.

что свобода печати является уже осуществившимся фактом вследствие отмены штемпеля и залога; в довершение он благо-склонно обещал за себя и за своих товарищей обсудить сделанное предложение.

Настоящий ответ был дан на следующий день. Правительство, вместо назначения выборов, само назначило как главного мэра Парижа, так и мэров и их помощников в двадцати округах, причем избганы были лица из среды наиболее сочувствующих правительству, а к рабочим эти лица были настроены явно враждебно. Например один из них, г. Рашар, мэр XIX округа, не стесняясь, заявлял, «что в июне 48 г. убито было недостаточно».

Это был явный и циничный вызов, и Кордери принял его. Рабочие организации, с этого момента имевшие своим центром Кордери вскоре затем расплылись в новых, более широких организациях, теснее связанных с требованиями момента. Они внезапно наполнились массой граждан, и самопроизвольно образовался новый союз, более гибкий и сильный. Этот союз, которому предназначено было сыграть крупную роль, конституировался под именем Центрального республиканского комитета двадцати округов.

Этот Центральный Комитет являлся общим выражением, о чем говорило и самое его название, окружных комитетов, соорганизовавшихся в округах, органом для сношений и согласованности действия этих местных группировок, которые сами себя именовали республиканскими наблюдательными комитетами.

Наблюдательные комитеты выбраны были прямым народным голосованием на народных собраниях жителей каждого округа. Их задачей являлось собиране всех предложений и всех требований граждан, касающихся администрации и защиты. Помимо этого на их обязанности лежали контроль и наблюдение за всеми служащими и агентами местной администрации, мэрами, их помощниками и т. д., назначенными, как мы знаем, правительством и обнаруживавшими сильное стремление несогласовывать свои решения и действия с желаниями и нуждами управляемых.

Каждый из этих комитетов выбирал четырех своих членов уполномоченными, которые вместе с делегатами остальных девятнадцати округов должны были составить собрание из восьмидесяти граждан и являться представителями целого, т. е. образовать Центральный Комитет.

Только что конституировавшись, Центральный Комитет уже заявил об этом и вступил в сношения с осажденной столицей, обнародовав плакатами декларацию, одобренную на его засе-

даниях 13 и 14 сентября; в ней подробно изложены были резолюции, принятые по его инициативе в народных собраниях по кварталам и уже переданные правительству, чтобы издать их в виде декрета; предлагавшиеся меры «имели целью заботу о спасении отечества, а также окончательное установление истинно республиканского режима на основе постоянного содействия индивидуальной инициативе и народной солидарности».

Они были разнообразны и касались общественной безопасности, обеспечения средств пропитания и жилищных нужд, защиты Парижа и департаментов.

Мы не будем останавливаться на мерах первой категории, потому что они являлись повторением предложений, сделанных 4 сентября вечером правительству делегатами Кордери. Последние два предложения, касавшиеся защиты Парижа и департаментов, характерны были тем, что они вводили немедленное избрание мобилизованной гвардией всех своих начальников, которые должны были вести ее в огонь, на место офицеров, до этого времени назначавшихся сверху, а также требовали всеобщего вооружения всех граждан. Но наиболее типичными и важными из этих мер были подходившие под рубрику: продовольствие и жилища.

Вот что говорил по этому вопросу Центральный Комитет: «В виду общественной необходимости необходимо экспроприировать все с'естные припасы и припасы первой необходимости, находящиеся в данное время в Париже у оптовых и мелочных торговцев, и гарантировать последним уплату за эти припасы после войны на основании расписок о товарах, экспроприированных и оцененных по стоимости производства.

«Необходимо избрать в каждой улице или по крайней мере в каждом квартале комиссию и уполномочить ее составить описи предметов потребления и об'явить имена их настоящих владельцев, лично ответственных за их сохранность перед муниципальной администрацией.

«Необходимо распределять с'естные припасы, разделив их иредварительно по категориям, среди всех жителей Парижа при помощи карточек, которые периодически будут выдаваться им в каждом округе соразмерно: 1) количеству членов семьи каждого гражданина, 2) количеству с'естных припасов, определенных указанными комиссиями, и 3) предположению о наиболее продолжительности осады.

«Кроме того, муниципалитеты обязаны обеспечить каждому гражданину и его семье необходимое им помещение».

Очевидно, если бы эти меры, являвшиеся к тому же лишь началом, получили осуществление, они повели бы не только к

значительно более продолжительной осаде, но вызвали бы вместе с тем такие глубокие и радикальные изменения в отношениях между классами, что было бы затруidamente после окончания кризиса окончательно выгнать всякие следы их. Эти меры, составлявшие главную сущность декларации, предполагали, что, раз все классы будут призваны к совместной жертве и к участию в сражении, при общей нужде и сообща разделенных опасностях, то весьма скоро струтся всекие противоречия роскоши и бедности, утонченности и грубости, образованности и невежества, сгладятся все социальные различия, и что таким образом социалистический порядок и республика равенства выкуются на наковальне войны, под огнем неприятельских пушек.

Весь дух Коммуны уже обнаружился в этих мерах, в этой декларации, красноречиво окрещенной именем «Красной прокламации»; если бы ее суровый призыв был услышан, он мог бы явиться исходным пунктом полного возрождения французского общества.

Мы сказали, что весь дух Коммуны был тут, но были также налицо—и это следует отметить—и деятели ее. Среди тех 46 имен, которые подписаны под прокламацией, мы, действительно, встречаем 11, принадлежавших лицам, которые в марте и апреле были посланы народом в Ратушу. Это были Клузере, Демэ, Жюганнар, Лефрансэ, Ш. Лонге, Бенуа Малон, Удэ, Пачди, Ранвье, Эд. Вальян, Жюль Валлес; и, кроме того, мы встречаем еще других лиц, имена которых, как Гентон и Мильер, во время версальских репрессий записаны были в мартиролог последних защитников красного знамени.

В этом нет ничего удивительного, потому что Центральный Комитет и Кордери являлись в сущности центром объединения наиболее горячих, наиболее воинственных и наилучше осведомленных элементов, а также и тех, которые всматривались наиболее опытным и верным взглядом в туманные перспективы будущего. Вся напряженная и беспокойная жизнь великого осажденного города, вливалась сюда, сконцентрировывалась и хлопотала тут; ее смутное желание освобождения и избавления превращалось здесь в сознательную волю; ее чаяния материализовались здесь в решения и действия. Кордери заседали почти непрерывно. Делегаты двадцати округов ежедневно собирались там после полудня в своих мундирах национальных гвардейцев, пехотных полков или артиллерии. Они приносили сюда сведения из своей среды, обменивались ими, сговаривались и принимали определенные решения; затем, вечером, они

возвращались в свои округа, в места заседаний местных комитетов, в клубы кварталов, и передавали здесь общие сведения, почерпнутые из верного источника, знакомили своих избирателей с потайными пружинами событий и сообщали им принятые решения, имевшие в виду предупредить увеличивающуюся опасность, измену, все более и более угрожавшую со стороны членов правительства.

Рабочий социалистический и революционный Париж жил таким образом этой общей жизнью в течение пяти месяцев, и подобная жизнь с той поры пока еще не повторялась; город вибрировал в унисон и сообщал одним и тем же гневом и одними и теми же надеждами, солидарный в единой мысли и едином усилии.

Клубы, наблюдательные комитеты и Кордери—их центральный выразитель—были органами-генераторами всей этой постоянной и регулярной агитации. Они взяли на себя и исполняли функции сношений и агитации, являясь добавлением традиционного и обычного двигателя—прессы. Это не значит, что пресса молчала в это время. Ежедневные газеты выросли, как грибы; прежние реакционные сохранились, но наряду с ними ежедневно появлялись новые передовые газеты. Все, молчавшие во времена империи, ссыльные, заключенные, имели каждый свою трибуну и говорили с нее громко и энергично; однако ясное предвидение событий и точное понимание необходимых для спасения действий отсутствовали даже у наиболее проницательных и наиболее смелых из них, даже у тех, к кому, вследствие их прошлой борьбы и понесенных жертв, общество относилось с доверием и уважением. Даже «Reveil» Делеклюза, даже «Patrie en Danger» Бланки не давали, по крайней мере вначале<sup>1)</sup>, ни точного указания, ни спасительного импульса. «Прежде всего пруссаки!»—говорил «Reveil», то же самое говорила «Patrie en Danger», а отсюда до вывода, что первой обязанностью являлось наиболее тесное сплочение вокруг правительства «Национальной Защиты»,—оставалось сделать лишь один шаг.

Наоборот, Кордери говорила и кричала в своих двадцати окружных комитетах и в своей сотне союзных клубов: прежде всего Ратуша! Сначала надо идти на более близкого врага, союзника и соучастника внешнего, потому что тот же самый класс в

<sup>1)</sup> Критика «Patrie en Danger» и Бланки, бывшего ее обяательным и прекрасным редактором, относится только к периоду между 7 сентября и первыми днями октября. С этого момента Бланки ясно разгадал игру «защиты» и сознавал, что до внешнего врага нельзя было добраться, напад предварительно на его соумышленника внутри страны.

стенах города, прикрываясь маской проливающих слезы адвокатов и болтунов генералов, парализует защиту, а за стенами города, под сенью двуглавого орла Вильгельма и Бисмарка, ежедневно все более и более стягивает кольцо блокады и завязывает все туже ту петлю, которая должна удушить Париж и республику.

Так настроенная Кордери могла представлять собою только непрерывный заговор против Ратуши. Она и была этим заговором.

Вначале различные элементы, составлявшие Кордери, были еще смешанными, но они быстро очистились. Менее серьезные, менее горячие люди, имевшие склонность к галунам, перекочевали в батальоны, получив там должности; другие, робкие и уравновешенные люди, вошли в различные, учрежденные при мэриях комиссии продовольствия, обмундирования, вооружения, побуждаемые благородными намерениями быть полезными, действительно послужить «защите», которая, впрочем, всякому, дававшему труд несколько поразмыслить над нею, казалась позорным обманом. В результате всего этого в Кордери весьма скоро остались одни лишь революционно-социалистические элементы, отборное ядро, очищенное от всякого шлака, от всякого патристического угара, в буквальном значении этого слова, и день ото дня все более разгоравшееся энтузиазмом и смелостью.

Кордери с самого начала обнаружила обман «национальной защиты». Возможно, что ей неизвестны были застольные речи генералиссимуса Трошию, сознавшегося в ричтимой компании, что «осада является лишь героическим безумием, героическим, пускай, но все же безумием—в этом нельзя сомневаться»; но Кордери во всяком случае угадала их. В виду этого она и обнаружила полное презрение и злобу ко всем этим тартюрам; какой-нибудь Жюль Фавр восклицал: «ни одного дюйма нашей территории, ни одного камня наших крепостей!», а под сурдинку вел переговоры с врагом и в этих целях отправлял Тьера прогуляться по всем дворам Европы; какой-нибудь генерал Дюкро, победоносный вояка, восклицал, выходя из Парижа: «я вернусь или мертвым или победителем!», но он возвращался живым и разбитым, не попытавшись даже испробовать до конца счастье, введя в огонь волска, желавшие только одного—сразиться. Верить в Трошию, Тьера, Фавра, Дюкро и в их сподручных, в товарищей Базена, в старых прихвостней Эмиля Оливье—Кордери не могла. Благодаря этим людям, их трусливости и их неискренности, поражение и капитуляция являлись в ее глазах неизбежными, а республика могла быть скомпрометирована и даже, по всей вероятности, могла погибнуть, если не противо-

действовать этим людям и не наложить руки на измену, если не избавиться от трусов и неспособных администраторов.

Все это изменилось бы, если бы народ владел Ратушей, и революционная Коммуна вела за собой Париж и руководила им. Национальная гвардия представляла собою неисчерпаемый источник комбатантов, из которого в течение одного или двух месяцев можно было бы создать прекрасную военную силу, солидную, хорошо спаянную, выдающуюся по мужеству и настроению. Эта сила—300, 400 или 450.000 человек—вместе с регулярной армией, расположенной на укреплениях, которая последовала бы за национальной гвардией по привычке к дисциплине,—эта сила, говорю я, смело и добровольно ринулась бы на пруссаков. Она могла тревожить их без устали и утомить их постоянными вылазками и, конечно, прорвала бы в конце концов кольцо обложения, в некоторых местах весьма тонкое. Пусть только представят себе впечатление от этого удачного нападения, приспавденного батальонами, водрузившими красное знамя на поле битвы, захваченном у завоевателя; пусть подумают, как стазвалась бы эта победа на провинции, с безпокойством следящей за всяким движением великого города-крепости и ожидавшей, что Париж протянет ей руку на разбитых, затоптанных в грязь германскими орлами. Франция встала бы тогда, ответив на смелый порыв столицы героическим сполчением, и отбросила бы завоевателя, преследуя его до пяты вплоть до границы. Это было бы повторением героической эпопеи минувшего века, вернувшейся под знаменем proletарской революции для учреждения социальной республики.

«Фантазия!» скажут вы это. Кто знает? Область реального лежит в иной плоскости, чем область возможного: то, что было, и то, что могло бы быть. И эта фантазия, во всяком случае, часто посещала деятелей Кордери, она питала их надежды и воспламеняла их мужество, она объясняет их деятельность, их обращение к оружию после каждой неудачи, после всякого нового убедительного доказательства неспособности и измены «защиты», и она же объясняет, наконец, и последнее обращение к оружию, то, которое удалось, к несчастью, только после окончательного разгрома, когда уже было поздно: инсуррекция 18 марта, Коммуну.

В план нашей задачи не входит детальное описание движений 8 и 31 октября и 22 января. Эти движения были уже описаны и проанализированы Жоресом, потому что по хронологическому порядку они относятся к периоду осады. Здесь же упоминание о них оправдывается лишь постольку, поскольку они освещают общее положение в Париже накануне

18 марта и показывают истинное соотношение классов и партий, вступивших в борьбу во время Коммуны.

Первое из этих движений, бывшее в начале октября, было вызвано и организовано Кордери. Оно могло бы удалиться тем легче, что заседавшее в Ратуше правительство еще ничего не опасалось и не предполагало, чтобы нашлись смелые люди, которые могли бы оспаривать у него власть и даже прогнать его. К несчастью, попытка эта обнаружилась преждевременно. Центральному Комитету поручено было посвятить в это предприятие нескольких батальонных командиров гвардии. Один из них, Густав Флуранс, незадолго до этого уже пожалованный Трошю в несколько бутафорское звание «майора укрепленного вала», испортил все дело своей торопливостью или своим стремлением лично выдвинуться. Движение назначено было на 8 октября, но уже 6 Флуранс явился в Ратушу с своим бельвилльским батальоном, вызвал этим тревогу и дал, таким образом, возможность правительству принять необходимые меры предосторожности; он должен был отступить, ничего не сделав. 8, когда главные силы должны были принять участие в деле, благоприятный случай был уже упущен, и попытка внезапного нападения превратилась в простую демонстрацию.

31 октября разыгралось более горячее дело. Один день и одну ночь инсurreкция держала в своих руках место действия. Действительно, парижское население, вплоть до самых робких лавочников, почувствовало, наконец, что с него довольно. Три известия, одно за другим, вывели из оцепенения даже самых апатичных людей: сдача Базеном Меца с его 160,000 защитников, непонятное отступление из Бурже, после одержанной победы, о которой сначала прозвонили на всех перекрестках, наконец, приезд в город Тьера, с разрешения Бисмарка, для переговоров о перемирии. Эта тройная катастрофа вызвала очень сильное и повсеместное возбуждение, что и придало хаотический характер этому дню. Личный свидетель, полковник Монтагю, помощник начальника главного штаба национальной гвардии, говорил впоследствии следственной комиссии по восстанию 18 марта: «31 октября были сделаны три попытки совершить революцию, превратившиеся затем в одну, три последовательных движения, не имевших между собою ничего общего, предпринятых людьми, которые не чувствовали друг к другу никакой симпатии». Например, утром видели полковника Ланглуа, неизменно консервативная роль которого известна, идущим с своим батальоном во главе нападавших. Толпа легко взяла приступом входы в Ратушу и легко захватила членов правительства «Защиты», как

в мышеловке; но обычная толпа уже так создана, что думает, что людей известных возможно заменить не только известными людьми и знаменитостями—не одним только знаменитостями. С 2-х часов дня до 9 часов вечера победители сражались вокруг столов записками, избирая новое правительство, причем Виктор Гюгс, Ледрю-Роллен, Распайль находили свое место в списках рядом с Бланки, Делеклюзом, Феликсом Пиа и Флурансом.

Таким образом, предпринятая Кордери попытка потонула в беспорядочной и неопределенной агитации, которая не руководилась ни определенной волей ни намеченным заранее планом. Уже поздно вечером деятелями Центрального Комитета с трудом удалось на один момент взять верх, чтобы извлечь из победы народа действительные и прочные результаты. Бланки, оставшийся в Ратуше в единственном числе или почти единственным из числа лиц, выбранных в новое правительство, вручил им свою отставку и в то же время санкционировал своей подписью прокламацию, провозглашавшую учреждение революционной Коммуны, в которую он входил, как член, в товариществе с большинством прямых представителей Кордери. Эта прокламация, составленная Вальяном, была отнесена надежным посыльным в «Officiel». Если бы она появилась, то движение имело бы успех; но она не была напечатана: «Национальная Защита» владела попрежнему типографией «Officiel» и осталась господином положения.

Дело произошло так: когда революционные батальоны во второй половине ночи вернулись в свои кварталы, батальоны центральных кварталов и бретонские мобили<sup>1)</sup>, телохранители Трошю, вновь заняли Ратушу и принудили Бланки и его товарищей удалиться. При этом заключены были условия о передаче власти, в силу которых: 1) никакое преследование не должно было быть возбуждено против кого бы то ни было по поводу только что происшедших событий и 2) в самый краткий срок должны были быть созваны избиратели для муниципальных выборов. В ожидании их «Национальная Защита» должна была попрежнему занимать Ратушу.

В результате—попытка не удалась и на этот раз. Трошю и Фавр, за которыми стоял Тьер, вновь уехавший для переговоров с Бисмарком, оставались господами положения. Завоевано было только одно: продолжение сопротивления Парижа.

В довершение всего правительство позорно нарушило свои собственные обещания. Подписано было около сорока при-

<sup>1)</sup> Мобили — подвижная гвардия, провинциальная национальная гвардия, призванная для защиты Парижа. Прим. пер.

казов об арестах главных манифестантов 31-го октября, и из них многие вышли на свободу только после капитуляции. С другой стороны, вместо того, чтобы назначить обещанные выборы, лидеры республиканцев, подражая «человеку 2 декабря<sup>1)</sup>», решили обратиться к плебисциту. Плебисцит происходил 3-го ноября. Он дал 321,000 да за сохранение правительства «3 щиты» против 54,000 нет. Эти 54,000 протестантов, группировавшихся главным образом в предместьях, представляли собою наиболее здоровую и активную часть рабочего класса; но они оказались не в силах сдвинуть рыхлую массу. Париж, несмотря на их энергию, отрекался от власти и ему суждено было докатиться до самого дна пропасти.

Почти три месяца отделяют неудавшуюся попытку 31 октября от подобной же неудачной попытки 22 января.

Это были месяцы траура и ужаса! Это были месяцы страдания, лишений и печали! Наступила зима, одна из наиболее суровых зим столетия; население, эти два миллиона человеческих существ, запертых в городе, отрезанных от всяких сношений со всем внешним миром, лишены были всего самого необходимого: жизненных припасов и топлива, хлеба и угля. Голод и холод одновременно терзали жителей.

В то время, как люди, одетые в кеги национальной гвардии, ожидают на улицах испуганного человека, который не показывает, и тратит свое здоровье и свою энергию в бесконечных караулах, вместо того, чтобы нагнать в поле прямо на врага, как подкашивает им мужество, женщины, дети и старушки дежурят с пяти часов утра, в снегу, в ледяной грязи у дверей булочных, чтобы получить несколько граммов несъедобного хлеба. Такое же дежурство повторяется затем у дверей мясных и бакалейных лавок. Это происходит раздача рационов; но не та раздача, которой требовала Кордери в самом начале, которая уравнивала бы условия жизни всех сражающихся и создала бы в городе крепость социальную республику; эта раздача рационов была подчинена суровому экономическому закону спроса и предложения, это была раздача рационов беднякам, не имеющим денег, это была та раздача, которую предсказывал во времена *Красной прокламации* сегодобиный буржуазный экономист Молилари<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Наполеону III. Он произвел государственный переворот, как известно, 2 декабря 1851 г. Пр. пер.

<sup>2)</sup> «Раздача рационов, которую просектируют эти господа, авторы «Красной прокламации», осуществится естественным путем вследствие повышения цен на товары, по мере того, как на рынке они станут более редкими». (G. de Molinari. Journal des Débats).

Среди стольких бедствий и стольких мук рабочих, превратившийся к тому же в национального гвардейца, конечно не находил уже возможности продавать свой труд. Служащий был в том же положении. Немногим лучше была судьба мелкого лавочника, который внезапно лишился своих обычных покупателей. Нет больше работы, нет больше заработной платы, и мрачная нищета немолимо садилась у очага каждого по-летария или мелкого буржуа, перед потухшей плитой и пустым буфетом. Человеку приходилось прожить на 30 су<sup>1)</sup> жалованья национального гвардейца и на 45 су, если у него была жена и ребенок: на эту ассигновку щедрая «3 щита» в конце концов согласилась, хотя и заставила долго просить себя об этом.

Но, несмотря на все это, рабочий Париж не жалуется. Париж не ворчит. Он попрежнему непоколебим, стоичен, почти весь под снегом, падающим и окутывающим его, как саваном, под бомбами и снарядами, дождем падающими на его крыши и обливающими стены его домов. Он верит в свое непобедимое дело; он верит в свои неприступные окопы. Он умрет, но не сдастся. Он продолжает нести караулы и всякие бесконечные бесполезные службы. Он сокращает свои 300 грамм хлеба и свои 30 грамм мяса, чтобы лить пушки, желая, чтобы они были его собственностью и были оплачены его грошами. Он идет, вопреки всем силам природы и людей, сплотившимся против его усилий, против его выносливости, даже вопреки окончной глупости его рожден, его правителя. Он продолжает стоять в бой, до последней крайности, за массу вылазку, за «последнюю битву отчаяния».

Таким было общее положение, когда правительство Трошио—Жюль Фавра решилось разыграть последний акт своей комедии обороны, так искусно разыгрывавшейся ими, начиная с 4 сентября. Необходимо было последний раз удовлетворить всех этих—«идущих су», этих—«до последней крайности», доказать им реальным опытом, что всякое продолжение сопротивления являлось безумием. В виду этого 19 января Трошио сделал вид, что ведет войска на Версаль через Монтрету и Бюзанвиль, где, добросовестно дав их расстрелять, до десятого человека<sup>2)</sup>, он отдал свой обычный приказ об отступлении, очистив уже завоеванные позиции.

<sup>1)</sup> 3 су = 3 сантимам, 20 су = 1 франку = 37½ копейкам, по курсу до семнадцатой войны.

<sup>2)</sup> «Мы немножко пообидим на национальную гвардию, так как она этого хочет». Показание пехотного полковника Шапе. Следствие от 4-го сентября.

Это был конец. Капитуляция представлялась неизбежной, и правительство не считало даже нужным скрывать это. Оно собрало мэров, чтобы сообщить им роковой срок. Так как мэры упрямылись, Трошю поведал им, что и без того уже было хорошо, черезчур даже хорошо, что удалось продержаться пять месяцев.

О себе он сказал, что «уже вечером 4-го сентября он заявлял, что было бы безумием пытаться выдержать осаду против прусской армии»<sup>1)</sup>.

Обстоятельства, таким образом, не позволяли откладывать дело. В виду этого Кордери сделала попытку вызвать снова движение, попытку третьей инсurreкции. На этот раз дело подготавливалось исподволь и обдуманно было так, что, в случае удачи, оно неизбежно должно было повести к провозглашению революционной Коммуны, которая при наличии громадных средств, которыми в данный момент еще располагала столица, несмотря на отрицания и ложь «Национальной Защиты», могла бы возобновить и довести до конца борьбу против завоевателя и его союзников внутри страны. При приготовлениях ничего не было предоставлено случаю. Комиссия из двадцати двух членов, заведывавшая делами Центрального Комитета двадцати округов, уполномочена была назначить пять из своих членов с поручением организовать инсurreкцию, соблюдая в самой строгой тайне эти планы до момента их осуществления. Этими пятью членами, имена которых до настоящего времени оставались неизвестными, были Каниа, Тридон, Вальян, Левердэй и еще пятый. Тайна соблюдалась так строго, что сам Бланки, с которым Кордери очень сблизилась после 31 октября, был извещен только утром его старым приятелем Флоттом. Бланки энергично высказался против этой попытки. Он говорил: «Конечно, вы войдете в Ратушу, как по маслу; они будут очень рады свалить на вас ответственность за капитуляцию». Бланки, обыкновенно так ясно понимавший положение, ошибся в данном случае.

Он явился все-таки на сборный пункт и поместился в «Кафе национальной гвардии», напротив Ратуши. Делеклюз также пришел и находился у одного из друзей в улице Риволи. В то время, как Каниа и Вальян направились с сочувствующими батальонами Батиньоля и Монмартра на большую площадь Ратуши, Левердэй направился в сквер Нотр-Дам, в артиллерийский парк, где ему поручено было захватить пушки и отправить их на место действия.

<sup>1)</sup> Следствие от 4-го сентября. Показание майора Корбона.

Результат известен. В то время, как внутри Ратуши Шоде, помощник Ферри, вел переговоры с делегатами батальонов, раздались выстрелы. Это стреляли по толпе мобили помещенные за предварительно защищенными матами в первом городском доме, который просвещенным, в то время, Шоде и Ферри был подготовлен для защиты. Национальные гвардейцы отвечали выстрелами, но новый залп, направленный во фланг нападающих, раздался с боков площади. Стреляли тоже мобили, безопасно поместившиеся в окна здания общественной благотворительности. Этим залпом убиты были мужественный Каниа и около тридцати гвардейцев. Последние всетаки поджидали прибытия артиллерии, но она не явилась. Комендант парка, Фрейлар-сын, обнаружил соумышленников Левердэя в парке и заменил этих офицеров и канониров своими надежными людьми. Левердэй рассчитывал взять, но был сам взят. Вследствие этого инцидента всякая борьба оказалась невозможной. Манифестанты в беспорядке удалились по направлению к улице Тампль. Национальные гвардейцы XX округа, помещенные в здание Виктория, прикрики их отступление, помогав своим мобилиам выйти из Ратуши.

Таким образом, последнее усилие, сделанное Кордери, обернулось неудачей. Желавшим подписать капитуляцию оставалось свободное поле действия. В полночь 27 января пушки на укреплениях умолкли. Фавр и Бисмарк подписали условия перемирия на 15 дней, в силу которого немцы занимали форты, а войска, солдаты и мобили должны были разоружиться, за исключением одной дивизии. 29 утром иностранное знамя уже развевалось на всех укреплениях вне городской стены. Национальная гвардия сохранила свое оружие. Ни Фавр, ни Бисмарк не сочли возможным отнять его у нее.

Один из пунктов перемирия кроме того предусматривал немедленный созыв Собрания, избранного страной, для ответа на единственный вопрос: мир или война?

Более свободных выборов, будто бы, не бывало. Кого можно было уверить подобной басней? Как могли быть свободными выборы, произведенные на глазах и под давлением победителя, занимавшего в данный момент целиком или частью сорок три департамента и державшего столицу под жерлами своих пушек?

Выборы происходили 8-го февраля. Почти вся провинция ответила: «мир — во что бы то ни стало!» Париж, наоборот, кричал: «война до последней крайности!» И в общем числе всех своих 43 представителей, за исключением 5 или 6, из которых двое,



правда, были жалкие—Жюль Фавр и Тьер<sup>1)</sup>. Париж выбирал свободу людей, принявших мандаты высказаться за продолжение войны; ни в каком случае они не должны были соглашаться на то, чтобы мир был куплен ценою уступки территории.

Эти выборы—этого требовал исторический момент—носили, к тому же, характер скорее политический, чем социальный. Париж, побуждаемый чувством несколько наивного благожелательства, прежде всего решил избрать тех, кого он называл *славными*: Луи Блана, получившего наибольшее число голосов—216.530, Виктора Гюго, Эдгара Кине, Анри Мартена. Эти имена внесены были в список четырех комитетов, в который, правда, несмотря на все усилия Вальяна, который после этого и сам настоял, чтобы его вычеркнули из этого списка, с нарушением всякой справедливости не внесен был Бланки.

Бланки, Вальян, Тридон, Ранвье, Валлес, Лефрансэ помещены были в списке, составленном сообща Интернационалом, Федеральной Палатой рабочих обществ и Центральным Комитетом двадцати округов. Этот список, говорил о воззвании, которое следует удерживать в памяти, является «списком кандидатов, предложенных во имя нового мира партией обездоленных... Франция восстановит себя по новому; работники имеют право найти и занять свое место в подготовляющемся порядке вещей. Кандидатуры социалистически-революционные обозначают: отрицание за кем бы то ни было права оспаривать республику, признание необходимости политического участия в управлении работников, падение правительственной олигархии и индустриального феодализма». Из этого списка пять лиц были избраны в депутаты: Гарибальди, Гамбон, Малон, Феликс Пиза, Толен, потому что они были внесены, с их согласия, и в список четырех комитетов. Бланки получил только 52.000 голосов, приблизительно то-же число, которое ответило *нет* во время плебисцита 3-го ноября; эти люди должны были вскоре стать солдатами Коммуны.

## II. Париж—вне закона!

12 февраля только что избранное Национальное Собрание собралось в Бордо. В этот момент мы подходим к известного рода линии водораздела. Было два решения, или, не прибегая к обра-

<sup>1)</sup> Благодаря чуду, напомнившему лучшие годы империи, Тьер, который накануне официальной прокламации объединил вокруг своей фамилии только 61.000 голосов и не был избран, увидел на другой день, что эта цифра достигла 103.000.

зам, существовала возможность двух решений: успокоения или гражданской войны. Париж и провинция, пойдут ли они на примирение, на соглашение, купленное ценою взаимных уступок и обоюдных гарантий? Или же, наоборот, они встанут на путь, который ведет к неизбежному столкновению, к жестокому и кровавому поединку?

То и другое решение было одинаково возможным.

Национальное Собрание, третий судья и господин данного момента, приняло решение вопреки желанию провинции, которая, без сомнения,—это она и доказала во время и после борьбы—отшатнулась бы с ужасом, если бы знала, куда увлекают ее те злобные и плутоватые люди, которым она вручила свою судьбу. Собрание без колебания встало на путь гражданской войны, сделало ее неизбежной.

Париж, представляя собою одни обнаженные нервы в том состоянии повышенной, болезненной возбудимости, в которую он в то время с головою окунулся, понял это сразу, он ясно представил себе положение. То, чего в течение шести месяцев не могла сделать «Национальная Защита», если закрыть глаза на все ее ошибки, слабости, неоднократные измены, — сделало Национальное Собрание в один день. В один день оно открыло глаза самым близоруким людям, оно бросило их в ряды тех весьма редких предусмотрительных людей, которые уже 8 и 31 октября и 22 января один только ясно предвидели, предчувствовали, предугадывали события.

Спектакль, начавший разыгрываться в Бордо, действительно, не допускал никаких сомнений. Он чересчур наглядно оправдывал все опасения, все предсказания, высказанные в течение осады социалистами, революционерами, посетителями Кордери, все их негодование и все возмущение.

Это было именно то самое, что предсказывалось. Пруссаки уплачивали капиталисту плату за его низость. Оба сообщника уславливались о разделе добычи. Мне, говорил немецкий капиталист,—куски живого тела, оторванные от твоей Франции, которая прекрасно обойдется и без них, и пять миллиардов, которые су за су выпотеют твои рабочие и крестьяне. А тебе, французский капиталист,—лакейская республика, распутная власть, разрешение совершать всякого рода реставрации и всякие реакции для покровительства и безграничного утверждения твоего царствования. При известии о ратификации статей этого позорного торгового Париж ощутил удар прямо в сердце. Он подумал, что, без сомнения, были правы деятели Кордери и другие, которые в дни осады настаивали, что целост-

отечества и сохранение республики зависели от смелого вмешательства, от захвата власти; и почти весь Париж, за исключением какой-нибудь четверти сотни денежных мешков и рантье-ров, почувствовал наконец потребность совершить то дело, которое он должен был бы сделать еще шесть месяцев до этого ради своего спасения и спасения страны и республики.

Одна за другой в Париж летели удручающие и зловещие новости, почти невероятные: на общее число 750 депутатов—450 настоящих, прирожденных монархистов, из которых два принца Орлеанской фамилии; Тьер, траншюенский убийца—палач<sup>1)</sup>, прежний фактотум Луи-Филиппа, вечный буржуа, наиболее полное воплощение коварства и жестокости правящих классов,—этот человек назначен главою исполнительной власти и является абсолютным владыкой в данную минуту, после Вильгельма и Бисмарка. Вся эта публика:—глава Исполнительной, министры, реакционные депутаты, рвутся к миру, заглушают протесты депутатов оторванных провинций, избранных больших центров, республиканских городов и в особенности парижских депутатов, которых третируют и к которым относятся как к зачумленным, как к сумасшедшим и к бунтовщикам. Оскорблен Гарибальди. Что еще? Ворота самого Парижа открыты неприятелю, потребовавшему у буржуазной и деревенской низости и этого последнего отречения.

Никакой осторожности, никакой предосторожности, никакой заботливости по отношению к великому городу, так много вытерпевшему и даже и теперь еще и духовно и телесно страдающему. Французы, соотечественники, братья—подумали-ли они о том, чтобы переязать его раны, залечить повреждения, помочь его бедствию? Да, французы, но не эта деревенщина, отпрыски другого века, законные наследники несравненной палаты 1820 г., заклействующие перед церковью и руководимые ею. Что говорить о бальзаме для ран и ушибов? Они нальют на них купороса, чтобы растравить и заразить их. Законом о сроках платежей они осудили всех парижских торговцев на банкротство, законом о платежах за квартиры они выбросили на улицу всех рабочих, лишив их последних пожитков, последней мебели,—рабочих, служащих, мелких ткачей, лавочников, 150—200.000 семейств. Даже более, они проецируют лишить национальную часть ее вознаграждения, т. е. ее куска хлеба. Околевай, парижский народ, только бы право собственности было невзра-

<sup>1)</sup> В бытность Тьера министром при Луи-Филиппе республиканская вспышка на улице Траншюен была кроваво подавлена. Пер.

димом! В заключение всего великий город терял свое место, свои прерогативы столицы: Национальное Собрание окончательно решило назначить свое местопребывание вне его стен.

Что ни решение, что ни голосование, то демонстрация Собрания, то пощечина по адресу Парижа, то покушение на его право, на его свободы, даже на его существование.

Мог-ли еще после этого заблуждаться даже недалевидный простаки-патриот, кричавший ранее «пруссакки прежде всего», а также и республиканец, просто республиканец, без всяких эпитетов, который все-таки думал, что 4 сентября вследствие падения империи все-же были достигнуты некоторые приобретения, полезные, благодетельные и славные для Франции, сулившие ей плодотворные последствия?

Герои «Национальной Защиты», скромные победители, указывали патриоту на расчлененную страну, на границу, отодвинутую от Рейна к Вогезам, на оккупацию третьей части французской земли завоевателем, как гарантию уплаты 5 миллиардов, наконец, на Париж, который неприятель не мог взять открытой силой и который он мог лишь обложить и морить голодом; теперь Париж был открыт для неприятельских когорт, проходящих в воинском строю по его широким западным улицам, под его триумфальной аркой Звезды.

Республиканцу-же Национальное Собрание самолично рекомендовало самый отборный и наиболее отталкивающий подбор всякой древней ветоши, всяких призраков павших режимов, всех легитимистов и орлеанистов, выползших из своих дворянских усадеб и снабженных папским благословением, всей деревенщины, которая испытывала лишь единый страх—страх перед городами и перед столицей-Парижем,—единую ненависть—к республике—и твердо решила, подавив всякий стыд, спастись под каблуком пруссака и при его содействии задушить эту Бездельницу (La Gueuse) и возвести на трон предков или Генриха V, с знаменем, украшенным лилиями, или одного из Орлеанов, уже приехавших в кобленцских каретах.

В виду всего этого патриот и республиканец присоединились, по крайней мере, на этот момент, к социалистам и революционерам периода осады и заключали с ним союз.

Париж, хотя и изолированный, поднимался наконец в защиту республики, как против внешнего, так и против внутреннего врага, готовый совершить или победоносное 31 октября или победоносное 22 января.

Обратный удар, фатальный рефлекс!

Этот рефлекс некоторые из социалистов учитывали и вложили в него свою последнюю надежду; но зато и другие люди, это можно утверждать в настоящее время, тоже предвидели и даже учитывали тот-же рефлекс для совершенно иных целей.

В числе последних были: наиболее сознательная часть реакциии, головка буржуазии и плутоватые республиканцы «Национальной Защиты», ни за что не желавшие простить Парижу его героического сопротивления и того, что он вывел их на свежую воду, отвернул и бросил к подножию своих урн, когда из всей их шайки избрал одного лишь Жюля Фавра, да и то последним по числу голосов. А над всеми ими и даже еще в большей степени реакционный, чем они, стоял новый глава исполнительной власти, старый пират и бывший палач Тьер, убежденный по своей логике буржуазного Тамерлана, что настали подходящие времена для хорошего кровопускания пролетариату, в целях доставить своему классу возможность заключить новый договор с властью и обеспечить его политическое и экономическое верховенство. Вследствие этого-то и происходили эти решительные и сознательные вызовы и родился определенный план довести Париж до инсurreкции и до борьбы, чтобы затопить его в крови, в крови его пролетариата и сделать последний неспособным к борьбе на 10, на 20 лет, а если возможно, то и навсегда.

Главную мысль Тьера, когда он брал в свои руки управление делами,—для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с его докладом, данным следственной комиссии в восстании 18 марта—было: «заключить мир и подчинить Париж».

Подчинить Париж—что он понимал под этим? Разве Париж был в состоянии мятежа, когда этот зловредный гном интриги, над которой он работал в течение всего правления «Национальной Защиты», попал наконец на арену действия, взобрался на сцену, на первый план? Париж был спокоен, он собирался с мыслями, он ждал. Он испытал высшее оскорбление, незаслуженное оскорбление прусской оккупации; он перенес ее, не обращая к оружию, принося себя еще раз в жертву Франции, которая не хотела его знать, отказывалась от него и оставляла его, расплачиваясь его достоинством, как перед тем она расплачивалась его кровью, его лишениями и страданиями. Без сомнения негодование терзало его, беспокойство грызло его, но он не пришел еще к смелым решениям, не сделал еще бесповоротного шага. При общем успокаивающем и гуманном отношении к нему, при политике нового главы исполнительной власти, ясно определившейся в республиканском направлении, граждан-

ская война была-бы избегнута. В этом случае спокойствие возродилось-бы, страсти улеглись, раны зарубцевались и события получили бы иное, мирное течение, возобновилась-бы мирная работа.

Было-бы лучше или хуже при подобном положении вещей? Мы не будем здесь разбирать этого вопроса. Мы просто констатируем факты, а не исследуем их.

Но Тьер и Национальное Собрание сознательно исключили всякое умиротворяющее решение. Жребий был уже брошен. Они думали, что держат добычу в руках, и не желали упускать ее. Они хотели выкупаться в крови своих соотечественников, напиться ею полными чашами, поставить к расстрелу этот пролетариат, который на один миг уже заставил их затрепетать, а с этого времени, революционными или легальными путями, не перестанет угрожать их хищничеству и мешать их господству.

Заключив с Германией мир, Тьер тотчас-же принял за вторую часть своей программы,—за подчинение Парижа.

Повидимому, вначале глава Исполнительной расцеловался и действовать издалека. Он предпочитал такие способы действия, так как при этом менее рисковал собственной шкурой. Он назначил бутафорского генерала, Орелля де Паладина, каким был, впрочем, и Трошо, главнокомандующим национальной гвардией, дав ему директиву сговориться с губернатором Винуа и с бывшим жандармским полковником при империи Валентеном, назначенным теперь префектом полиции. По общему соглашению они должны были разоружить Париж, взять у него сначала его пушки, а затем, если удастся, то и его ружья.

Воспитанный на прецедентах бонапартистского пандура Винуа, которому оставалось лишь расцеловаться Ореллем, начал смело бить по наковальне, обратившись к парижскому населению с прокламациями, отзывавшимися июньскими и декабрьскими расстрелами, и запретив все газеты: Vengeur, Cri du Peuple, Mot d'Ordre, Père Duchêne, Caricature, Besiche de Fer, которые говорили черезчур громко и прямо; все это он делал на основании объявленного им осадного положения, срок которому, впрочем, он не определил.

Однако, одних солдафонов с их черезчур наивной глупостью и черезчур примитивной грубостью оказывалось недостаточно. Тьер почувствовал тогда необходимость действовать лично и для этого решил приблизиться к Парижу, быть на месте действия. Он постарался убедить в необходимости этого и Собрание, но последнее боялось и отказывалось. Тьер рассыпал перья своего дипломатического искусства, чтобы убедить Собрание.

Оно соглашалось в крайнем случае переехать в Фонтенебло, едва-едва убедившись доводами о 80 километрах, которые отделяли бы его в этом случае от столицы. Но Фонтенебло не удавалось главе Исполнительной, он хотел быть в Версале. Какими-же он руководствовался соображениями? Соображения эти точно изложены в его показаниях следственной комиссии, в которых вполне ясно выступает его план резни. Он говорил сам себе и другим: «Мне указывали на Фонтенебло, как на город, в котором Собрание могло-бы заседать в безопасности. Я возражал на это указанием, что мы были бы отделены целыми пятнадцатью лье и всем протяжением Парижа от позиции Версаля, единственной действительно стратегической; что в случае, если-бы резервы, назначением которых была защита Собрании, вынуждены были выступить из Фонтенебло, чтобы направиться на место битвы, это расстояние явилось-бы чрезчур значительным и положение их весьма плохим; что следовало Собранию переехать прямо в Версаль и оттуда попытаться сохранить господство над Парижем. Мнение это одержало верх в Собрании, и мы, действительно, перебрались в Версаль».

Собрание решило собраться в этом городе 19-го, что же касается самого Тьера, то он немедленно лично отпраился в Париж—это было 16-го—и без промедления занялся подготовлением своего удара.

Каково-же было положение ветхого города в эти дни? Какие в нем преобладали мысли и чувства? Какие определялись решения? Какие организованные и родственные силы сгруппировывались, имел в виду сопротивление и необходимость действовать, что казалось все более и более неизбежным и близким? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы должны вернуться к первым дням после прекращения осады, к началу февраля.

После общих выборов и открытия Национального Собрания Центральный Комитет двадцати округов разошелся или почти что разошелся. Вопреки мнениям многих лиц, которые предвидели неизбежный взрыв народной ярости в тот день, когда рассеяты иллюзии и измена обнаружится во всей своей наготы, и понимали, что битву вероятнее, чем когда-либо, придется дать и выиграть в Париже, наиболее горячие и известные революционные элементы, уступая внушениям Бланки, отправились в Бордо. Бланки думал, что возможно будет разогнать Национальное Собрание, и без пользы погиб в этой бесплодной попытке. Другие же элементы Кордери, главным образом рабочие, средства которых не позволяли отлучиться из Парижа, вернулись каждый в свой округ, в свои батальоны.

Таким образом, все это естественно привело к тому, что более умеренные и более неуверенные элементы, сгруппированные в национальной гвардии, взяли там верх и определяли направление движения. Национальная гвардия, этот вооруженный выразитель всего населения, стала в этот смутный и промежуточный период тем водоемом, куда естественно стекались все недовольства, все возбуждения, все страсти и экзальтация, как патриотические и республиканские, так и социалистические.

В этой широкой и, следовательно, более разжиженной среде одна мысль господствовала над всеми другими, а именно—сознание, что существованию республики, к которой стремился Париж со времени империи, вопреки желанию провинции, что республике, завоеванной им силою 4 сентября, без всякого вмешательства со стороны провинции, угрожают теперь и эта самая провинция, и ее Собрание аграриев, заседающее в Бордо. Перед Парижем открывалась историческая миссия, диктуемая его достоинством, которой он не мог избежать в силу долга: миссия сохранить, сберечь эту республику и этим взять своего рода реванш, даже над немецкими завоевателями, навязав им соседство и заразительную угрозу политического режима высшего типа, чем их собственный. Таким образом, чтобы сохранить и укрепить республику, Парижу было необходимо прежде всего сохранить свои ружья и пушки и быть в состоянии при необходимости взять на себя роль недремлющего стража новой идеи и завоеванного положения. Необходимо было, следовательно, чтобы национальная гвардия не была разоружена, чтобы после осады, как и в течение ее, она осталась вооруженной силой или, попросту,—силою.

Чистые патриоты, благодаря странной, хотя и понятной в это время аберрации, полагали, что Париж, каким он тогда был, мог тотчас же возобновить борьбу с завоевателем, что, забывшись от обманывавшего его правительства, от изменчивых ему генералов, от Фавров и Трошю, Симонов и Дюкро, он мог с своей национальной гвардией возобновить войну и, опираясь на Центральную и Южную Францию, еще находившуюся в колебании, отбросить пруссаков за Рейн. Фантастическая надежда, безумная галлюцинация, но она была объяснима благодаря тому, что мир заключен был до решительной битвы, прежде, чем испытано было еще возможное последнее усилие, которого настоятельно требовали те самые люди, которые заранее готовы были на всякие жертвы, прежде чем рабочий и революционный Париж дал на поле битвы пробу своего мужества и своего значения.

Вот те различные идеи, те разнообразные, хотя и не противоречивые тенденции, потому что они примирялись и сближались единством намеченной цели, которые являлись преобладающими при восстановлении кадров национальной гвардии и при образовании ее Центрального Комитета. Эти идеи и тенденции ясно обнаружались на больших митингах в Во-Галле. Они объединили на один момент, в единой воле и в общем сопротивлении, все парижское население и придали движению, наряду с социалистическим характером, которое оно сохраняло и которое вскоре должно было стать господствующим, характер республиканский и патриотический.

Необходимо сделать некоторые замечания, потому что в событиях 18-го марта Центральный Комитет национальной гвардии должен был играть первую роль, да и, кроме того, этот же Комитет, в различных его превращениях и вследствие более или менее благоприятно складывавшихся для него случайностей, не переставал играть роль в последующих событиях до самого конца, когда, наконец, революция была задавлена.

Первое собрание национальной гвардии происходило в Зимнем цирке, 6-го февраля, под председательством Курти, торговца III округа. Народа собралось много и решено было собраться вторично в Во-Галле, вечером 15-го февраля. Идея объединить все батальоны национальной гвардии обнаружилась самопроизвольно, ее высказывали все ораторы, так что выбрана была комиссия, которой поручено было выработать устав новой федерации. Комиссия эта составила из лиц неизвестных, которые, выйдя в этот день из анонимной массы, вернулись в нее обратно на другой же день.

24-го февраля в Во-Галле происходило третье собрание 2.000 делегатов, единодушно принявших следующую резолюцию: «Национальная гвардия протестует в лице своего Центрального Комитета против всякой попытки разоружения и заявляет, что при необходимости она будет противиться этому «силою оружия». После этого 2.000 делегатов направлялись всей массой на манифестацию, организованную на Бастильской площади, увлекая за собой на своем пути мобилей и солдат.

Манифестация эта была грандиозна, а в следующие дни она повторилась в еще более внушительных размерах. Какой то неустранимый человек водрузил красное знамя на самой вершине колонны, на древке пика, которую держит в руках геиин. Батальоны народных кварталов проходили друг за другом со знаменами и барабанами, украшая решетку и складывая на пьедестал памятника венки из иммортелей. К манифестациям

присоединилась вскоре и армия, появились сначала отдельные роты, а затем полки с своими унтер-офицерами, иногда и с офицерами. Предварительные условия мира, заключенные между Бисмарком и Тьером, сделались известными широкой публике. Известен также стал и проект мирного договора, с его позорными статьями и угрожавшим столице вступлением в нее пруссаков, и поэтому негодующий протест национальной гвардии захватывал и мобилей, а за ними и армию. Войска, отправляемые Винуа для наблюдения или рассеяния манифестантов,— братались с ними.

26-го распространился слух, что вступление пруссаков произойдет ночью, и без всякого приказа 40.000 человек с ружьями, с полуночи до 4-х часов утра, двинулись по аллеям Елисейских Полей и Великой Армии навстречу неприятеля. К счастью, пруссаки не явились, слух оказался ложной тревогой. Пруссаки должны были вступить в числе 30.000 только 1-го марта, как об этом и известил население афишами министр Пикар. Эта отсрочка дала возможность делегатам национальной гвардии обсудить дело совместно с их ротами. Почти все роты, а некоторые единогласно, высказались за вооруженный отпор. Нужно было ожидать ужасной катастрофы. Один выстрел по направлению пруссаков и,—вероятно, даже наверное, возобновились бы враждебные действия, произошла бы борьба на улицах, Париж был бы в пламени и залит кровью. При таком положении вещей все, что еще оставалось от Центрального Комитета двадцати округов, совместно с Федеральным Советом Интернационала и Федерацией Синдикальных Палат, короче говоря, все социалисты вмешались в дело. Они доказывали национальной гвардии всю бесполезность, все безумие подобной авантюры. Они говорили, что еще помнят печальные июньские дни <sup>1)</sup>, что всякое нападение в этот момент, как и тогда, поставило бы народ лишь под удары врагов революции, которые утопят социальные требования в потоках крови.

Этот голос был услышан. Временный Комитет национальной гвардии пристал к этому мнению, единственно благоразумному и единственно допустимому при данном положении. Комитет даже смело заявил об этом, признавая свое первоначальное заблуждение. В своей прокламации Комитет писал: «Центральный Комитет, ранее высказавшийся за противоположное мнение, заявляет, что присоединяется к следующему решению:

<sup>1)</sup> Прим. В июне 1848 г. восстание парижского пролетариата подавлено было Национальным Собранием и назначенным им диктатором ген. Кавеньяком с невероятной жестокостью. Пер.

«Вокруг кварталов, подлежащих оккупации неприятеля, будет воздвигнут ряд баррикад, которые совершенно изолируют эту часть города. Жители местности, лежащей в пределах этих кварталов, должны немедленно эвакуировать ее. Национальная гвардия в согласии с армией, образуя кордон вокруг этой местности, будет наблюдать, чтобы неприятель, изолированный таким способом и районе, который не будет считаться нашим городом, не мог бы никоим образом сообщаться с частями Парижа, охраненными кордоном.

В виду этого Центральный Комитет приглашает национальную гвардию оказать свое содействие для осуществления мер, необходимых для этой цели, и избегать всякого нападения, которое поведет к немедленному падению Республики».

Приказ этот был в точности исполнен, и это устранило величайшую опасность.

Это событие доказало, между прочим, силу Временного Комитета национальной гвардии и увеличивающееся к нему доверие. В этот особенно трагический момент он встал на место правительства и обратился к населению без обиняков, честно, откровенно, успокоил его возбуждение и склонил его к поведению, которое являлось и достойным и благоразумным.

Вильгельм Прусский (ставший германским императором), дважды в'езжавший в Париж при аналогичных условиях, в 1815 и 1871 г.г., мог лучше, чем кто либо, судить о красноречивом контрасте этих двух оккупаций. В 1815 г. бульвары радостно встречали победителей Наполеона; их приветствовали букетами, улыбками и поцелуями женщины высшего света или полусвета. Никакой задней мысли, никакого сожаления не замечалось у так называемых высших классов; у людей же из народа наблюдалось, самое большее, — индифферентность. В 1871 году пруссаки встретили мертвый город, когда они заняли часть Парижа, определенную конвенцией, между Сеной, площадью Согласия, улицей предместья Сент-Онорэ и авеню Терн; они не решались и не могли выйти за эту черту. Улицы были пустыни, гардины магазинов и лавок были опущены и на них можно было читать: «закрывает по случаю национального траура»; черные знамена развевались на всех национальных и общественных зданиях и на окнах весьма многих частных домов. Печаль и уныние читались на всех лицах. Повсюду молчание и отчаяние. Очевидцы этой сцены вполне единодушны в своих описаниях. Вечером, говорят они, Париж имел мрачную физиономию, нигде не видно было света, ни одного экипажа: ни фиакра, ни омнибуса; ни одного открытого театра; ни одно из увеселитель-

ных заведений не открыло своих дверей; только в мэриях народные ораторы произносили речи, утешая свою аудиторию. Таким образом, Париж, точно исполняя предписание Центрального Комитета национальной гвардии, создал полную пустыню вокруг победителей. Оккупация продолжалась всего шестьдесят два часа. 3-го марта пруссаки удалились, пристыженные и раздраженные таким смешным триумфом.

В эти немногие дни Центральный Комитет завоевал поразительно выдающееся влияние. В противоположность к нерасположению по отношению к правительству, за его пренебрежение и злостную индифферентность, великий город смотрел на Комитет как на единственного уполномоченного и истолкователя своих чувств, как на ревнивого стража своей чести, на бодрствующего и твердого охранителя материальной безопасности города. Но в эти же дни Комитет завоевал не только сильный авторитет, он завоевал или, вернее, вновь отвоевал также и свои пушки,—пушки национальной гвардии. Каким образом это произошло? Он увез их, спасая те 400 пушек, которые заботы были правительством и Винуа в Пасси, в парке на площади Ваграм, т. е. в той самой зоне, которую на завтра должна была занять неприятельская армия, или в двух шагах от этой зоны, под рукой у неприятеля. Однажды, после полудня, были увезены эти прекрасные орудия, отлитые на деньги народа, собранные по подписке; на тарелках этих орудий вырезаны были названия батальонов, их собственников. В увозе их участвовали все: мужчины, женщины, дети; каждый батальон брал свои орудия и увозил их на руках вплоть до высот Бельвиля и Монмартра.

Таким образом Федерации национальной гвардии оставалось лишь окончательно организовать себя, чтобы превратиться в неоспоримого хозяина положения, вершителя судеб города. К этому она и приступила, не теряя времени. 3-го марта произошло новое собрание делегатов, имевшее решающее значение; на этом собрании, наряду с представителями Центрального Комитета, заседали и представители другой подобной же организации—Федерального Республиканского Комитета, явившиеся, чтобы сговориться о полном слиянии. Собранием принят был «Устав Республиканской Федерации национальной гвардии». В соответствующих пунктах Устава значилось: «Республика, являясь единственным правительством права и справедливости, не может быть подвергнута всеобщему голосованию, которое само является ее производным. Национальная гвардия имеет абсолютное право назначать всех своих начальников и увольнять их, как только они лишатся доверия тех, кто их

избрал». Этот существенный пункт был еще более подчеркнут Варленом следующей резолюцией, подлежащей немедленному исполнению: «Национальная гвардия требует абсолютного права назначения всех своих начальников и увольнения их с того момента, как они лишатся доверия тех, кто их избрал. Для фактического закрепления этого требования Собрание постановляет, чтобы начальники всех рангов подверглись немедленному переизбранию». Пункты Устава, одобренные, а затем принятые, определяли организацию и состав общего собрания делегатов, батальонных собраний, советов легионов и Центрального Комитета.

В следующее заседание, происходившее 13-го марта, делегаты от каждого округа явились уже с законными мандатами, скрепленными подписями фельдфебелей команд. Из общего числа 270 батальонов к Федерации присоединилось 215, т. е. четыре пятых. Гарibaldi назначен был главнокомандующим, Фальто и Жакарл назначены начальниками легионов, Шарль Люлье—командующим артиллерией. Эти четыре человека составили Исполнительную Комиссию, уполномоченную действовать при всяких обстоятельствах.

Париж в этот момент фактически сливался, таким образом, с своей национальной гвардией, опираясь на ее ружья и пушки, и можно сказать, что никогда еще, может быть, не замечалось такого полного взаимного проникновения элементов военного и гражданского, такой широкой и систематической, организованной группировки солдат-граждан.

Тьер, прибывши на место действия, решил атаковать эту силу; эту силу он решил обезоружить, лишив ее сначала ее пушек, потом дело должно было дойти и до ружей.

Пушки, как мы уже выше упомянули об этом, неоспоримо принадлежали национальной гвардии. Она заплатила за них своими грошами. В течение осады всякий батальон пожелал иметь свои орудия, и в виду этого в каждом батальоне открыта была подписка. Буржуа, без сомнения, тоже давали деньги, но столько же, если не больше, дали и рабочие. Оплаченные ее деньгами, эти орудия принадлежали национальной гвардии еще и потому, что она спасла их от захвата пруссаками: 400 орудий—мы уже говорили об этом—забыты были вследствие скандальной небрежности в районах города, подлежащих прусской оккупации, и батальоны федералистов в последнюю минуту увезли их из Пасси и с Ваграмской площади за черту французской линии.

Тьер и генералы тем не менее заявляли, что эти орудия должны быть переданы нации, т. е. им самим, и что парижане,

удерживая имущество, не принадлежавшее им, оказывались виновными в воровстве.

Из этих орудий некоторые отвезены были в парк Монсо, другие—на Вогезскую площадь, а наибольшее количество поднято было на Шомонские высоты, на Бельвиль, Монмартр и поставлено там на возвышенностях. На Монмартре траншеи вырыты были на высотах стараниями специального комитета, который заседал в № 6 улицы Розье и организовался—надо это отметить—вне Федерации и без всякого влияния Центрального Комитета.

### III. Восемнадцатое марта.

5, 16 и 17 марта правительством предприняты были некоторые попытки, отчасти при помощи убеждений, а отчасти хитрости и силы, захватить некоторые из этих импровизированных парков, особенно же парки на Вогезской площади и на Монмартре. Здесь мэр Клемансо счел своим долгом вмешаться и надеялся достигнуть полюбовного соглашения. Один момент, правда, можно было даже думать, что ему это удалось, но в конце концов дело не выгорело. Иногда, правда, батальоны вступали в переговоры, но вскоре они одумывались.

Тьер оскорблен был этими последовательными неудачами, к тому же его понукали финансовые дельцы, непрестанно повторявшие ему: «вы никогда не закончите финансовых операций, если не покончите со всеми этими злодеями, если не возьмете у них пушки. С этим надо покончить, а потом можно будет обсуждать и дела»<sup>1)</sup>. Тьер решил действовать энергично. Днем 17 марта он собрал министров, сообщил им свой план действия и отдал соответствующие приказания генералам. Последние должны были в течение ночи собрать свои войска и перед рассветом направить их на высоты Монмартра и Бельвиля, чтобы силою овладеть желанными орудиями. Винуа назначен был главным руководителем всей операции. Что же касается национальной гвардии буржуазных кварталов, то Тьер, мало доверяя ей, предпочел совсем не трогать ее и сообщил лишь обо всем ее генералу д'Ореллю. В то же время глава Исполнительной приготовил прокламацию к парижскому населению, прокламацию ненавистническую, в которой вылились вся низость его политики, вся его злоба и весь страх, который внушал ему рабочий и республиканский Париж.

Восемнадцатое марта. Увольнение Оскарета.

<sup>1)</sup> Следствие о восстании 18 марта.—Показания Тьера.

В этой прокламации прежде всего указывалось как на врага на тайный, айонимный комитет, на Центральный Комитет национальной гвардии, который, впрочем, всем был хорошо известен.

Она указывала далее на застои в делах, на невозможность их оживления, пока «люди беспорядка» будут удерживать за собой «пушки, похищенные у государства»; оканчивалась прокламация такой скрытой угрозой: «В ваших собственных интересах, в интересах вашего города и всей Франции правительство решилось действовать. Виновные, которые домогались учредить правительство, будут преданы обыкновенным судам»,—это значило—«военным судам». Затем после циничного обращения к республике, которая «сама» должна получить пользу от задуманного мероприятия, прокламация заканчивалась таким, по меньшей мере рискованным, как это показали последующие события, утверждением: «необходимо добиться какую бы то ни было ценою, не теряя ни одного дня, чтобы порядок, условия вашего благосостояния, восстановлен был вполне, немедленно и ненарушимо».

На рассвете прохожие могли читать эту прокламацию на всех стенах Парижа. Она отличалась хорошим шрифтом, но грубой провокацией и во всех отношениях достойна была подписи Морни или Сент-Арну<sup>1)</sup>. В ней был только один недостаток: она возвещала об успехе, которого на самом деле не было. Вместо победы бандиты и плуты записали на приход свое поражение.

На Могмартре войска, в числе 3.000 человек, под начальством генералов Сюсбьеля, Леконта и Патюреля, беспрепятственно взошли по склонам, захватили часовых, перебили двух или трех захваченных врасплох национальных гвардейцев и на мгновение захватили пушки. Но, благодаря выстрелам, национальные гвардейцы и жители предместья проснулись. Мужчины, женщины, дети бросились на улицы, вступили в непосредственное столкновение с войском, напирая на него, окружая и обезоруживая, убеждая, что оно не должно стрелять в народ. Тогда произошел такой необычный факт: солдаты 88-го пехотного полка бросились на своих офицеров, арестовали их и, повернув ружья прикладами вверх, побратались с народом. Федералисты, солдаты, мужчины, женщины жали друг другу руки, перемешались, целовались и плакали: это была незабвенная минута.

Таким образом, Леконт, одержав победу в 3 часа утра, в 8 часов был побежден и взят в плен. Его начальник Сюсбьель,

<sup>1)</sup> Прим. Министр Морни и генерал Сент-Арну при Наполеоне III. Оба деятельно помогали ему в совершении государственного переворота 2 декабря 1831 г.

который не сумел или не хотел помочь ему в нужное время, бежал вниз с своими батальонами по скатам Иуффенция и отступил на линию внешних бульваров. Бронзовые пушки достались народу, который торжественно сносил поставил их на высотах.

На улице Гуден конные егеря также отказались стрелять в толпу.

В 9 часов утра Винуа, благоразумно наблюдая за движениями с бульвара Клиши, отдал приказ об отступлении и, отступая, говорят, потерял даже свое кепи. Это был полный разгром.

В стороне Бельвиля произошло почти то же самое, с той разницею, что генерал Фарон, более осторожный, чем Сюсбьель и Леконт, не довел своих отрядов до цели и мог отступить, не оставив дезертиров в рядах народа.

Уже в 9 часов Тьера, все время находившийся в Генеральном Штабе, знал роковую новость о неудаче и поражении на всех пунктах. С этого момента день казался ему безнадежно испорченным. Но он был человеком быстрых решений и поэтому немедленно же принял определенное решение. План его состоял в немедленном оставлении Парижа, в удалении из его стен, причем за его особой должны были последовать генералы, министры, чиновники. И пора было! Не следовало терять ни одной минуты, пора было дать войскам вдохнуть чистого воздуха, иначе предстояла опасность, что они растают, как снег под лучами солнца, растворятся в той возбужденной и горящей атмосфере, какую представлял из себя Париж, и мятежнически присоединятся к 88-му полку. Оставить их в горниле—это значило самому толкать их на совместное выступление с народом.

Эта мысль об отступлении с целью подготовить нападение была, кроме того, и не новой для главы исполнительной власти. 24 февраля 48 г. он предложил такой же план действия королю Луи-Филиппу, но последний отказался ему следовать. С тех пор пример маршала Виндишгреца, отступившего из Вены, чтобы вернуться вскоре обратно победителем, только еще более укрепил Тьера в верности этой тактики.

Он и теперь предложил сделать то же самое. Министры возражали; тогда он обшелся без их одобрения: он убедил генералов, а в этом и было все дело. «Я солдат—скажите Винуа—приказывайте». И тогда войскам отдан был приказ отступить без сражения за Сену, сначала на левый ее берег.

Между тем д'Орелль де Паладин приказал бить сбор и тревогу в центральных кварталах, приглашая буржуа взяться за оружие и присоединиться к регулярным войскам для «восстано-



вления законного порядка и спасения республики от анархии». Тьер, повидимому, мало доверявший этому последнему средству, все-таки выпустил соответствующую прокламацию «национальным гвардейцам Парижа», призывая их выступить для общей защиты Отечества и Республики против поборников «коммунистических доктрин», которые намеревались, будто бы, «разграбить Париж и погубить Францию».

Однако, фактически буржуа остались сидеть по своим домам, несмотря на все эти многочисленные и настоятельные просьбы. Консерваторы, защитники порядка и собственности, сторонники правительства, если таковые были в данный момент в столице, не шевельнулись или почти не шевельнулись, потому что там, где можно было рассчитывать увидеть от 15 до 20.000 человек, с трудом удавалось собрать еле 500. Доказательство было очевидно, и Тьер заботился только об одном, чтобы удрать как можно скорее. Он выехал первым, оставив после себя приказ эвакуировать все и притом немедленно: эвакуировать Париж, южные форты, Курбува, даже Мон-Валерьян и направить войска в Версаль.

И была пора. Опасения беглеца вполне соответствовали действительности.

Осторожные свидетели-очевидцы отступавших на Версаль войск, которые, еле двигаясь, ругали жандармов, их окружавших, сохранили впечатления, доказывающие, насколько революция являлась победительницей, сама даже не предполагая этого.

Гектор Пессар, интимный друг и доверенное лицо Тьера, чрезвычайно картинно описал это отступление. «По дороге к Версалью, говорит он, Тьер отступает перед инсurreкцией; двигающиеся беспорядочные банды, подгоняемые жандармерией, представляли собою все, что оставалось еще от французской армии. По мере наступления ночи громадное человеческое стадо начинает все больше упрямыться. В темноте, окутавшей все кругом, цвет мундиров сгладился, и можно было думать, что находишься среди батальонов федералистов. Благодаря какому чуду эти люди с наглыми физиономиями и бунтовским гидом не вернулись обратно, расстреляв предварительно, перед возвращением в Париж, экипаж, которые увозили правительство? На флангах колонн, подавляя бешенство в душе, ехали униженные и негодующие офицеры, делая вид, что не слышат непристойных ругательств. Они чувствовали, что всякое их строгое действие поведет к открытому возмущению. Они довольствовались только стараниями не порвать ту слабую нить,

которая еще держала в относительной дисциплине их команды, охваченные злыми замыслами»<sup>1)</sup>.

Тьер свернул на дорогу в Севр и оттуда наблюдал прохождение войск; он испустил вздох облегчения, когда увидел, что все они, наконец, прошли. Он сказал себе тогда, что возможность отщепенения у него в руках.

Министры еще несколько часов промедлили в столице. Они заседали у Камбона, и тут их посетили парижские мэры и депутаты, предложившие пункты соглашения, но распространившееся известие о казни генералов Леконта и Клеман Тома прервало эти только что начатые переговоры, и министры в свою очередь покинули Париж. Жюль Ферри, последний остававшийся в Ратуше, чувствуя, что всякое сопротивление становится невозможным, также удалился с места действия.

Утром в Париже уже не было ни одного министра, ни одного генерала, ни одного начальствующего лица. Париж был сам себе господином, он принадлежал народу и революции.

Что же делал в это время Париж и как обстояло дело с революцией?

Они не сомневались в своей победе; но ни одно из совершающихся событий не было ими предварительно обсуждено, предусмотрено, осознано. Если когда-либо происходило рефлекторное движение, самопроизвольное восстание народа, то это было именно в день 18 марта. Войска и правительствующие лица были уже далеко, когда парижское население думало, что они еще среди него, и не отдавало себе даже отчета в той опасности, которой они избежали. В 3 часа дня батальона федералистов XV округа прошли мимо министерства иностранных дел, где находилась в сборе вся министерская банда. Национальным гвардейцам оставалось только открыть двери, слабо защищенные 50—60 егерями, войти, и они захватили бы зверя в его логовище: всех капитулянтов «Национальной Защиты», всех рубак государственных переворотов, прошлых и будущих, а в довершение всего—самого Тьера. Оба батальона прошли мимо, даже не подозревая, что они упускают из рук лучший козырь революции.

Если мы бросим взгляд на общее положение в данный момент, то увидим, что национальные гвардейцы и рабочие предместьев последовали за войсками и дошли уже до центра Парижа, до мест, прилежащих к Ратуше, двигаясь вперед по мере того, как отступали солдаты Сюсьееля, Фарона, Винуа. Конечно,

<sup>1)</sup> Mes petits papiers 1871—1873, par Hector Pessard.

они сознавали, что победа за ними, но не знали: каковы размеры этой победы? О своем полном успехе эти люди могли только наполовину догадываться, и не только заурядные национальные гвардейцы, но даже начальники, члены Центрального Комитета. Как те, так и другие предполагали западню, опасались возобновления атаки неприятеля.

Только после полудня можно констатировать начало более серьезного наступления. В это именно время федеральные батальоны Батиньоля—под командой Варлена, Монмартра—под командой Бержера, Гласьеры и Пантеона—с Дювалем во главе, Бельвиля—во главе с Ранвье и Брюнелем, в полном составе направились к Ратуше, занимая посты, казармы, национальные и муниципальные здания, встречавшиеся на их пути. В 5 часов они захватили национальную типографию, в 7½ часов они окружили городской дом (Ратушу) и вошли в него в 9 часов, в тот самый момент, когда Ферри спасался из него бегством. На пройденных ими улицах, в народных кварталах, толпа наспех сооружала баррикады на перекрестках больших улиц. В 11 часов мэрия Лувра, где собралась мэры, взята была в свою очередь, и Ферри, искавший там временного убежища, бежал из нее, выпрыгнув в окно.

Город был очищен, все бежало. Последние министры, уложив свои чемоданы, оставили в столице только одного полковника Ланглуа, назначенного ими, взамен д'Орелля, начальником национальной гвардии с поручением заставить национальную гвардию признать себя ее главою. В два часа ночи Ланглуа явился в Ратушу с намерением провести эту затею перед Центральным Комитетом. В 2½ часа он удалялся, освистанный федералистами.

Только 19-го утром,—прекрасным утром, залитым лучами весеннего солнца,—Париж фактически узнал всю обширность своей победы, он узнал о беспорядочном бегстве властей и о наступлении своего царствования.

Этим же утром Париж узнал и о драме, разыгравшейся накануне в Монмартре, в конце двенадцатого часа, о расстреле двух генералов, Леконта, взятого в плен, как известно, собственными солдатами, и Клеман Тома, бывшего главнокомандующего национальной гвардией, июньского убийцы, арестованного днем вблизи баррикады в улице Мучеников. Леконт и Клеман Тома заперты были со многими другими офицерами низших рангов в помещении Комитета в улице Розье. Федералисты, которым было поручено караулить их, хотели законного суда над ними. Целые часы они боролись с все усиливающимся раздра-

жением собравшейся толпы, требовавшей немедленной расправы с генералами, и особенно с озлоблением собственных солдат Леконта, дезертиров 88-го полка. Последние хорошо понимали, что в случае, если бы обстоятельства изменились и пришлось поменяться ролями, т. е., если-бы они оказались пленниками своих начальников, то вместо того, чтобы быть под арестом, они уже несколько часов, как получили бы полагающуюся дюжину пуль. Утром этого дня Леконт кричал им, когда они отказались стрелять,—«ваша песенка спета!».

Под конец напор толпы опрокинул все и отбросил национальных гвардейцев, своей грудью безнадежно прикрывавших пленников. Разнузданная ужасная и мстительная безыменная ярость массы. Сначала Тома, а затем Леконт брошены были в узкий палисадник, принадлежавший к дому. Раздались выстрелы. Кто стрелял? Это и до сих пор с точностью не установлено, несмотря на два процесса, торжественно прошедших перед военным судом в Версале. Оба генерала упали, чтобы уже не вставать.

Это была случайность, простой эпизод, который в данный момент почти не вызвал никакой ряби на громадной революционной волне, и его трагическое впечатление утонуло и стерлось почти мгновенно в радостном опьянении завоеванной свободой, охватившем всю столицу. Но факт этот все-таки следует ясно отметить, потому что реакция и Тьер схватились за него немедленно, чтобы заклеить Париж, отдать его на суд Франции; они сделали из него один из предлогов своих кровавых репрессий и зверских последовавших за ними избиений. Повторяем—это было случайное происшествие из числа тех, которые роковы и образом встречаются при всех скопищах толпы, которая в иные моменты не различает того, что доктринер и фарисей называет легальным и нелегальным. Версаль, не имевший за собой оправдания, так как он не был толпой, совершил деяния в тысячу, в тридцать тысяч раз худшие. Во всяком случае ни Коммуна, еще не родившаяся, ни Центральный Комитет ничем не участвовали в этом расстреле; не участвовали также совет легиона XVIII округа, или какое-либо иное революционное учреждение из числа действовавших в то время на Монмартре.

Вспомнив это, перейдем к дальнейшему описанию великой драмы. Таким образом, Париж стал сам себе господином. Как он рассчитывал воспользоваться своей победой? Что предпринял Центральный Комитет, внезапно выдвинутый на первый план, руководитель города с населением более, чем в 2 миллиона?

План действия, который следовало-бы осуществить, известен нам в настоящее время. Следовало в это-же солнечное,

воскресное утро быть сбор во всех улицах и во всех предместьях и из Тампля, Марэ, Сент-Антуана, Гренелля, с висот Монмартра. Шомона, Пантеона увлечь народ и тесными колоннами вести вооруженных рабочих на Версаль, по пятам г. Тьера, его министров, его генералов и его полков. Победив, надо было воспользоваться плодами этой победы, не оставаться на месте, а идти на разбитого неприятеля, смущенного, расстроенного, пока он еще не пришел в себя и не реорганизовался.

Несмотря на бахвальство Тьера и на очевидное желание представить дело после событий в том свете, что он будто-бы все предвидел, что он ни на минуту не усомнился в значении предпринятых им мер и отданных приказаний, не подлежит сомнению, что в этот момент Тьер далеко не вполне был уверен в успехе. Он сам признается в этом в своем показании следственной комиссии, пытаясь, правда, свалить главным образом на других собственную тревогу. «В Версале, говорит он, мы целые две недели ничего не делали. Это самые постыдные дни моей жизни. В Париже общим мнением было, что «с Версалем покончено, как только мы появимся:—солдаты поднимут приклады вверх». Я был уверен, что этого не случится, но всетаки, если-бы нас атаковали 70 или 80.000 человек,—я не отвечал-бы за твердость армии, подавленной в особенности сознанием черезчур большого численного превосходства».

Свидетельство это имеет большое значение. Фактически это и был именно тот психологический момент, который уже более не повторяется. Несколько предусмотрительных, энергичных людей из числа тех, которые в прежние годы пытались силою уничтожить империю, а в дни «Национальной Защиты» выкинуть за окна из Ратуши капитулянтов, указывали на неотложную необходимость этого наступления. Эд. Дюваль очень твердо настаивал на этом. Дюваль явился в Центральный Комитет, в котором обсуждался текст прокламации, и сказал: «Большинство членов правительства еще в Париже <sup>1)</sup>; сопротивление организуется в I и во II округах; солдаты уходят в Версаль. Необходимо принять быстрые меры, захватить министров, рассеять враждебные батальоны, помешать неприятелю выйти». Но ни Эда, ни Дюваля, которые еще не были главнокомандующими, не послушали; их совету идти на Версаль последовали лишь позднее—3 апреля,—когда было уже поздно. В данный же момент национальная гвардия и Центральный Коми-

тет вручили высшее командование некоему алкоголику Шарлю Люлье, бывшему флотскому офицеру, о котором история не может с точностью сказать: был ли он сначала дурак, а потом предатель, или наоборот? Этот человек успел нагромоздить в течение 48 часов все, что только возможно совершить в смысле грубых ошибок и непоправимых упущений. Ворота Парижа он оставил открытыми и допустил солдатскому потоку вылиться вплоть до последнего человека. Он освобождал целые отряды и офицеров, отступление которых федералистам удалось отрезать, как, например, в Люксембурге, куда он явился лично, чтобы освободить полковника Перье 21-го полка; полковник после этого, собрав своих людей, поторопился в свою очередь удалиться в Версаль <sup>1)</sup>. Наконец, будучи послан, по собственному же предложению, в качестве парламентаря в Мон-Валерьян, Люлье, вместо того, чтобы сместить версальского коменданта, который трясся от страха, имея всего 80 человек, притом таких, на которых он не мог полагаться,—вступил с ним в переговоры, причем комендант обещал ему честным словом сохранять нейтральное положение. На другой же день этот комендант был освобожден от своих обязанностей Тьером, а форт был занят сильным отрядом пехоты. Таким образом, Люлье довел дело до того, что в руки неприятеля попал пункт, командующий над дорогой из Парижа в Версаль, пункт, обладание которым заранее обеспечивало за той или другой из воюющих сторон почти полную уверенность в успехах первых столкновений.

Этот, столь неудачный, выбор Люлье являлся в сущности указанием, показателем положения. Движение вполне самопроизвольное, рефлекторное, каким было движение 18-го марта, не могло не обнаружить бессвязности действий, отсутствия руководящей нити, более или менее бесполезной траты энергии и энтузиазма. Таким образом, оправдалось мнение тех людей, которые говорили после выборов 8-го февраля, что сражение придется дать в Париже и что вместо неблагоприятного путешествия в Бордо, благодаря которому должен был разойтись и растаять Центральный Комитет двадцати округов, следовало, наоборот, более чем когда либо усилить его, напрячь все пружины ввиду почти неизбежной победы, подготовляемой самим ходом событий. Предположите, что на месте Центрального Комитета была бы Кордери, и положение дела радикально изменилось бы и по внешности и по существу. Единая воля,

<sup>1)</sup> Дюваль ошибался в этом отношении. Министры Дюфор, Лефлю, Потюо, Симон, Ферри уехали в ночь с 18 на 19; Фаур и Пикар рано утром 19-го.

<sup>1)</sup> См. описание этой сцены в «Mémoires d'un Communard» Жюна Аллемана, который был одним из главных деятелей этого эпизода.

единая сознательная цель руководила бы движением и с самого начала координировала бы, объединяла и руководила манифестациями. Революционному положению для ведения революционной борьбы Кордери доставила бы и революционный механизм. Акты смелости и самоотвержения явились бы следствием. Наоборот, слившись из различных течений, представляя собою хаос смутных чаяний, Центральный Комитет национальной гвардии с самого начала лишен был той способности к решительным действиям, которая необходима в моменты кризисов, той решимости, которая спасает все, потому что смеет все.

Центральный Комитет не имел этой решимости и, будучи хозяином власти и момента, занимая Ратушу и располагая 300.000 скорострельных ружей и 2.000 орудий, решил было отказаться от власти, вернуться к законности, созвать избирателей. Вместо того, чтобы призвать к оружию, по общей тревоге во всем городе, федеральные батальоны и парижских рабочих, с целью вести их за стены города, вот какую прокламацию расклеил на стенах Парижа Центральный Комитет утром 19 марта:

«Национальным гвардейцам Парижа».

«Граждане, вы уполномочили нас организовать защиту Парижа и ваших прав. Мы исполнили это поручение. С помощью вашего великодушного мужества и вашего замечательного хладнокровия мы изгнали правительство, которое нам изменяло.

«В данный момент наш мандат исполнен, и мы возвращаем вам его, потому что не претендуем занять место тех, кого только что ниспровергло народное дуновение.

«Готовьтесь, следовательно, к выборам и совершите их немедленно, а нам в вознаграждение дайте то, к чему мы постоянно стремились: видеть, как вы установите истинную республику. В ожидании мы продолжаем занимать именем народа Ратушу».

Похвальное намерение, благоговейное отношение к суверенитету народа, которыми, во всяком случае, не грешили буржуа-революционеры в феврале 1848 года и 4-го сентября 1870 года. Это оригинальное поведение определило и самое течение событий. Оно повело за собою период переговоров с мэрами, который успел кастрировать инсurreкцию, лишил ее шансов на долговременность, если не на успех, на которые она могла рассчитывать вначале. Чтобы выборы осуществились, для этого, конечно, недостаточно было одного желания Центрального Комитета. Для этого необходимо было содействие мэров и их

согласие на эти выборы, потому что у них находились избирательные списки.

Восемь дней продолжались эти переговоры; темный и двусмысленный период, в течение которого партии взаимно испытывали друг друга, а буржуазно-республиканская партия задавала себе вопрос: последовать ли ей в революции за республиканским пролетариатом, или же, вследствие ненависти к предместьям и из страха перед социализмом, не помириться ли уже за реакции с версальским монархическим собранием? Историю этих дней осветить трудно. Во всяком случае, надо попытаться сделать это, чтобы установить ответственность каждого и всякому воздать должное.

#### IV. Мэры и Центральный Комитет.

Первая попытка мэров вмешаться в события относится к самому дню 18-го марта.

В этот день мэры и их помощники, собравшись вместе с депутатами Сенского департамента в мэрии Банка, а затем мэрии Лувра, поручили двенадцати делегатам, выбранным ими из своей среды, доставить правительству следующие предложения, которые должны были быть положены в основу соглашения и, казалось им, способны были остановить движение: 1) назначение Дориана в центральную мэрию Парижа, 2) назначение полковника Ланглюа главным начальником национальной гвардии, 3) немедленные муниципальные выборы, 4) обеспечение, что национальная гвардия не будет разоружена. Фавр принял делегацию и ответил ей с своей высокомерной обычной манерой: «Никаких уступок не может быть сделано возмущению; мы не ведем переговоров с убийцами». Ответ решительный, даже чересчур, конечно, так как в полночь от министра внутренних дел Пикара получился противоположный ответ; он соглашался или почти соглашался на три первых предложения и назначал с согласия Тьера полковника Ланглюа главнокомандующим национальной гвардией. Можно догадаться о мотивах этого ответа. Тьер, более осторожный, чем Фавр, не считал еще, что уже настал момент обнаружить все свои планы по отношению к Парижу. К тому же он сознавал, что ему приходится играть на ставку, которая уже бита, а чересчур поздальные уступки никогда не принимаются победоносным противником. Действительно, как мы уже сообщали, Центральный Комитет отказался признать назначение правительства

Ланглуа; он намеревался назначить выборы главнокомандующего национальной гвардией.

На другой день, 19-го, вследствие хода событий, собрание мэров и депутатов обратилось к Центральному Комитету; с этого момента, надо это отметить, мэры и депутаты получили от версальского правительства полномочие на гражданское управление столицей. Тирар, мэр II округа и в то же время депутат, имел в кармане полномочие, подписанное Эрнестом Пикаром, министром внутренних дел. Таким образом, мэры и депутаты, что бы они ни говорили и что бы ни делали, представляли собою только Версаль, от которого у них и был мандат. Они не являлись и не могли явиться независимой властью, автономной, вмещающейся между двумя другими властями с целью их примирения. Это важно отметить и это обстоятельство необходимо твердо установить. Мы не имеем в данном случае дела с двумя сторонами и с третьей, как бы третьей, но только с двумя сторонами: одна представлена была одновременно и в Версале и в Париже, а другая только в Париже. Очень возможно, что некоторые из мэров в данном случае обманывались; очень возможно, что они даже могли рассчитывать сыграть роль третейских судей и умиротворителей, но, во всяком случае, честные и побуждаемые добрыми намерениями среди них, каковыми, вероятно, были Бонвале и Моттю, остались в дураках— вот и все.

Во всяком случае, Тьер в данном отношении не ошибался. Переговоры, а следовательно, и отвлекающее влияние мэров способствовали его плану. Не будучи еще уверенным в успехе, он не пренебрегал ничем, чтобы сохранить для себя какой либо выход. С другой стороны он хорошо знал свой Париж и не мог не понимать, что если рабочий класс восстал весь целиком против правительства, то и буржуазия, мелкая и даже средняя, была равным образом окончательно разочарована в правительстве, была настроена нейтрально, если не прямо враждебно. Разве не Тирар, т. е. не самое доверенное Тьеру лицо в Париже, дал в следственной комиссии, когда говорил о настроении лиц, которые по своему положению, казалось бы, должны были быть всего более заинтересованы в сохранении общественного порядка, такое многозначительное показание: «Они обнаруживали одинаковое отвращение, как к правительству, так и к Центральному Комитету». Таким образом, совсем не бесполезна была тактика Тьера, которая, не раздражая окончательно эти элементы занятием положения, черезчур бесцеремонно грубого и вызывающего, остерегалась обидеть чтобы не ук-

пить их в положении наблюдателей или даже не толкнуть их прямо в ряды врагов. В этом смысле и должна была помочь Тьеру деятельность мэров, иллюзорная, но отвлекающая. Этими переговорами выигрывалось время и прикрывалось все остальное, самая суть задуманного плана, подготавливавшегося в Версале.

После этих нескольких замечаний, достаточных в данное время, но к которым мы вернемся еще впоследствии, когда мы будем говорить об исполнении задуманного плана, уже после нанесения окончательного удара, перейдем теперь к описанию дальнейшего хода событий.

Итак, собравшись 19-го в 2 часа в мэрии III округа, мэры совещались до 6 часов, когда, выслушав Арнольда, члена Центрального Комитета, они решили послать делегацию в Ратушу. В эту делегацию вошли: Клемансо, Курне, Локруа, Мильер, Толэн—депутаты, Бонвале и Моттю—мэры; Жаклар, Малон, Мейлье, Мюра—помощники мэров. Центральный Комитет принял этих посетителей в заседании. Прения велись горячо. Клемансо говорил в интересах своего лагеря и с самого начала встал на точку зрения Версаля, на почву благодарности и уважения к Национальному Собранию. Мильер и Малон, сочувствовавшие движению, к которому они вскоре и присоединились, внесли в прения большую сердечность и примирительное отношение. От имени Центрального Комитета говорил Варлен и в категорической форме изложил пункты предстоявшей задачи. «Нас спрашивают, чего мы хотим, ну, что же!—сказал он—мы хотим избираемого Совета, коммунальных свобод, уничтожения префектуры полиции, права для национальной гвардии выбирать всех офицеров, окончательной отмены долгов за наем квартир, справедливого закона о сроках платежей; наконец, мы хотим, чтобы армия отступила на двадцать лье от Парижа». Заявление было вполне определенное; оставалось только передать его собравшимся мэрам и депутатам в той-же форме, в какой его только что выслушали их делегаты. Арнольд, Журд, Моро и Варлен получили мандат выполнить эту миссию.

Сошлись они с мэрами вечером, в 10 часов, в мэрии Банка. Там присутствовало до шестидесяти парижских избранников—депутатов, мэров, их помощников; это были избранные представители радикализма и республиканского либерализма. Председательствовал Тирар, вокруг него находились демократические знаменитости: Луи Блан, Карно, Шельхер, Пейро. Дебаты продолжались дольше и были более резки, более ядовиты, чем в Ратуше. Представители обоих лагерей мерялись силами, оскорбляли друг друга, стесивали свои позиции и шаг

за шагом. «От кого вы получили власть, спрашивали избранники, кто вас назначил? Существует только одна законная власть, это—наша». На это делегаты Центрального Комитета возражали: «Наша власть—это факт; Центральный Комитет существует, он занимает Ратушу, он нас и послал сюда».

Варлен изложил программу Комитета, преследуемые им цели и заявил, кроме того, о необходимости немедленного избрания всех муниципальных властей и о согласии Комитета сотрудничать с мэрами относительно подготовки этих выборов. Луи Блан оказался самым нетерпимым. Он заявил, что не желает никакой мировой сделки с мятежниками и не хочет, чтобы в глазах Франции могло показаться, что он является их помощником. Пререкания продолжались до 4 часов. Под конец оставался один Варлен из всех делегатов Комитета. Наконец, повидимому, пришли к соглашению. Согласились на том, что Центральный Комитет сохраняет за собою командование национальной гвардией, но должен перенести свою главную квартиру на Вандомскую площадь. Ратуша должна быть передана мэрам, и из них трое должны были утром, в 9 часов, принять ее в свое ведение. Что же касается депутатов, то они должны были немедленно выехать в Версаль, чтобы сообщить там о миролюбивом соглашении и внести спешное предложение о вотировании муниципального закона.

Действительно, в 9 часов утра в Ратушу явились Бонвале, мэр III округа, Мюра, помощник мэра X округа, и Денис, помощник мэра XII округа, но Центральный Комитет заявил им, что его делегаты превысили накануне свои полномочия и что поэтому он не признает заключенного соглашения. Взяв на себя ответственность за положение дел и за последствия, Комитет не мог, конечно, поступиться ни военной, ни гражданской властью. Бонвале удалился, а Мюра немедленно отправился в Версаль, чтобы предупредить депутатов о происшедшей перемене фронта.

Таким образом, оба партнера заняли свои первоначальные позиции. Опираясь исключительно на свои собственные силы, Центральный Комитет должен был ответить на требования существовавшего положения. Комитет, впрочем, отчасти уже предвидел такой оборот событий, так как в № Journal Officiel, появившемся утром, он объяснял достаточно ясно свое поведение и свои действия. Более подробно, чем накануне, он пояснил в прокламации, что он из себя представляет и куда намерен идти. Его манифест заканчивался таким риторическим заключением, очень интересным по своей форме, которая доказывала,

что при всей своей «неизвестности» члены Центрального Комитета, если и не умели действовать, то умели говорить и писать: «Мы, облеченные мандатом, давившим нас своей ужасной ответственностью, мы выполнили его без колебаний, без страха; теперь, достигнув цели, мы говорим народу, который нас настолько уважал, что выслушивал наши советы, часто оскорблявшие его нетерпение: «Вот мандат, доверенный тобою нам; там, где могли бы начаться наши личные интересы, там должны окончиться наши обязанности; исполняй свою волю! Ты освободил себя. Еще несколько дней тому назад, будучи вполне неизвестными, мы возвращаемся теперь теми же неизвестными в твои ряды и покажем правителям, что возможно с высоко поднятым челом спуститься по ступеням твоей Ратуши, с уверенностью, что внизу встретишь пожатие твоей честной и могучей руки». В другой прокламации, являвшейся логическим выводом из предыдущей, Комитет призывал избирателей к урнам в среду, 22-го марта. Провинция также не была забыта! Длинное сообщение, составленное делегированными в Journal Officiel лицами, знакомило провинцию с положением дел. В нем говорилось, что просвещенные и непредубежденные департаменты справедливо отнесутся к народу столицы и поймут, что согласие всей нации неизбежно для общего спасения.

Документы эти показывают тот дух умиротворения и чрезвычайной, даже чрезмерной умеренности, который воодушевлял Центральный Комитет. При чтении их кажется, что Комитет не хочет ничего разбивать или ниспровергать в политическом строе, а тем менее в социальном; его единственная цель—это защита и признание прав Парижа и его муниципальных властей. С трудом можно найти на столбцах Officiel'я этого и последующих дней какую-нибудь фразу или выражение, которые могли бы обеспокоить буржуазные уши, которые выдавали бы скрытую мысль об экспроприации, об изъятии части имущества владеющих классов. Предоставить слово самому населению, возвратить ему как можно скорее власть, которую Комитет рассматривал, как исключительно-временно порученную ему, такова была в данный момент господствующая мысль Центрального Комитета. Можно, конечно, порицать или хвалить его за это, но это факт.

В это время Версаль уже оттачивал кинжал. Перенесем в Национальное Собрание, послушаем прения этого дня и выведем свое заключение. Прежде всего, когда вы сойдете с поезда и еще не успеете войти в Собрание, в вас вглядываются, вас осматривают, вас обыскивают полицейские руки; с этого мо-

мента паспорт является для вас необходимостью. Вблизи дворца королей, в кулуарах, в зале заседаний царствует невообразимый страх; самые смелые говорят о бегстве в Бурж. На трибуну входит некий г. Ластейри; он предлагает и заставляет выбрать на всех парах комиссию пятнадцати, «которая соединяла-бы в себе все мнения собрания и вошла-бы в соглашение с исполнительной властью о надлежащем образе действия при настоящих обстоятельствах».

В комиссию эту избраны: два генерала, два адмирала, два герцога, целая куча тупоголовых и свирепых реакционеров и ни одного республиканца. В ответ на это, как эхо, чтобы несколько успокоить эту палату, которая буквально проваливается, министр внутренних дел Пикар предлагает,— и его предложение принимается почти без возражений—объявить осадное положение в департаменте Сены и Уазы. Затем на насест взлетает Трошю, блестящий тартюф «Защиты». Весьма хладнокровно изрыгает он брань на тех, кого он предал, на этих «жалких», «злодеев», на этих «коноводов гражданской войны, которые в течение осады десять раз чуть не впустили неприятеля в Париж». Реакция,—0,95 собрания,—ликует и топает ногами.

В этой возбужденной и обезумевшей среде сенские депутаты робко пытаются, прибегая к бесконечным предосторожностям, внести в порядке дня ряд мер, принятия которых, как им известно, с нетерпением ожидает весь Париж, как буржуазный, так и народный, и которые одни только и могут вызвать успокоение, дать почву для умиротворения. Клемансо вносит и читает предложение, касающееся муниципальных выборов. Оно имеет в виду избрание в самом близком будущем Совета из 80 членов, выбирающего уже из своей среды председателя, который и получает звание и исполняет обязанности мэра Парижа. Под этим предложением вместе с Клемансо подписалось 16 депутатов: Луи Блан, Шельхер, Толэн, Тирар, Бриссон, Гренпо, Лакруа, Ланглуа, Эдгар Кине, Брюне, Мильер, Мартен Барнар, Курне, Флоке, Рауа, Фарси.

От имени тех-же лиц Ланглуа вносит предложение о признании за национальной гвардией права избрания всех своих офицеров. Третье предложение Мильера требует отсрочки на полгода уплаты по торговым векселям. По предложению правительства принята была неотложность этих предложений; но с этого уже момента можно было предвидеть их судьбу.

К счастью для себя в этот именно день Центральный Комитет устранил или обошел одно из препятствий, самых опасных, стоявших на его пути: он вырешил вопрос об уплате вознаграждения национальной гвардии.

Действительно, у него было 300.000 человек, которых он должен был кормить утром и вечером. Это поглощало ежедневно по меньшей мере 450.000 фр., не считая дополнительных расходов. Такой расход был-бы тяжелой ношей для всякой спины, а в особенности для спины такого новичка в политической и административной области, каким был Центральный Комитет. Два смелых, интеллигентных и энергичных человека взялись за это дело и сумели довести его до счастливого конца, это были Журд и Варлен. Не желая, из чувства добросовестности, захватить 19-го марта изики министерства финансов, в которых они нашли-бы около 5 миллионов, и предварительно обратившись, утром 20-го, в некоторые частные кредитные учреждения, давшие им довольно неопределенные обещания, днем они направились в Банк. Здесь его управляющий Рулан, боявшийся еще худшего, передал им миллион, под единственным условием, чтобы в росписке о получении этой суммы помечено было, что она взята за счет города. Таким образом Центральный Комитет получил возможность выжидать. Он получил отсрочку, чтобы оглядеться и подумать.

По правде говоря, и пора было это сделать, так как на другой день поутру атака началась по всей линии.

Депутаты и мэры прежде всего поторопились известить население посредством прокламаций, что по их предложению Национальное Собрание признало неотложность обсуждения проекта закона о выборе муниципального совета в Париже, и в виду этого они приглашали национальную гвардию избегать всякого повода к столкновению, ожидая решения Национального Собрания. Несколько часов после этого, камарилья депутатов и мэров выпустила вторую прокламацию, наполненную ложными уверениями и иллюзиями, в которой все это говорилось в еще более определенной форме. На первый план прокламация выдвигала истекающее кровью и изувеченное отечество и приглашала избирателей не идти на выборы, к которым их призывали незаконно и не имея на это права. Эти молодцы вполне доверяли Национальному Собранию или делали вид, что доверяют ему. «Мы хотели-бы, говорили они, сохранения и укрепления великого учреждения национальной гвардии. Мы получим это: Национальное Собрание даст нам его. Для Парижа мы хотели-бы немедленных муниципальных выборов, признания его муниципальных вольностей. Мы получим все это: Собрание даст нам это». Была-ли это наивность или двуличие? Это зависит от предположения, что ими руководило: добросовестность или недобросовестность.

Эта демонстрация поддержана была еще другой, источник которой, повидимому, был иной, но которая, может быть, была в связи с первой, потому что наряду с газетами явно реакционными, как: *Univers, Union Français, Gaulois, Figaro*—она сгруппировала также и республиканские газеты вроде *Vérité, Temps, Opinion Nationale*.

Мы говорим о декларации прессы парижским избирателям. Тридцать пять подписавшихся под декларацией газет становились на академическую точку зрения на конституционное право. Так как созыв избирателей, утверждали они, является актом верховной власти нации и принадлежит только власти, организованной на основе всеобщего голосования, то Центральный Комитет не уполномочен для подобного созыва.

Исходя из этого, газеты объявляли отмененным и недействительным созыв избирателей на 22-е марта и приглашали избирателей не обращать на него внимания.

Это была уже формальная война, которая из тайных собраний мэров и из редакций газет должна была спуститься на улицу. Действительно именно в этот день произошла первая манифестация «Друзей порядка». Эти «друзья», повидимому, собрались по призыву некоего Бонна, капитана 253-го батальона. С бульваров, бывших местом сборов, демонстранты направились на площадь Бирижи, затем, сплотившись вокруг трехцветного знамени с надписью «Союз друзей порядка», они пошли на Вандомскую площадь и, остановившись перед № 22, где помещался штаб национальной гвардии, начали кричать: «Да здравствует Собрание!» Один из членов Центрального Комитета вышел на балкон и предложил им прислать делегацию.

Манифестанты отвечали неистовыми криками: «Долой Комитет! Никаких делегатов! Вы их убьете!» После этого национальные гвардейцы, охранявшие входы, оттеснили с площади этих буянов, вскоре затем и разошедшихся, с разговором однако собраться снова на другой день в тех-же местах. Кто были эти манифестанты? Их лозунг: «Да здравствует Собрание!» указывал на сторонников Тьера и деревенского большинства. Однако, они состояли из очень смешанных элементов и в их число замешалось известное количество бонапартистских агентов или каких-то других, как это еще яснее обнаружилось на другой день. Партия реакции считала, что в эти смутные и возбужденные моменты настало наконец время для действия, и старалась занять позицию.

Опираясь на это сопротивление мэров, прессы и людей порядка, Версаль стал момент также подходящим, чтобы показать

свою игру. *Officiel* Национального Собрания поместил утром длинную статью с описанием положения дел. Правительство объявило о своем отступлении и объясняло его причины; оно заявляло, что передало свои полномочия мэрам, которым временно поручено управлять столицей. Затем оно обвиняло Центральный Комитет за его мятеж, отмеченный убийством генералов Леконта и Клеман Тома, умоляло департаменты прийти на помощь единственной законной власти, чтобы совместно с нею подавить восстание и примерно наказать злодеев, действовавших в согласии—на что будто бы были несомненные доказательства!—с самыми отвратительными агентами империи и строивших козни с пруссаками.

В послеобеденном заседании тон еще более повысился, и Собрание единодушно одобрило прокламацию к народу и к армии, произведение академика Витэ, которая сеяла страх и ненависть. З тем, возражая Ланглуа, Бриссону, Леону Сэ, требовавшим коммунальных прав для Парижа, Тьер ответил, что столицей нельзя управлять, как каким-нибудь городом в 3.000 жителей. Наконец на трибуну взошел Фавр и запальчиво, с пеною у рта и рыданиями в голосе, произнес против великого города самую гнусную обвинительную речь. В самом начале речи он высказал протест против всякого соглашения с людьми, которые ставят выше законной власти «какой-то кровавыи и хищный идеал». Нечего ждать, нечего медлить: немедленное объявление беспощадной и немедленной войны этому Парижу, «который принимает в своей Ратуше убийц». И, зная свою аудиторию, Фавр имел бесстыдство прибавить: «Если-бы некоторые из членов этого Собрания попали в их руки, они были-бы то же убиты». Затем, возвращаясь к своей песне о скальпировании, он сказал: «Состояние Парижа—это грабеж, воровство, убийство, возведенные в социальную доктрину, и мы все это увидим, если не победим его!.. Никакой слабости, никакого примирения! Поспешим расправиться с негодяями, завладевшими столицею». Это яростное «ату его!» привело Собрание в настоящее неистовство. Адмирал Сессэ, получивший уже в этот момент назначение в главнокомандующие национальной гвардией, воскликнул: «Итак, призовем провинцию и идем на Париж!» Вся правая, поднявшись, вопила: «Да, да, идем на Париж!» Сам Тьер испугался этого неистовства, по его мнению разразившегося черезчур рано. Он вмешался в прения, чтобы успокоить страсти, и совместно с Пикагом внес и провел неотложность обсуждения муниципального закона. Но после этого дикого взрыва, обнаружившего затаенные и глубокие чувства всей этой деревен-



щины, сплотившейся против рабочего и республиканского Парижа, какое значение могла иметь эта болеутоляющая и платоническая выходка? Гражданская война была объявлена Версалем; ничто уже с этого момента не могло отвлечь ее фатальной неизбежности.

Центральный Комитет честно, законно и по-прежнему в умеренной форме старался познакомить с истинным положением Париж, Францию, всех. О своих врагах—сравните его тон с кровавожадными воплями Жюль Фавра—он говорил просто: «Винютики всех наших бедствий покинули Париж, и о них никто нимало не сожалеет. И теперь солдаты, мобили, национальные гвардейцы объединены единой мыслью, единым желанием, единой целью: все хотят единения и мира. Пусть на улицах не будет больше возмущений! Довольно крови, пролитой за этих тиранов». Описание дня 18-го марта, напечатанное в *Officiel*, рисует события и объясняет их с редким беспристрастием. С достоинством написанная прокламация, подписанная Дювалем, делегатом в префектуре полиции, указав на программу требований Центрального Комитета: избрание муниципального совета Парижа, мэров и их помощников в двадцати округах, всех офицеров национальной гвардии,—ответила энергично на нелепую клевету, направленную против столицы, будто бы она хочет отделиться от Франции. «Париж не имеет никакого желания отделяться от Франции; напротив, ради нее он терпит империю, правительство «Национальной Защиты», все его измены и все его низости. Конечно, Париж это делал не для того, чтобы отказаться от Франции теперь, но чтобы сказать ей по праву старшего брата: «Защити себя, как я себя защитил; сопротивляйся угнетению, как я восстал против него».

Этот язык разнится от языка, на котором выражался Версаль: нет ни брани, ни провокации, никакого призыва к убийству и к резне. Центральный Комитет озабочен был только тем, чтобы доказать и убедить всякого, Париж и провинцию, в его праве, в законности его требований, в превосходстве его дела.

Но, несмотря на все свое миролюбие, в известные моменты, если люди не желают погибать, то они принуждены бывают защищаться, отбивать нападение. В парижском *Officiel'e* от 22-го марта разобрана была декларация прессы, появившаяся накануне. В этой статье Центральный Комитет заявлял, что он не допустит, чтобы продолжались нападки на верховную власть народа, выражающиеся в возбуждении к неподчинению его решениям и приказам, и грозил виновным репрессиями в случае повторения подобных нападков.

Более подробная статья, озаглавленная «Право Парижа» и подписанная делегатом при «*Journal Officiel*», устанавливала взаимную позицию Парижа и Версаля. Национальное Собрание изображено было в ней таким, каким оно являлось фактически, т. е. испорченным в самых своих источниках, уже лишившимся значительной части своих членов, получившим, помимо всего этого, только один ограниченный мандат—решить вопрос о мире или войне,—и не имеющим, следовательно, права присваивать себе, не насилуя верховной власти народа, учредительные функции для издания органических законов. Кроме того, *Officiel* заявлял, что в виду демонстраций со стороны реакции, уже вышедшей на улицу и грозившей вновь появиться там-же, выборы отложены до следующего дня.

Депутаты и мэры из менее бахвальных, вследствие того оборота, который приняли накануне прения в Национальном Собрании, расклеили с своей стороны прокламации, в которых они ограничились советом населению терпеливо ждать. Однако мэры и депутаты не являлись единственными руководителями всей буржуазной клиентуры: «Друзья порядка» стремились манифестировать и действительно манифестировали. Реакция тоже пожелала иметь свой «день», она и имела его, хотя он оказался совсем не блестящим.

К полудню «Друзья порядка» начали собираться группами на площади Новой Оперы, без оружия, по крайней мере видимого, так как таков был лозунг. Среди групп прохаживался адмирал Сессэ, назначенный Версалем главнокомандующим национальной гвардией, а главная квартира его находилась поблизости, в Гранд Отеле. «Храбрый моряк», очевидно, исследовал почву. Не найдя ее достаточно прочной, он отказался прицепить синюю ленточку, которую заговорщики одели в петлицы. Незадолго до 2-х часов шествие двинулось по улице Мира. Предполагалось пройти по Вандомской площади, чтобы подразнить штаб национальной гвардии, затем дойти по улице Риволи до Ратуши с целью осветить Центральный Комитет. Во главе процессии шли биржевики, великосветские писатели, офицера в отставке: Фредерик Леви, де Коетлогон, де Геккерен, А. де Пен, Сассари, де Молинэ, члены *Société des Gourdins réunis* (общества объединенной Дубинки)—все цветочки реакции. В рядах демонстрантов были провокаторы, несколько бонапартистских агентов, которые готовы были воспользоваться движением, если-бы ему удалось расширяться. Во всяком случае, если-бы манифестация, даже и мирная, удалась, то и это было-бы выгодной операцией для реакции, это послужило-бы доказательством,

что революция не овладела еще всем Парижем и что смелое предложение имело шансы на удачу.

К несчастью для ее вдохновителей, демонстрация окончилась плачевно.

Первые ряды колонны «порядка» натолкнулись на Вандомской площади на оцепление, образованное батальонами федералистов. Колонна хотела прорвать цепь. Раздались выстрелы; первые выстрелы, повидимому, сделаны были самими манифестантами, так как многие из них упали в этот момент ранены пулями в спины. Между тем начальствовавший на площади Бержере давал усиленные предупредительные сигналы, барабан бил целых пять минут. Так как колонна не расходилась, федералистами дано было два залпа, от которых упало около двадцати демонстрантов. Остальные рассеялись, как стая воробьев. Бегство было всеобщим. В мгновение ока улица Мира была очищена. Осталось на месте около тридцати убитых и раненых со стороны толпы, два убитых и восемь раненых со стороны федералистов.

После этого реакции оставалось лишь покинуть Париж или уйти в подполье. Она это и сделала. Биржевики, фигаристы, пандуры бросились в Версаль, на самых скорых поездах, чтобы отдаться там вместе со своими кокотками под защиту храброй сабли генералов декабрьского переворота. «Весь Париж», биржевые игроки, кутилы и сводники,—собрался у подножия статуи Великого Короля<sup>1)</sup>.

Таким образом, в Париже, из которого удалились правительство и баловни высшего света, остались только Центральный Комитет и мэры. Между этими двумя властями и происходила борьба в течение следующих четырех дней.

Но для того, чтобы могли победить мэры, им необходимо было добиться от Версаля некоторых уступок. «Не заставляйте нас возвращаться с пустыми руками»,—молил Тирар, истинный лидер мэ, ов, в заседании 21-го марта. Удастся-ли им вырвать эти уступки? До сих пор, по крайней мере, на это не было шансов. В заседании 22-го Национальное Собрание, хотя и не демонстрировало так резко и ненавистнически, как накануне, но по существу показало себя таким-же настойчивым и непоколебимым, если даже не больше. Вашеро, парижский мэр и притом человек, воодушевленный некогда смелыми порывами, но со времени осады окончательно не ешедший в лагерь социальных консерваторов, явился докладчиком проекта закона Клемансо и его товарище; проект этот имел в виду дать столице, вместе с не-

медленными выборами, муниципальные свободы, наравне со всеми остальными коммунами Франции. От имени комиссии докладчик высказался за полное и простое отвержение этого предложения, а говоривший вслед за ним министр внутренних дел Пикар изложил и те ограничения, которым правительство намерено было подвергнуть первый город страны. Проект правительства, ставший, к тому-же, и законом, тем самым, который управляет нами еще и теперь, сводил парижский муниципальный Совет к простой роли счетчика и отдавал его в руки и под высший надзор сенского префекта и префекта полиции, которые фактически и являлись его президентами. Право созыва Совета принадлежало одному сенскому префекту. Неотложность решения была тотчас-же, и с этого полудня проект этот можно было рассматривать, как уже принятый.

Конечно, ни Париж, ни его мелкую буржуазию, ни его пролетариат нельзя было надеяться заманить подобным пирогом. Мэры поняли это настолько ясно, что некоторые из них, опасаясь, что события поглотят их, а Центральный Комитет увлечет за собой все население, с этого уже времени стали готовиться к энергичному сопротивлению вооруженной силой. Против кого? Против Национального Собрания, против реакционного Версаля? Нет,—против Центрального Комитета, против революционного Парижа. Собрав вокруг мэрии Банка национальную гвардию порядка, они в течении дня 22-го марта предприняли ряд мер, рассчитанных на военные действия. Для осуществления их они прибегли к удачному средству. Как и Центральный Комитет, они постучались у дверей Банка, а посредством повсюду щедро расклеенного извещения, которое подписали Тирар, Дюбенль и Элигон, они заявили, что, начиная с завтрашнего дня, они будут в здании Биржи выплачивать жалованье всем национальным гвардейцам, мэрии которых находились во власти представителей Центрального Комитета. Таким образом вечером и на другой день мэры собрали 25.000 человек, которыми I и II округа и были заняты.

Мэрии этих двух округов были укреплены; на всех углах поставлены были посты и часовые, а также и на всем протяжении от моста Искусств до вокзала Сен-Лазар, пункта сношения с Версалем; на вокзале был сменен батальон, верный Центральному Комитету, и заменен батальоном порядка. Таким образом Париж разделен был на два лагеря. Враждебные силы Ратуши и мэров стояли друг против друга на протяжении многих километров; всякую минуту возможно было опасаться столкновения. А мэрии мэ, ов, которая таким образом приняла наследство «Дю-

<sup>1)</sup> Т. е. в Версале, где находится статуя короля Людовика XIV.

зей порядка», недоставало только генерала, так как адмирал Сессе отказался от чести ею командовать, точно также, как он отклонил и предложения манифестантов на Вандомской площади. Эта честь досталась некоему Кевовилье, поставщику рубашек его величества Наполеона III и доверенному лицу Тьерра. Но всего этого было еще недостаточно.

Как бы там ни было, но создавшееся положение было черезчур натянуто, чтобы оно могло долго продолжаться. Поставленный лицом к лицу с этой непосредственной угрозой, Центральный Комитет, все действия которого и без того оспаривались и встречали противодействие, решился, наконец, возвысить свой голос и заговорил более твердым языком. В прокламации, помещенной в *Officiel* 23-го марта, он указывал на положение, занятое мэрами и депутатами, пускающими в ход все средства для затруднения выборов; он указывал далее на реакцию, поддерживаемую ими и объявляющую открытую войну, и заявлял, что, принимая борьбу, он сокрушит все противодействия. Выборы, что бы ни случилось, должны произойти в воскресенье, 26-го. Затем, обращаясь к Версалию, Комитет в другой прокламации, самой замечательной из всех до этого выпущенных им, точно определил компетенцию и права нового муниципального собрания. Он требовал «такого-же неоспоримого права для города, каким является и прав самой нации». «Город, говорил он, должен иметь, как и нация, свое собрание, которое называется—безразлично—муниципальным или коммунальным собранием, или Коммуной!» Сознывая опасность кампании, которую вел Тьер в вопросе о взаимных отношениях Парижа и провинции, Комитет очень энергично настаивал на положении, что «Париж не желает господствовать, не хочет быть свободным; он не претендует ни на какую иную диктатуру, кроме диктатуры примера; он не желает ни навязывать своей воли, ни отказываться от своей собственной; он не мечтает о том, чтобы сыпать декретами, но не думает подчиняться и плетисцистам; он только демонстрирует движение, двигаясь вперед, подготавливает свободу другим, учреждая ее у себя. Он никоим образом не толкает на путь республики, он довольствуется тем, что первый вступил на него».

После слов и протестов 22-го марта последовали акты; приняты были оборонительные меры предосторожности и начаты приготовления к нападению. Федеральные батальоны уже занимали, или вновь заняли все общественные здания во всех округах, за исключением I и II. Батальон Бельвиля вновь занял мэрию IV округа, которую до этого занимал версалец

Вотрен. Мэры и их помощники в III, X, XII и XVIII округах заменены были делегатами Центрального Комитета. Затем Комитет укрепил баррикадами Вандомскую площадь, удвоил число батальонов в Ратуше, а его сильные патрули доходили до самых постов на улицах Вивьен и Друо с целью задержать движение фабриканта рубашек Кевовилье и его биржевиков. Комитет занял также позицию, с помощью своих сторонников—федералистов квартала, на вокзале Батиньоль, отрезав таким образом сообщения, которые могли поддерживать с Версалем, через вокзал Сен-Лазар, находившийся до этого в их власти, национальные гвардейцы порядка и адмирал Сессе. Журд и Варлен, которых накануне провел вице-директор Банка маркиз де Плек, замещавший директора Рулана, тоже эмигрировавшего, вернулись в Банк во главе двух батальонов к упрямому маркизу, послал ему предварительное настоятельное требование о выдаче денег, и взяли у него второй миллион для уплаты жалованья национальной гвардии.

Когда Тьер и Пикар открыли двери провинциальных тюрем и выпустили на Париж многочисленных уголовных преступников, Комитет объявил этот поступок низким и обнародовал для всеобщего сведения, что всякий, задержанный на месте грабежа, будет расстрелян.

Наконец, отвечая на алармистские пророчества Жюля Фавра, возвещавшего с высоты трибуны Национального Собрания о вмешательстве пруссаков, направленном против Парижа, Комитет доводил до сведения публики следующее сообщение, полученное из главной квартиры неприятеля: «Немецким войскам отдан приказ держаться пассивно, пока события, ареной которых является Париж, не примут по отношению к нашим армиям враждебного характера».

Народные элементы, стремившиеся к агрессивной политике, были довольны также и тем фактом, что согласие среди самих мэров—надо признать это—не было полным. Если некоторые из них, тащась на буксире Тьера, с легким сердцем и шли на битву с Центральным Комитетом, то другие, наоборот, серьезно смотрели на свою роль примирителей и их оппозиция Комитету сопровождалась вместе с тем и давлением на Национальное Собрание с целью вырвать у него необходимые, по их мнению, уступки для восстановления общественного согласия. Умиротворители, оказывая давление на непримиримых, должны были особенно в этот день 23-го марта сознавать необходимость сделать еще раз решительную попытку в Версале, неожиданные выпады которого глубоко влияли на ход событий.

Попытка эта была сделана и дала повод к скандальному заседанию, в котором реакционеры Собрания обнаружили всю тупость и кровожадность своих инстинктов. Когда мэры и их помощники, всего около двадцати человек, с знаками своего достоинства и в шарфах, появились в заседании на трибуне, оставленной для них квестором, они попали как раз в надлежащий момент. По предложению некоего Ла-Рошфулона Собрание только что приняло закон о формировании в департаментах батальонов волонтеров, задачей которых являлась защита верховной в асти нации и подавление парижской инсurreкции; другими словами—Собрание декретировало организацию гражданской войны. Как только вошли мэры, все взоры обратилось на них и заметно было, как сильно волнение охватывало скамью за скамьей. Левая встала и приветствовала их криком: «Да здравствует республика!» Правая и центр отвечали криком: «Да здравствует Франция!» Затем со стороны аграриев раздался вопль: «К порядку! к порядку!» Приверженцы Генриха V и орлеанисты в виде протеста покинули залу, а их сообщник, председатель Собрания—это был республиканец Гриви—закрыв заседание. Вечером, после перерыва, некоторые из мэров все таки присутствовали на заседании. Арно д'Арьеж, депутат из мэра VIII округа, прочел декларацию, настаивавшую на необходимости постоянных сношений Собрания с мэрами, на помощи и поддержке Собрания мэрам в их задаче умиротворения; в этих видах Собрание должно было немедленно назначить на 28-е выборы главнокомандующего национальной гвардией, а на 3-е апреля, если это окажется возможным, муниципальные выборы. Правая и центр встретили это предложение криками и стуком, и после этого эти болеутолительные и скромные предложения были направлены для погребения в комиссию. Произведенный опыт был ясен: Версаль терпел мэров только в качестве любезных слуг его мести и репрессий. Что я говорю? Даже и при этих условиях он их не выносил. Версаль выливает и на них, как на парижан, свою ненависть и отвращение, которые внушал ему Париж.

Без сомнения, мэры ясно поняли все это. Но, несмотря на это, в первый момент они все же держались выкидательно, так как Тьер кое что шепнул их колонновожатым, Тирару и Шельхеру. Однако, их парижская избирательная клиентура не заинтересована была в молчании и в оставлении без протеста полученной пощечины. Известие об этом приеме кинуло ее на момент на сторону Центрального Комитета и вызвало среди средней буржуазии и торгового класса такое настроение умов,

которое парализовало желание сопротивляться у самых непреклонных и способствовало ускорению соглашения между парижскими выборными и Центральным Комитетом по вопросу о муниципальных выборах.

Центральный Комитет, почувствовав под собою более твердую почву, 24-го стал действовать более решительно. В *Journal Officiel* он опубликовал приказ, созывавший парижан на воскресенье, 26-го марта, и определявший подробности выборов: голосование должно произойти по спискам и по избирательным округам; один член совета избирается на 20.000 жителей, т. е. избираются всего 90 выборных; избиратели, по представлении удостоверения, выданного для выборов 8-го февраля, голосуют в тех же помещениях и на основании обычных правил. Что касается военных дел, то Комитет, сознавая, что час смелых решений уже пробил, устранил от командования неспособного и безабае ного Люллье и его сомнительных помощников Рауля де Биссона и Ганье д'Абена и вверил главное командование, с званием генералов, трем испытанным лицам, принадлежавшим к рабочему классу и проявившим уже в течение осады доказательство своих гражданских чувств и энергии: это были Брюнель, Эд и Дюваль.

Обеспечив таким образом свой тыл, избавившись от интриганов и глупцов, Центральный Комитет предполагал возобновить переговоры с мэрами, чтобы убедить их присоединиться к избирательным операциям 26-го марта и этим гарантировать их законность.

Здесь следует упомянуть об одном вводном, комическом и вместе с тем отгалкивающим инциденте не потому, что он имел какое нибудь влияние на ход событий—он не оказал никакого влияния,—но чтобы показать ту смуту, которая, как он обнаруживает, царил в данный момент в правительственных сферах. Дело идет о прокламации, распространенной утром того же 24-го марта адмиралом Сэссе, в которой этот вояка за свою подписью осмеливался уверять парижское население в нижеизложенном, и как раз в ту минуту, когда газеты передавали точное описание заседания Национального Собрания, происходившего накануне.

«Дорогие сограждане, спешу довести до вашего сведения, что по соглашению Национального Собрания с сенскими депутатами и избранными Парижем мэрами мы получили:

1) Полное признание ваших муниципальных вольностей; 2) право избрания всех офицеров национальной гвардии, в том числе и ее главнокомандующего; 3) изменение закона о плате-

жах по векселям; 4) благоприятный для квартирнанимателей проект закона о плате за квартиры, стоимостью включительно до 1.200 франков.

«В ожидании, что вы подтвердите мое назначение или замените меня другим лицом, я останусь на своем почетном посту, чтобы наблюдать за исполнением полученных нами умиротворяющих законов и способствовать этим укреплению республики».

*Мы получили*, говорит прокламация. Что могла означать эта циничная мистификация? Какие она преследовала цели? Сэссе хорошо знал, приказывая расклеить ее, что он утверждает как раз обратное истине. Более чем кому либо, ему известны были подробности заседания, происшедшего накануне, и прием, устроенный Собранием мэрам. С какой же целью он так лгал? По приказанию Тьера, его непосредственного начальника? В следственной комиссии его тяжелые, спутанные и потные умолчаний объяснения, которые, к его неудовольствию, противоречили к тому же свидетельству Тирара, не объяснили этой загадки.

Центральный Комитет не считал даже нужным разъяснить этот нелепый или преступный инцидент, а, может быть, носивший характер и того и другого. Сэссе являлся простой марионеткой. Комитет пошел прямо к цели, занявшись оппозиционными и упорствующими мэрами I и II округов. Приказ заставить их капитулировать дан был Брюнелю, который и направился сначала к мэрии Лувра с 400 бельвильцами и двумя орудиями.

В этой мэрии quasi-сопротивление было весьма быстро подавлено. Брюнель вошел в мэрию и начал переговоры с Адольфом Адамом и его помощником Мелином. Эти господа отправили эмиссара в мэрию II округа, где заседало большинство мэров, и узнав, что помощи им оттуда ждать нечего, уступили.

Мэрия передана была Центральному Комитету и условлено было, что выборы произойдут 30-го. Затем муниципальные власти I округа, бок о бок с Брюнелем и его товарищами делегатами, любезно разговаривая, доходят до мэрии Банья, чтобы передать там известие о состоявшемся соглашении; орудия все же следуют зади. Национальные гвардейцы порядка, видя, что враги и друзья приближаются вместе, примиренные и дружески беседуя, пропускают их беспрепятственно. Брюнель является перед мэрами, и обсуждение начинается вночь. Шельхер и Дюбель не желают уступать; они заявляют, что выборы должны быть назначены на 3-е апреля, как их намерялся, повидимому, назначить и Пикар от имени правительства; затем—звустепенное избрание главнокомандующего националь-

ной гвардией, или ничего. Однако, остальные мэры и помощники протестуют. Они здесь прежде всего для того, чтобы предотвратить пролитие крови. Они присоединяются к соглашению и вынуждают последних оппозиционеров прекратить сопротивление. Все соглашается на том, что муниципальные выборы произойдут 30-го марта и что с настоящего дня каждый из мэров восстанавливается в своей мэрии. На улице и на бульварах национальные гвардейцы порядка и национальные гвардейцы Центрального Комитета поднимают ружья ложами вверх и обнимаются. Орудия украшаются зелеными ветками и на них садятся верхом гамены. Это—мир!

Это соглашение встретило то затруднение, что Брюнель и его товарищи превысили полномочия, полученные от Центрального Комитета. Таким образом Комитет сохранил для выборов прежний срок, 26-е марта. Действительно, было крайне важно, чтобы они произошли как можно скорее, потому что версальское правительство дезорганизовало своими происками все муниципальные службы: октруа <sup>1)</sup>, бойни и пр., не говоря уже о почте; функции всех этих служб должны были быть восстановлены в возможно краткий срок, если не желали внести тяжелую и длительную разруху в материальную жизнь Парижа. Вечером Ранвье и Арнольд явились в собрание мэров и передали ультиматум Комитета; они вынуждены были вернуться обратно, не успев убедить своих антагонистов. Примирение еще раз не удалось.

В то же время в Версале происходили также важные события. Национальное Собрание, преследуя свою цель—вызвать гражданскую войну, расширило компетенцию префектуры полиции, распространив ее на известное количество коммун департамента Сены и Уазы. Загем, как бы в виде насмешки, исходя из предложения Мильера, внесенного несколько дней тому назад, Собрание смехотворно отсрочило на один месяц сроки платежей по коммерческим сделкам, тогда как, рассуждая здраво, следовало бы дать коммерсантам отсрочку на год, на два, даже на три года, чтобы избавить их от грозившего им банкротства. Но все это были лишь безделки. Решительный инцидент должен был произойти в ночном заседании. Как только Собранию стала известна загадочная прокламация адмирала Сэссе, в которой мы только что говорили, его охватило чрезвычайное волнение. Шелкурировали самые невероятные басни. Деревен-

<sup>1)</sup> Прим. Октруа—городской налог с сестных припасов, ввозимых в город. Пер.

щики дошли до того, что верили или делали вид, что верят слуху, будто бы Сэссе, а за его спиной и сам Тьер, договаривались с восставшим, рассчитывая опереться на восставший Париж против монархического Собрания. Поистине безумное предположение! Но разве страх и ненависть рассуждают? Между лидерами правой происходили совещания. Главари, решившись рисковать во всю, согласились, как говорят, свергнуть Тьера, отдать его под суд и назначить высшим главою армии, с целью раздавить Париж, революцию и республику, одного из Орлеанов—герцога Жуанвильского или Омальского.

Страсти еще бушевали и разговор все разрастался, когда началось ночное заседание. При открытии его, председатель комиссии, которой поручено было представить доклад по поводу внесенного Арно д'Арьежем предложения, содержание коего лам уже известно, предварительно настроенный Тьером, допросил в двусмысленных выражениях авторов предложения взять его обратно, так как обсуждение его чревато опасностями. Подписавшие предложение колеблются. Тогда входит на трибуну Тьер. Думают, что он хочет рассеять недоразумение и осветить положение дел. Ничуть не бывало. «Если вы представляете собою действительно политическое собрание,—заявляет он, то я вас умоляю голосовать так, как предлагает комиссия, и не требовать разъяснений, которые в данный момент очень опасны. Какоенибудь неосторожное слово, случайно вырвавшееся без всякого худого намерения, может вызвать потоки крови... Если же прения возникнут, к несчастью для страны, то вы увидите, что не наш интерес заставляет нас молчать». После этого, среди общего недоумения и возбуждения, председатель Гриви закрывает собрание, не продолжавшееся и десяти минут.

Истинно художественный удар! Тьер с одной стороны душил в зародыше угрожавший ему заговор и давал себе время для переговоров и убеждения некоторых заговорщиков. С другой стороны—и это было главное—он помешал большинству употребить в течение прений такие непоправимые выражения, гринять такие неистовые и грубые решения, которые, сделавшись на завтра известными в Париже, окончательно бросили бы в объятия Центрального Комитета всю республиканскую буржуазию, увлекли бы либеральную прессу, часть которой уже складывала оружие, и усилили бы во Франции сочувственное Парижу движение, которое и без того уже в Лионе, Марселе и во всех больших городах высказывалось за парижскую революцию. Тьер, избавляя Собрание от резкого подчеркивания им своего монархизма, жажды крови и резни, мешал Парижу

восстановить у подножия урн свое моральное единство под знаменем республики и своей защиты, а республиканской Франции он помешал спешить ему на помощь.

Но, во всяком случае, этом буржуазному макиавелю его интрига удалась только наполовину. Часть того, чего он желал избежать, осуществилась, несмотря на то, что. Странные инциденты, ареной которых было Национальное Собрание, уже на другой день утром стали известны благодаря сообщениям депутатов, приехавших из Версаля, и произвели внезапный поворот в общественном мнении. Митральезы, ввезенные ночью в мэрии безумцами сопротивления во что бы то ни стало, Дюбайлем и Элигоном с братией, остались без употребления. Центральный Комитет рано утром расклеил новую прокламацию, в которой говорил: «Увлекаясь пламенным желанием примирения и счастьем осуществить это слияние, непрестанную цель наших усилий, мы лойяльно протянули тем, кто с нами борется, братскую руку. Но некоторые непрекращающиеся маневры, а особенно ночная перевозка митральез в мэрию II округа, заставляет нас оставаться при нашем первом решении. Выборы произойдут в воскресенье, 26-го марта. Если мы ошиблись в намерениях наших противников, то приглашаем их засвидетельствовать это, соединившись с нами в общем голосовании в воскресенье». Стоя на этой почве, делегаты Комитета Арнольд и Ранвье, вновь посетив собрание мэров, победили последнюю оппозицию. Подписано было соглашение, положившее конец конфликту и назначавшее по общему согласию выборы на воскресенье, 26-го марта, как того желал Центральный Комитет; мэры восстановлены были в их мэриях.

В течение дня население извещено было о состоявшемся соглашении. Но тут следует отметить еще один инцидент. О соглашении возвестили две прокламации, одна от Центрального Комитета, другая от депутатов и мэров, и текст их несколько разнился. Прокламация Центрального Комитета сообщала: «Федеральный Центральный Комитет национальной гвардии, к которому присоединились парижские депутаты, мэры и их выборные помощники, восстановленные в их округах, убежденные, что единственное средство избежать гражданской войны и кровопролития в Париже и в то же время укрепить республику состоит в немедленных выборах, созывают всех граждан в избирательные собрания на завтра, в воскресенье». Прокламация мэров поправляла: «Парижские депутаты, мэры и их выборные помощники, восстановленные в мэриях их округов, и члены Федерального Комитета национальной гвардии—убежденные...

(остальное, как в предыдущей прокламации Центр. Ком.). Жалкое препирательство о словах, которое выдавало скрытый протест муниципальных властей, не прощавших своим черезчур великодушным победителям, что они крошечку принудили их к этому шагу. Но собака лает — ветер носит! Население не обратило внимания на эти шпильки. Оно не обратило внимания и на то, что из сорока депутатов подписались всего шесть, из девятнадцати мэров — всего семь, из семидесяти шести помощников — всего тридцать два. Радостно приветствуя соглашение, которое оно считало искренним, согласие, на которое оно смотрело, как на несокрушимое, население на другой день массами устремилось к урнам, чтобы осуществить свое верховное право и утвердить, пользуясь им, завоеванные муниципальные права.

Правда, в тот же момент, в силу весьма естественного явления, и Версаль вернул себе единство действия. Легитимисты и орлеанисты, сплотившись с лже-республиканцами вокруг Тьера, приветствовали в его лице ловчего, который наведет их наверняка на свежую добычу. Арно д'Арьеж взял обратно свой проект уступок, уже потерявший значение. В вечернем заседании Луи Блан попробовал было, хотя и весьма апатично, получить для мэров *одобрение*, но не протестовал против решения Собранин, передавшего это предложение в комиссию парламентской инициативы.

Это *одобрение* мэры уже получили от Тьера, который в течение именно этого дня сказал своему поверенному, Тирару: «Не продолжайте бесполезного сопротивления. Я занят реорганизацией армии и надеюсь, что через две или три недели у нас будет достаточно сил для освобождения Парижа». Это позволило Тирару, вернувшемуся в тот же день в столицу, выпустить также и свою маленькую прокламацию, в которой он приглашал избирателей к голосованию.

Тьер хорошо знал своего Тирара, он хорошо также знал и своих мэров. В сущности маневр муниципальных властей должен был повести к тому, чтобы столкнуть Центральный Комитет с революционного пути, занять его побрякушками и дать этим Версалию время реорганизовать армию, которая должна была отвоевать Париж.

Конечно, позднее, перед следственной комиссией, мэры по собственному желанию выставляли себя в более мрачном свете, большими злодеями и большими человеконенавистниками, чем они были в действительности. Они преувеличивали свои заслуги после того, как все уже было кончено, чтобы получить прощение реакции, обеспечить свое положение и свое

будущее; они представляли себя людьми порядка и не позволяли, чтобы их смешивали с низкой чернью, с грязной толпой, которую только что задушили солдаты Мак-Магона. Среди мэров, если и были безусловно плохие, то были и посредственные люди; были даже и хорошие. В общем они были республиканцы, и, без сомнения, в тот момент, когда развертывались события, они могли колебаться и действительно колебались между «анархией в Париже и монархией в Версале». Некоторые, даже может быть многие из них, чистосердечно работали на пользу примирения, которое казалось им возможным. Несомненно также и то, что для того, чтобы в момент отчета о своей деятельности они могли выставить одно и то же оправдание и, действительно, найти его, — они все, или почти все, должны были заранее сговориться в их утверждении, что по существу они одурачили Париж и спасли этим Версаль; но необходимо было, чтобы это утверждение покоилось на фактах. Вот что они показывали следственной комиссии:

Демарэ, мэр IX округа: «Что касается меня, то я не покинул Парижа. Я считал лучшим подвергнуться опасности, чтобы дать время версальскому правительству вооружиться».

Фражуа Фавер, мэр XVII округа: «В течение восьми дней мы были последними преградами, единственной баррикадой, возведенной между инсurreкцией и законным правительством».

Вотрен, мэр IV округа: «Если бы инсurreкция вместо того, чтобы оставаться в Париже из-за выборов, пошла на Версаль, скажите мне, что случилось бы с Францией?... И вот, господа, я уверен, что эти восемь дней, полученных вами благодаря выборам, явились спасением Франции... Эти люди (Центральный Комитет) потеряли три дня благодаря выборам, еще три дня потеряно было ими вследствие конституирования их Совета, так что нападение на Мон-Валерьян могло произойти только 2-го апреля. Таким образом, мой коллега и я, мы выиграли восемь дней. Мы находились в очень плохой компании, лицом к лицу с известными именами, но, когда нужно исполнить долг, надо стать выше всех этих соображений... Я давал свою подпись из политических соображений и поступлю также и впредь, и, делая это, я буду думать, что я вас спасаю».

Тирар, мэр II округа и депутат: «Я должен вам заявить, господа, что главная цель, которой мы все добивались этой оппозицией, заключалась в том, чтобы помешать федералистам идти на Версаль. Я убежден, что если бы 19-го и 20-го марта батальоны федералистов направлялись по дороге в Шатильон, Версалию угрожала бы величайшая опасность; и я считаю, что

наше сопротивление в течение нескольких дней далó возможность правительству организовать защиту».

Шельхер, сенский депутат: «Что касается моего поведения, то оно главным образом состояло в том, чтобы пытаться завести переговоры, в ожидании пока станет возможным сопротивляться. Я на свой страх старался организовать сопротивление, под командой, конечно, адмирала (Сэссе), и если я подал голос за происшедшее примирение, то сделал это, чтобы выиграть время».

А вот и окончательное признание: заявление адмирала Сэссе, тоже сенского депутата, который в качестве назначенного милостью Тьера главнокомандующего национальной гвардией, мог наблюдать мэров за работой. «Будьте вполне уверены, г. Тьер решил твердо не уступать ни на одном пункте; но после отступления армии все мы чувствовали себя на вулкане, и следовало попробовать спасти дом... Когда доблестные люди, как Тираар, как Демарэ, являлись и говорили ему: «уступим это, впоследствии это вернется», г. Тьер старался по мере возможности исполнять добрые намерения этих господ».

Подобные свидетельства определяют достоинство людей и дают возможность судить о них; они клеймят и позорят их политику. Да, это совершенная правда: дело революции было окончательно проиграно, потому что 19-го марта Центральный Комитет не смел дерзнуть, потому что, попавши в ловушку переговоров с мэрами, он договаривался, когда нужно было драться и идти вперед. Мэры же, некоторые сознательно, другие бессознательно, спасли Версаль: они являются соучастниками парижской бойни.

Но не будем забегать вперед. Мы еще не на закате зловещего и кровавого дня; мы пока еще переживаем радостное утро освобождения.

Завтра Париж выбирает свою Коммуну!

## V. Коммуна избрана.

По свидетельству есей прессы, даже реакционной, избирательные операции прошли в полном порядке, без насилий и каких бы то ни было замешательств. В Сент-Антуанском предместье рабочие явились в избирательные собрания группами в 500—600 человек, с красными знаменами во главе и с криками: «Да здравствует республика! Да здравствует Коммуна!» В течение дня это была единственная значительная манифестация. В большинстве секций подготовительные распоряжения к вы-

борам сделаны были делегатами Центрального Комитета, так как мэры продолжали будировать и проводили свою двуличную и скрытую обструкцию, в особенности там, где они не могли рассчитывать на большинство для своих кандидатов.

Принимая во внимание стечение обстоятельств, число избирателей было многочисленно, даже очень многочисленно, не менее, чем на выборах мэров 5-го ноября 1870 г. В голосовании приняло участие даже большее число, чем при избрании помощников мэров, которое происходило несколько дней после выборов мэров. Из общего числа внесенных в списки 485,569 избирателей на выборы явились 229,167. Несмотря на это, реакция тотчас же подчеркнула и с тех пор не переставала всякий раз любезно подчеркивать число воздержавшихся—258,803. С первого взгляда, действительно, это число кажется значительным, но нужно заметить, что избирательные списки, которыми пользовались при этих выборах, составлены были для майского ялбисцита 1870 г. и что в течение истекавшего года—и какого года!—в составе избирателей произошли бесчисленные изменения. С другой стороны установлено, что тотчас же после капитуляции, как только восстановлены были пути сообщения с провинцией, парижане массами покидали город, и большинство выехавших не вернулось обратно. Число уехавших определяют в 60,000, другие даже в 80,000. Тьер в своем показании следственной комиссии приводит даже цифру 100,000. Таким образом, даже математически объясняется разница между числом голосовавших 8-го февраля — 328,970 — и голосовавших 26-го марта—229,167. Кроме того, воздержания от голосования имели место, главным образом, в буржуазных кварталах, в кварталах центра, в которых отлив населения, уже отмеченный нами, сопровождался еще вторым отливом добровольных беглецов, реакционеров и тьеристов, которые в течение последней недели безостановочно выселялись в Версаль. Безусловно верно, следовательно, что голосовало много избирателей, особенно же в рабочих округах.

Почти повсюду циркулировало два списка: список мэров и список советов легионов и окружных комитетов. Центральный Комитет благоговейно воздержался от всякого давления, от всяких ухищрений. Он ограничился, как мы уже говорили, лишь принятием материальных мер для обеспечения выборов и обратился к населению с воззванием, в форме прощания, в котором приглашал избирателей избирать людей из их собственной среды, живущих их жизнью и терпящих те же самые беды, не обращаясь к честолюбцам, говорунам и очень богатым людям.



Накануне, правда, два делегата Центрального Комитета Антуан Арию и Эд. Вальян в более подробной статье изложили свои взгляды на значение предстоящих выборов и на их важность. Но эта трезвая, прямая и конкретная статья—документ являлась лишь объективным изложением положения вещей. Она перечисляла факты и рассматривала задачи, поставленные данным положением, ограничиваясь только констатированием того факта, что вопросы о сроках платежей и о квартирах могут быть разрешены исключительно представителями города, поддержанными их согражданами, которые должны быть постоянно призываемы и выслушиваемы. Точно такое же отношение мы видим и к вопросу о жалованьи. «Мы находимся, говорила статья, в переходном периоде, с которым необходимо считаться, надо найти добросовестное решение; существует долг доверия по отношению к труду; этот долг вырвет работника из неизбежной нужды и позволит ему быстро достигнуть окончательного освобождения».

Один только Центральный Комитет двадцати округов, который, после присоединения к нему «интернационалов», весьма отдаленно напоминал комитет того же имени, действовавший в период осады, опубликовал, за подписями Пьера Дени, Дюпа, Лефрансэ, Руилье и Жюля Валлеса, программу, в истинном значении этого слова, в которой излагались требования парижского пролетариата и намечалась задача, которую предстояло исполнить новому собранию. Программа эта носила явно прудонистский характер и проникнута была федералистическими тенденциями, которые в самой Коммуне встретили противодействие в централистической точке зрения якобинцев и бланкистов и встали, можно сказать, в противоречие с настоятельными требованиями самого момента. Мы изложим эту программу вкратце: «Коммуна, говорила прокламация, является основанием всякого политического государства, как семья является зародышем общества. Коммуна должна быть автономной, т. е. самоуправляющейся, она сама должна заведывать своими делами, руководясь своим собственным духом, своими традициями, своими нуждами... Чтобы обеспечить себе более широкое экономическое развитие и национальную и территориальную независимость, она может и должна соединяться, т. е. вступать в федеральные союзы, со всеми другими Коммунами или ассоциациями коммун, образующими нацию... Автономия коммуны гарантирует гражданину свободу, городу—порядок, а федерация всех коммун взаимно увеличивает силу, богатство, рынки и средства каждой из них». Затем следовало

перечисление политических гарантий: свобода слова, печати, союзов, собраний; верховная власть всеобщего голосования; избрание, ответственность и сменяемость всех общественных и государственных властей. Для Парижа в частности: уничтожение префектуры полиции, постоянной армии; автономия национальной гвардии; свободное распоряжение своим бюджетом, с обязательством участвовать в соответствующей доле общих расходов страны; уничтожение бюджета вероисповеданий; светское, всеобщее и профессиональное образование. В сфере более специально экономической и социальной: организация системы общественного страхования от всякого рода общественных опасностей, в том числе безработицы и банкротства; постоянное и настойчивое изыскание способов предоставления производителю капитала, орудий труда, сбыта и кредита.

Говоря по правде, нет основания предполагать, чтобы все эти декларации, манифесты или программы глубоко повлияли на результаты выборов. В этот момент борьба шла не о формулах,—и население, хотя и смутно, понимало это; вся она резюмировалась в следующей дилемме: за Версаль или против Версаля, за республику или против нее должны высказаться Париж и революция?

Во всех округах, исключая I, II, IX и XVI, где победили целиком или частью кандидаты мэров, население избрало, и в большинстве случаев сильным большинством, кандидатов, рекомендованных советами легионов и комитетами округов. В общем—партией мэров, тьеристской партией, если хотите, избрано было 15 человек: Ад. Адам, Барре, Мелин, Рошар, Брелэй, Шегон, Луазо-Пенсон, Тираз, Демаре, Эм. Ферри, Наст, А. Леуа, Ш. Мюрат, де Бутелье и Мармотан. Шесть выбранных: Фероно, Гупиль, А. Лефегер, Улисс Паран, Ранк и Робине представляли собою то, что уже являлось и главным образом явится вскоре в виде гамбеттистской партии. Все остальное, громадное большинство, всего 65 членов, принадлежало к различным социалистическим и революционным партиям. 17 из них принадлежали, по крайней мере номинально, к Интернационалу: Асси, Авриаль, Беклей, Шален, Клеманс, Виктор Клеман, Дерер, Дюваль, Френкель, Эжень Жерарден, Ланжвен, Лефрансэ, Малон, Пинди, Тейс. Вальян и Варлен. Бланкистов избрано было восемь: прежде всего сам Бланки, но, как сидящий в заключении, он и не появлялся в Коммуне, Шардон, Дюваль—он-же член Интернационала, Эд. Т. Феррер, Прото, Рауль Риго и Тридон. От Центрального Комитета, помимо Дюваля и Эда, попали в Коммунальное Собрание один

надцать лиц: Антуан Арно, Бабик, Бержере, Бильорэ, Бланше, Брюнель, Кловис Дюпон, Жегезм, Анри Фортюне, Журд, Мортье и Ранвье. Остальные принадлежали к передовым писателям и к активным деятелям из рабочего класса, которые выдвинулись благодаря борьбе с империей или своей деятельностью в клубах в течение осады: Аликс, Амуру, Артур Арну, Шампи, Эм. Клеман, Ж. Б. Клеман, Курнэ, Делеклюз, Демей, Декан, Флуранс, Гамбон, Ш. Жирарден, Паскаль Груссе, Ледруа, Мартле, Лео Мелье, Мио, Остен, Удэ, Паризель, Феликс Пиа, Пюже, Растуль, Режер, Урбэн, Жюль Валлес, Вердюр и Верморель.

Классификация эта дана лишь с целью несколько осветить состав смешанных элементов и смутное положение вещей. Не следует, действительно, стараться отыскивать в данном случае аналогии, останавливаться на сближениях, которые, вероятно, будут не подходящи. Партии, которые только что померились силами у избирательных урн, были одновременно и более классовыми и менее классовыми партиями, чем современные нам партии; менее, потому что теоретические положения не были еще в то время так точно определены, как это случилось впоследствии; более—потому, что общее, более захватывающее положение вещей вынуждало антагонистов, несмотря на патриотическую горячку и двусмысленное положение, в котором находилась республика, каждого держаться своего лагеря, порвать с обязательством внешней корректности и с системами и ощущать только одни реальности и интересы. Доказательством этого служит то обстоятельство, что из партий первая и вторая не замедлили добровольно удалиться со сцены, а первая даже цинично перешла на ту сторону баррикады, под знамена Версаля. Только за одной Коммуной было большинство, и в среде этого самого большинства и произойдут те разделения и образуются те соперничающие группы, которые встанут во взаимную оппозицию друг к другу. Если, к своему несчастью, Коммуна и имеет свою парламентскую историю, то ею она обязана была только этому новому фракционному делению.

Таким образом, мы можем, начиная с этого момента, оставить в стороне меньшинство и заняться только большинством, которое уже составляет или во всяком случае составит завтра Коммуну.

Большинство это без всякого сомнения являлось точным отражением рабочего и революционного Парижа того времени. Оно верно отражало мнения или скорее—впечатления и чувства города во всей их хаотичности и подвижной сложности. Состав-

ное, разнородное по своим источникам, большинство это представлялось созданным из элементов, не обладавших никакою основною общностью мысли, игнорировавших друг друга, лишенных общей склонности и связи друг с другом, не имевших иных объединительных звеньев, кроме ненависти к Версалю, к Собранию деревенщиков, которое, только что народившись, объявило уже Парижу войну и с которым Парижу необходимо было бороться, если он хотел жить. Надежды Кордери не могли осуществиться. Это не была та инсurreкционная Коммуна, которую хотели воздвигнуть горячие головы периода осады, вдохновив ее тем единством мысли и действия и тем живым и непоколебимым революционным чувством, которыми они сами были охвачены. Название было, но революционный дух отсутствовал в Коммуне. Хотя Центральный Комитет провел в нее всего пятнадцать своих членов, все-таки эта quasi-законная Коммуна, эта избранная Коммуна—была его Коммуной; она его нисходящая, его наследница и дочь. Уже заранее он наложил на нее печать своей нерешительности и неспособности, он наметил для нее свой нерешительный путь, навязал ей свою неверную судьбу. И ей не избежать этого предопределения!

Как бы там ни было, но такою, какой была эта Коммуна, Париж ее любил, он увлекся ею, верил в нее и надеялся на нее горячо и страстно.

В это время он не мог еще почувствовать ее бессилие и слабость. Он видел лишь благородную, привлекательную и симпатичную ее внешность. Он видел, что им в Коммуну призваны, собраны и в ней объединены все те, которые наиболее горячо боролись и наиболее жестоко пострадали во времена прежних режимов. Очень немногие из этих избранных не пострадали лично, не были осуждены, или не преследовались без пощады судами Луи-Филиппа, Наполеона и «Защиты»; мало было и таких, которых не таскали бы на суды господствующей буржуазии, не сажали бы в ее тюрьмы, не погребали бы на ее каторге и в ее казематах. Эти люди, взятые в целом, представляли собою несомненно несколько веков тюремного заключения, ссылки и изгнания. Один Бланки считал на свою долю двадцать восемь лет, Делеклюз—девятнадцать, Феликс Пиа—почти столько же, Гамбон, Мио и Алликс—от восьми до десяти лет на каждого. Передовые писатели тоже целыми месяцами томилась в заключении. Курне из *Reveil*'я осужден был десять раз; Верморель из *Société Française*—был почти постоянным гостем в тюрьме Сен-Пелажи, в течение последнего периода империи; Флуранс из *Marseillaise*, Жюль Валлес, Рауа, Паскаль Груссе

и клубные ораторы, которые говорили свои речи и свои разоблачения, вместо того, чтобы писать их: Лефрансэ, Демэй, Амуру, Ж. Б. Клеман; без отдыха преследовавшиеся и гонимые, как и их учитель, бланкисты: Эд, осужденный к смертной казни, после неудачной пощытки в Ла-Валет и спасенный революцией 4-го сентября; Тридон, с 1865 г. переходивший из тюрьмы в изгнание и обратно; Дюваль, Рауль Риго, Т. Ферре, и члены смелой фаланги Интернационала: Варлен, Малон, Тейс, Френкель, Авриаль, Э. Жирарден, Ланжвен, троекратно преследуемые и осужденные за незаконную ассоциацию, постоянно припутываемые все вместе или отдельно ко всем знаменитым процессам эпохи, как Асси к стачке в Крезе, как Шален, Дерёр и десять других—к большому полицейскому процессу в Блуа.

Однако, черезур большое изобилие мучеников иной раз обременяет. Эти люди являлись только преследуемыми, они олицетворяли собою только унижения и преследования, испытываемые в течение двадцати лет целой партией, целым классом. Они были только борцами, но не больше. Если они получали удары, то они-же и наносили их. Газетные критики или клубные ораторы, они были воспламеняющим и мстящим рупором постоянно волнуящихся предместий, обнажавшим и публично бичующим императорскую камарилью, срывающим маску с буржуазных республиканцев, уже с этого времени принаравливавшихся к оппортунистской игре, они были словом, обвинявшим и клеймившим пороки политического режима, а через них и пороки самого общества, т. е. коренящееся в его основе и характеризующее его экономическое неравенство. Организаторы и конспираторы, они работали и достигли значительных успехов, главным образом, члены Интернационала и приверженцы Бланки; им удалось сгруппировать и объединить тайные комитеты и даже при помощи более многочисленных обществ пропаганды и сопротивления; легально учрежденных, организовать автономный рабочий класс, который агитировал, действовал и самостоятельно развивался, преследуя двойную цель—освобождение политическое и социальное. Помимо всего этого, вне всякого сомнения, это были смелые, прямые, честные, верные и убежденные люди, неизмеримо высшего нравственного уровня, чем их предшественники по власти или лица, наследовавшие от них власть. За исключением двух-трех подозрительных личностей, из которых двое были изобличены и осуждены еще во время их полномочий, и четырех-пяти эксцентричных и экзальтированных лиц, принадлежавших как к буржуа, так и к рабочим, у которых преобладал резко выраженный личный

эгоизм, причем один пьянел от своего романтического успеха, а другой—от своих галунов высшего ранга с иголки,—честность, честь, искренность и добросовестность были качествами всех этих людей.

Парижские работники тотчас-же ясно поняли все это и энергичным порывом объединились вокруг них, поверили им и наградили их своим доверием. После разочарований и ужасов осады, после позорного отречения от обороны, неудавшихся покушений на государственный переворот, рабочие подумали, что нашли в этих пролетариях, вышедших из их рядов, в этих мелких буржуа, боровшихся целые годы за их собственное дело, именно тех людей, которые сделают для них жизнь более сносной и лучшей, которые уврачуют их раны, утишат их горе и создадут для них и для Франции, для всего мира, но против всех сплотившихся деревенщиков и реакционеров, против Тьера и Бисмарка, великую республику, создательницу бесконечного прогресса и мать всемирного освобождения и всеобщего согласия.

Эти чувства выразились 28-го марта с полнотою, пылкостью и веселием, оставившими в сердцах самых скептически и враждебно настроенных свидетелей этой сцены самое живое и неизгладимое воспоминание <sup>1)</sup>; это произошло, когда Центральный Комитет явился на площадь Ратуши для того, чтобы ввести во власть новую Коммуну. Из предместий, опьяненные радостью и энтузиазмом, тысячами спустились рабочие, мужчины, женщины, дети.

Сто тысяч вооруженных национальных гвардейцев выстроились на громадной площади и прилегающих улицах, сверкая под лучами весеннего солнца морем штыков, на которых кое-где развевались красные знамена торжествующего восстания. Пятьдесят оркестров играли марсельезу, подхваченную хором бесчисленных голосов, покрывавших своими громовыми раскатами даже грохотание пушек.

Ни один из исторических праздников, даже в героические дни 90 и 92 г.г., не видел такого массового согласия, одушевлен-

<sup>1)</sup> См. рассказ Кагулла Мендеса: «Les 73 jours de la Commune». «Внезапно раздался пушечный выстрел. Песня несется грозными раскатами; громадная зыбь знамен, штыков, кепи ухитит, набегает, струится и сбегается к эстраде. Пушки продолжают грохотать, но их слышно только в интервалы пения. Затем все звуки теряются в едином приветствии, в общем голосе толпы; и у всех этих людей бьется единое сердце, как у всех них единый голос... Парижский народ! Какой вулкан величиной твоих сарасей должна явиться в тебе, чтобы порою, приближаясь к тебе, сердца даже осуждающих тебя почувствовали себя уничтоженными и очищенными твоим огнем».

ного одной и той-же верой и теми же надеждами. Открылась душа Парижа, и когда Ранвье, стоя на эстраде, прочел список избранных и в заключение воскликнул: «Именем народа Коммуна провозглашена!»—грозный крик поднялся в пространство: «Да здравствует республика! да здравствует Коммуна!» То был единодушный и страстный привет целого народа избранныкам, тем из своих борцов, которые принимая власть, брали на себя руководство в битве, взваливали на себя бремя революции.

## VI. Перед неизвестным.

По окончании этой грандиозной манифестации, в 3 часов вечера, представители народа собрались в первый раз. Они спешили тотчас-же приняться за дело, которое, как они почувствовали, являлось подавляюще громадным.

Побродив сначала от нижнего этажа до верхнего в лабиринте Ратуши, занятой и переполненной вооруженными национальными гвардейцами, Центральным Комитетом, его службами и отделами, представители народа кончили тем, что остановились на зале прежней муниципальной комиссии при империи, двери которой взломал приглашенный слесарь, и в которой с грехом пополам они и собрались, среди пыли и темноты. Для приезда их не было, действительно, приготовлено никакого помещения. Центральный Комитет или не ожидал такого быстрого появления Коммуны, или считал свою миссию уже законченной, или же лелеял уже двусмысленные планы возвратиться к власти, но он совершенно не позаботился о месте для заседаний своих приемников. Сам он, казалось, испарился, исчез, как-бы с задней мыслью оставить новичков одних перед всеми трудностями, перед всей ответственностью, перед грозным и смутным неизвестным будущим.

Возбуждение, испытанное в этот первый момент членами Коммуны, передается и рассказчику. В этот час минуты стоили льков. Подготовительные действия могли и должны были носить характер исключительный, решительный, увы! — не в виду невозможной победы, но для того, чтобы наложить на движение присутствующих ему специфический характер, чтобы оно явилось не в виде четвертой или пятой буржуазной революции, а в виде первой *пролетарской революции*.

Постараемся ясно определить и рассказать, насколько возможно вернее, то, что происходило в первые дни Коммуны.

Правда, это задача не из легких. В *Journal Officiel* Коммуны за эти дни мы находим только декреты, одну прокламацию, речи старшего по возрасту президента Беслэя; тусклые и бездушные документы, через которые, еле-еле просвечивают скрытые в них события; в газетах того времени нет ничего, кроме этого, да еще протокола первого заседания 29-го марта, притом протокола неподлинного, обнародованного газетой *Paris-Journal*, как кажется, благодаря нескромности Режера и перепечатанного на другой день всеми остальными газетами. Присоедините к этому личные и отрывочные записки Лефранса, Малона, Беслэя, Артура Арну, Ж. Б. Клемана, неизбежно носящие печать их субъективных взглядов и предубеждений, которые они невольно внесли в описания инсurreкций,—вот и все имеющиеся источники. \*

Дело в том, что Коммуна, с самого начала решившая объявить свои заседания тайными, твердо держалась этого правила в течение первой половины своей деятельности. Гласностью она, впрочем, никогда не грешила, даже и тогда, когда постановила в середине апреля напечатать в своем *Officiel* аналогический отчет о своих заседаниях! Даже и этот отчет, сокращенный и урезанный, дает лишь аксессуары, общеизвестные вещи, но в нем нет ничего, или очень мало, касающегося внутренней драмы; это объясняется опасением познакомить тьеристскую и радикальную прессу версальцев и их парижских союзников с положением дел, скрывать которое требовали наиболее жизненные интересы Парижа.

Нам поможет, однако, одно обстоятельство: мы имеем подлинные протоколы самой Коммуны, спасенные из пламени пожара Ратуши 23-го мая одним из друзей последнего секретаря Коммуны Амуру и сохраняемые теперь в Исторической библиотеке г. Парижа <sup>1)</sup>. Эта помощь была-бы еще более ценной, если-бы составители протоколов первых заседаний были-бы заинтересованы в точности и определенности их. К сожалению, эта обязанность секретариата, как и другие, были регулированы только позднее. Риго и Ферре, которые вначале исполняли обязанность секретарей, следили лично черезчур страстно за прениями, в которых сами принимали деятельное участие, что-

<sup>1)</sup> Эти протоколы, попавшие во владение М. Мейера, бывшего парижского муниципального советника, уступлены были его сыном Ж. Мейером библиотеке Карнавале, ставшей затем Исторической библиотекой г. Парижа, где их и можно найти. Главный библиотекарь Л. Поэт, охотно вручил их автору настоящего очерка. Ранее этого, Лиссагарэ уже имел в руках эти протоколы и пользовался ими для справок.

бы быть вполне подходящими и беспристрастными секретарями. Краткие записи, бесформенные, часто иероглифические, передача, перемежающаяся пропусками, переполненная сокращениями—вот что дают нам эти протоколы. Но каковы-бы они ни были, все-же записки эти ценнее, чем все остальное. Освещая их предшествующими свидетельствами, подвергая их критике и дополняя их при помощи этого корректива, возможно по крайней мере приблизительно, восстановить истинную картину первых заседаний, в которых Коммуна наметила свой путь, попыталась избежать наиболее близких препятствий, стоявших на ее пути, и старалась связать население Парижа с своим делом и с своей борьбой.

Эти записки имеют еще и другой интерес—интерес еще неизданного произведения. Хотя некоторые из историков Коммуны, например, Лиссагарэ, и имели их в руках, но ни один из них в сущности не использовал их и, во всяком случае, не опубликовал их хотя-бы в отрывках в их подлинном изложении; поэтому мы думаем, что лучше всего, прежде чем комментировать эти протоколы, привести их здесь целиком за первые три заседания (28-го и 29-го марта); первые два протокола писаны рукою Ферре, третий—рукою Ферре и, повидимому, Риго. Возможно, что это частичное обнаружение докажет вместе с тем необходимость полного опубликования манускрипта, так как он представляет существенный интерес, и без него не может быть даже и предпринято добросовестное описание Коммуны.

Вот содержание этого документа:

*Заседание во вторник 28-го марта 1871 г.*

Председатель, по старшинству, гражданин Беслэй. Секретари, самые молодые делегаты: Т. Ферре, Рауль Риго. Кандидаты: Эмиль Брелэй, Луазо-Пенсон.

Заседание открылось в 3 часа дня.

Арну требует назначения комиссии для определения правильности выборов. За основание принять списки 1869 г.

Курне, в порядке заселения, требует поименной переключки.

Мортье, поддерживаемый Груссе, требует, чтобы почетным председателем назначен был Бланки.

Клеман (XV окр.) поддерживает предложение.

Со всех сторон требуют поименной переключки.

Президент вызывает по именам:

I округ: Адам, присутствует; Мелин, прис.; Роша, пр.; Барре, пр.—II округ: Брелэй, пр.; Луазо, пр.; Тирар, отсутствует (явился через час); Шерон, отс.—III округ: Демэй, пр.;

Арно, пр.; Пинди, пр.; Мюра, отс.; Дюпон, пр.—IV округ: Арну, пр.; Клеманс, отс., Лефрансэ, пр.; Жерарден, отс.; Амуру, отс. (отправлен с поручением в Центральный Комитет)—V округ: Режер, отс.; Журд, пр.; Тридон, пр.; Ледруа, отс.; Бланше, отс.—VI округ: Леруа, отс.; Гупиль, отс.; Робине, отс.; Беслэй, пр.; Варлен, пр.—VII округ: Паризель, пр.; Лефевр, отс.; Урбэн, пр.—VIII округ: Риго, пр.; Вальян, отс.; Арну, пр.; Алликс, отс.;—IX округ: Ранк, пр.; Ул. Паран, пр.; Демаре, отс.; Ферре, отс.; Наст, отс.—X округ: Гамбон, отс.; Ф. Пиа, отс.; А. Фортюне, пр.; Шампи, пр.; Бабик, отс. (явился через час); Растуль, отс.—XI округ: Мортье, пр.; Делеклюз, пр.; Асси, отс.; Прото, пр.; Эд, пр.; Авриаль, отс.; Вердюр, пр.—XII округ: Варлен, пр.; Жерезм, отс.; Фрюно, отс.; Тейс, пр.—XIII округ: Лео Мелье, пр.; Дюваль, пр.; Шардон, пр.; Френкель, пр.—XIV округ: Бильорэ, отс.; Мартле, отс.; Декан, отс.—XV округ: Клеман, пр.; Ж. Валлес, пр.; Ланжвен, пр.—XVI округ: Мармонтан, отс.; Бутелье, отс.—XVII округ: Варлен, пр.; Клеман, пр.; Ш. Жирарден, пр.; Малон, пр.; Шалэн, пр.—XVIII округ: Тейс, пр.; Бланки, отс.; Т. Ферре, пр.; Дерер, пр.; Клеман, пр.; Верморель, отс.; Паскаль Груссе, пр.—XIX округ: Уде пр.; Пюже, отс., Курне, пр.; Делеклюз, пр.; Остен, пр.; Мио, отс.—XX округ: Бланки, отс.; Бержере, отс.; Флуранс, отс.; Ранвье, отс.

А. Фортюне.—Собрание революционное. Требуется, чтобы перешли к порядку дня.

Паризель требует, чтобы к прениям приступили немедленно.

Лефрансэ.—Вопрос достоинства. Национальная гвардия и Центральный Комитет заслужили благодарность Парижа и республики.

Единогласно признано.

Уде.—Комиссия. Военная власть. Настоятельная необходимость. Первый вопрос. Внесены два предложения к порядку дня.

Эд.—Прокламации относительно военного управления.

Пинди требует собрания Коммуны, созыва всех членов на завтра.

Ул. Паран поддерживает предложение. Требуется также заседание на завтра. Извещение в *Officiel*.

Арнольд, член Центрального Комитета.—Неусыпное наблюдение. Прокламации. Напечатать. Прокламация от имени Коммуны.

Арну.—Положение серьезное. Мы составляем большинство. Какойнибудь акт. Он необходим.

Демэй.—Сначала конституироваться. Разделить труд.

Рауль Риго.—Перед обсуждением—первый вопрос: кто имеет право участвовать в решениях?

Делеклюз.—Простое замечание. Требуется принять власть от Центрального Комитета.

Лефрансэ.—Пустые формальности. Мы существуем, нас провозгласили. Парижское население извещено.

Уде.—Инициатива со стороны Центрального Комитета.

Председатель резюмирует прения (шум).

Лео Мелье.—Согласен с Лефрансэ, мы существуем. Избрание. Объявим, что мы конституировались.

Председатель.—Прежде, чем начнем действовать.

Курне.—Выбрать комиссию для составления прокламации.

Председатель голосует: 3 или 5.

Первое предложение принято.

Избранные члены: Лефрансэ, без 2 голосов; Ранк, без 2 голосов; Груссе—против 15; Делеклюз, не избран, против 12; Жюль Валлес, без 8 голосов.

Комиссия: Лефрансэ, Ранк, Жюль Валлес.

Ж. Б. Клеман.—Прокламация по соглашению с Центральным Комитетом. В противном случае реакция.

Журд.—Если Комитет не явился, то потому, что он не знал, что ему дозволено это. Не будем на это обращать внимание.

Груссе.—Сообщить Центральному Комитету о конституировании.

Арну.—Надо его пригласить.

Председатель.—Голосую. Принято. Та же комиссия уполномочена пригласить.

Арнольд и Пинди начинают обсуждение по поводу намерений Центрального Комитета.

Лефрансэ спрашивает: какие будут поручения комиссии к Центральному Комитету?

Жюль Валлес спрашивает о редакции прокламации. Затем, какое сообщение сделать Центральному Комитету?

Р. Риго.—Сообщить Центральному Комитету, чтобы явился в Коммуну.

Председатель.—Комиссия уполномочена отправиться.

Паскаль Груссе.—Статья первая: заседания комиссии не публичны. Отчет о заседаниях не обнародуется, а только протокол о ее действиях.—Паскаль Груссе, Дерер, Мортье, Ранвье.

Арну.—Мы не Совет небольшой коммуны.

П. Груссе.—Скорее военный совет, чем коммунальный. Нам нельзя посвящать в наши решения Собрание Национальное наших врагов.

Журд оспаривает предыдущего оратора.

Арну, Тейс высказываются за публичность. Надо всегда быть ответственным.

Паризель.—В виду достоинства наших заседаний. Энтузиазм народа. Если в Лионе коммуна погибла, то от недостатка общения с народом. Требуют стенографов.

Груссе вновь поддерживает свое предложение.

Уде говорит снова о мэрах. Надо завладеть окружными легионами.

Ранк.—Распустить завтра.—Принято единогласно.

Лефрансэ отдает отчет о поручении к Центральному Комитету.

Луазо-Пенсон.—Срочное предложение. Смертная казнь отменяется безусловно, Коммуна требует этого энергично, чтобы доказать всей Франции и всему миру, что республиканцы гуманни и не кровожадны, они готовы разрушить эшафот, и обвинения против них несправедливы.

Р. Риго.—Обратить внимание на предшествующие законы. Внесенные в списки избиратели. Октябрь. Законы 1849 г. или 1870 г.?

Клеман (XV окр.).—Не надо парламентаризма. Извещение, что результат голосования, утверждено. Для общественного спасения.

Ранк.—Способ Центрального Комитета. Он принял обязательство, надо его исполнить.

Алликс.—Я был мэром, замещая Денорманди.

Журд ставит вопрос.

Демей.—Список 1869 или 1871.

Клеманс.—Сохранение ноты Комитета.

П. Груссе.—Назначение комиссии для утверждения властей.

Арну.—Комиссия по закону 1849 г. Утвердим.

Р. Риго.—Присоединяюсь. Назначение комиссии по закону 1849 г.

Председатель.—Назначение комиссии по вопросам о выборах.

Ул. Паран.—К порядку заседания. Работа комиссии по редактированию прокламации.

Ранк поддерживает предложение.

Журд.—Предложение. Мандат уполномоченного в Коммуне и депутата в Национальном Собрании несовместимы.

Луазо-Пенсон, Тейс говорят по этому вопросу.

А. Фортюнэ.—За несовместимость.

Ж. Валлес поддерживает.

Тирар.—Прежде надо объясниться. Решение принято. Мандат принят; он был определенный, дело идет лишь о муниципальном совете; мои избиратели послали меня для этого. Воен-

ный совет, отмена законов; я не имею права оставаться здесь. Что касается предложения: вы желаете предписать осуществление одного из двух мандатов. Первый мандат получен мной раньше. Слагает полномочие.

Уде требует предать правительство суду.

Делеклюз.—Речи имеют намерение выразить порицание представителям, заседавшим в Бордо. Объяснение, почему он не отказался от депутатства в Версале. Двойная цель. Наглое соседство, Парижская Коммуна. Я готов отказаться и от звания депутата и от звания члена Коммуны.

П. Груссе.—Тирар сказал, что он хорошо знает, как входят в Рагушу, но ка...

Р. Риго.—Предложение. Надо дать знать в бюро, что осуществление не было декретировано.

Жерарден.—Собрание и Коммуна руководятся различными принципами. Пусть Тирар объяснится.

Бабик.—Предложение к порядку о назначении комиссии.

Лефрансэ требует, чтобы принята была не отставка, а выборы признаны были недействительными.

Уде требует слова по личному делу. Он требует назначения следственной комиссии о деятельности всех парижских мэров.

Решено, что в комиссию по выборам войдут пять членов. В нее вошли граждане: Арну, Жерарден (XVII окр.), Прото, Тейс и Паризель.

Паризель требует неотложности для следующего предложения: занятие ворот Пасси и Отейля верными Коммуне национальными гвардейцами.

Дюваль возвращается к вопросу о несовместимости.

Курне заявляет об отказе от полномочия депутата в Версале.

Предложение Паризеля принято.

Делегаты Центрального Комитета справляются о времени следующего заседания, чтобы Центральный Комитет мог явиться для сложения своих полномочий.

Порядок следующего заседания, назначенного на среду, в 1 ч. дня: 1) назначение постоянного бюро; 2) назначение комиссий для управления Парижем; 3) обсуждение прокламации, с которой следует обратиться к парижскому населению; 4) прием Центрального Комитета; 5) доклады комиссий, если таковые окажутся; 6) вопрос о Мюрате.

Заседание закрыто председателем в полночь, при криках: «Да здравствует республика, да здравствует Коммуна!»

Верно: Т. Феррè.

Второе заседание.—Среда, 29-го марта 1871 г.

Гражданин Беслэй открывает заседание.

Заменяют двух отсутствующих кандидатов Демэя и Робине. Секретарь Т. Ферре читает протокол предыдущего заседания.

Арну.—Так как Центральный Комитет объявил, что основным будет служить закон 1849 г.

Курне говорит о декрете, касающемся декларации по поводу Центрального Комитета. Отечество—вместо Парижа.

Лефрансэ. Это потому, что Тирар не признает полномочий Коммуны.

Требуют, чтобы Коммуна конституировалась.

(Следует перечень присутствующих и отсутствующих, который мы не приводим. Отсутствуют большинство сложивших свои полномочия вчера и тех, которые сложат его на следующий день: Адам, Мелин, Роша, Барре, Брелэй, Тирар, Шерон, Демаре, Ферри, Наст, Фрюно, Мармоттан).

Председатель.—Читает письмо Ш. Роша об отказе от полномочий.

Тридон требует, чтобы делегатам даны были приказы помещать мэрам и их помощникам расклеивать прокламации на белой бумаге с целью возбуждения гражданской войны.

Режер.—Приказ, что признается только одна власть и чтобы не расклеивалось других прокламаций.

Р. Риго.—Поручите мне совместно с Дювалем захватить все эти прокламации.

Бержере.—Я действую. 200 человек отправлены с Вандомской площади.

Шалэн.—Свобода для всех, только бы не печатали на белой бумаге.

А. Фортюне. Прокламации.

Клеман протестует против всех цветов.—Воззвание к гражданской войне.

Шалэн поддерживает свое мнение.

Дюваль.—Арест лиц, подписывающих эти прокламации.

Арну.—Нападающих на республику и Коммуны...

Лео Мелье.—Меры против Figaro и Gaulois.

Паризель.—Объявить преступником, кто не признает.

Бутелье.—Чиновники, лишённые жалованья.—Версальское правительство.

Председатель.—Назначение Бюро (прения)—председатель, два его помощника и два секретаря.

Валлес.—Председатель меняется ежедневно. Никаких кандидатов.

Лео Мелье требует председателя на неделю.

Арну.—То же самое.

Председатель.—Полномочие, не возобновляемое ежедневно. Председатель, два кандидата, два секретаря. Ставит на голоса это предложение окончательно.

П. Груссе.—Секретариат не из членов (Коммуны) под наблюдением Бюро.

Делеклюз поддерживает его.

Р. Риго.—Предложение—почетное председательство Бланки.

Делеклюз.—Монархический обычай. Никакого почетного председательства.

Р. Риго.—Вызов Собранию.

Курне.—Чтонибудь посильнее.

Растуль.—Различные предложения.

Беслэй читает статью: Мир и Свобода. Нам говорят, что мы затрагиваем свободу; если мы ее задела, то как гвоздь, который заколачивают глубже. Старо. Но близко или далеко, она будет с нами.

Требуют тайного голосования. Секретари. Отсрочка. Шум. Предложения к порядку.

Арну, Риго, Мелье.—Поднятием рук.

Один из делегатов.—Вопрос о продовольствии. Американский хлеб для посева. Должны ли мы исполнять декреты, или изменить их?

Р. Риго.—Вывоз посевного хлеба я разрешил. Что касается боев, я ждал решения.

Уде.—Завалены требованиями в этом отношении.

Требование к порядку дня.

Председатель.—(Протестует против тайного голосования, предложенного Антуаном Арно).

Эд читает. Помощники: Тридон, Вальян, Арно, Риго, после председателя получившие наибольшее число голосов.

Голосуют: Лефрансэ—председатель. Ранк, Вальян—помощники; Ант. Арно, Ул. Паран—секретари.

Риго вносит добавочное предложение. Принято.

Сообщение членов Совета 17-го легиона.

Решено, что комиссия отправится за членами Центрального Комитета.

В промежутке прения об организации Исполнительной Комиссии. В нее войдут 7 членов. Заседать будет непрерывно. Будет принимать депутации, желающие сделать сообщения.

Входит Центральный Комитет.

Арнольд.—Вновь составляется общий семейный совет.

Бурсье.—Организовать национальную гвардию.

П. Груссе вносит предложение о Федерации.

Виард.—Комитет никогда не вмешивается в непосредственные функции Коммуны. Нет.

Клеманс.—Пусть Комитету поручат, в согласии с Коммуной, реорганизацию национальной гвардии.

Бержере.—Временно Комитет будет заседать рядом с главным штабом.

Левалет дополняет сказанное.

Фортионе, Анри.—Поручены полномочия при 14 легионе. Благодарит.

Журд.—Центральный Комитет артиллерии Сены только что изъявил свою преданность Коммуне и поясняет, что он будет ее будущей организацией.

Арну и другие вносят предложение образовать подкомиссии: 1) Туда и обмена (торговля); 2) Внешних сношений; 3) Муниципальной администрации; 4) Образования; 5) Финансов; 6) Военной, полиции, судебной, общественных служб, статистики и продовольствия.

Дюваль требует обсуждения вопроса о наложении секвестра на суммы, вложенные фамилией Бонапарт в страховые общества; Прото, Беслэй принимают участие в прениях.

Журд требует подкомиссий: 1) Финансов; 2) Военных дел; 3) Юстиции и полиции и общей безопасности.

Декрет, а не приказ предлагает Прото. По поводу неотложного сообщения, касающегося служащих в Октруа, которые приглашены были Ферри прекратить свою деятельность.

Декрет вотируется единогласно.

Исполнительная комиссия. 58 голосующих: Эд—43; Тридон—39; Вальян—38; Лефрансэ—29; Дюваль—27; Феликс Пиа—24; Бержере—19; Р. Риго—18; Мортье—11; Журд—11; Прото—10; Варлен—10; Делеклюз—9; Курне—8; Груссе—7; Ранк—7; Мелье—6; Паран—6; Пинди—6.

Комиссия удаляется, чтобы обсудить вопрос об Октруа—Ферри.

Комиссия финансов.—Клеман, Виктор, Варлен, Журд, Беслэй, Режер.

Комиссия военная.—Пинди, Эд, Бержере, Дюваль, Виардон, Флуранс, Ранвье.

Комиссия юстиции.—Ранк, Прото, Лео Мелье, Верморель, Лелруа, Бабик.



Общей безопасности.—Рауль Риго, Ферре, Асси, Курне; Уде, Шалэн, Жерарден (XVII окр.).

Продовольствия.—Дерер, Шампи, Остен, Клеман, Париэль, Эмиль Клеман, Анри Фортюне.

Труда и обмена.—Малон, Френкель, Тейс, Дюпон, Авриаль; Луазо-Пенсон, Эж. Жерарден, Пюже.

Внешних сношений.—Ранк, Паскаль Груссе, Ул. Паран; Арт. Арну, Ант. Арно, Делеклюз, Ш. Жерарден.

Общественных служб.—Остен, Бильорэ, Ж. Б. Клеман; Мартеле, Мортъс, Рагул.

### *Второе заседание того же 29 марта.*

Перед началом, в 10 часов, граждане—служащие в Октруа явились заявить, что они присоединяются к Коммуне. Они собрались в кафе Центрального Рынка.

Пинди, Уде, Вальян.

Многие члены требуют, чтобы Ратуша была очищена, чтобы ее помещения переданы были комиссиям и чтобы помещения были эвакуированы для облегчения батальонов, занимающих Ратушу. Переселение Центрального Комитета на Вандомскую площадь весьма просто разрешит эти затруднения.

Обсуждается и определяется порядок дня.

Чтение проекта прокламации, составленного Лефрансэ.— Найден чересчур длинным.

Вопрос о квартирах, сроках платежей, пруссаках.

Клеман требует, чтобы Коммуна не выступала в качестве политического правительства.

Уде.—Энергичные меры против агентов реакции.

Париэль.—Надо обратиться с воззванием к провинции.

Шалэн.—Мы сильны. Останемся на почве энергичной защиты. Не нужно нам ничего навязывать Франции, но следует все сделать для ее освобождения. Надо распуścić версальское Собрание, если вы хотите сохранить республику.

Шампи говорит в том-же духе.

Груссе читает предложение, имеющее в виду роспуск версальского Собрания. Те из его членов, которые попытаются помешать осуществлению настоящего декрета, объявляются вне закона. Парижская Коммуна подтвердит исполнение предварительных условий мира и вступит в дипломатические переговоры.

Тейс оспаривает предложение. Требовать от версальского Собрания, чтобы оно удалилось—оно мешает нам и нашей автономии,—но не выходя из наших коммунальных прерогатив.

Вальян полагает, что нужно сделать дело без лишних слов;

необходимо, чтобы Собрание сошло со сцены, или-же революция должна погибнуть. Надо укрепить революцию у себя дома так, чтобы вынудить реакцию напасть на нее, и тогда мы будем сильны.

Гупиль предлагает перейти к обсуждению прокламации. Ледруа высказывает сожаление, что только говорят, а не делают. Он возвращается к вопросу о квартирах.

Клеман требует, чтобы в прокламации сказано было о квартирном вопросе и о сроках платежей, а затем и о пруссаках.

Прото предлагает, чтобы комиссия собралась и чтобы в этой прокламации не был затронут версальский вопрос.

Тридон думает, что в прокламации надо заявить, что версальское Собрание поставило нас в положение законной самообороны и что мы должны раскрыть перед провинцией его заговорщические и иезуитские приемы.

Собрание назначает членами комиссии: Груссе, Вальяна, Тридона и Прото.

Введена делегация Центрального Комитета; она передает делегацию, которую постановлено обсудить потом.

Гражданин Феликс Пиа возвращается к сделанному им запросу, могут-ли быть опубликованы наши прения и комментированы заседания Коммуны.

После прений переходят к порядку дня и предоставляют решить этот вопрос благоразумию редакторов газет.

Гражданин Клеман (XV окр.) возбуждает квартирный вопрос.

Фортюне предлагает проект декрета.

Валлес от имени Луазо вносит другой проект.

Арну, Уде, Ж. Б. Клеман, Мелье, Мио,—предложение декрета. Демэй, Гупиль.

Комиссия составлена из Риго, Гупиля, Клемана.

Комиссия Груссе по составлению прокламации возвратилась.

После нескольких замечаний и частичных дополнений прокламация принята. Подпись: Парижская Коммуна.

Центральный Комитет дает знать Коммуне, что намерен переселиться в Люксембургский дворец.

Прения; решение наших окончательных отношений к Центральному Комитету отложено на завтра.

Комиссия о квартирах возвращается и читает свой проект декрета, который принят после дополнения его поправками о реализации бонов и о плате за меблированные комнаты.

Проект отмены рекрутского набора внесен Фортюне и Деререм. После обсуждения принят».

Эти протоколы скомканы, беспорядочны, бессвязны, как мы уже говорили, и на основании этой беспорядочности можно было бы с известной долей логической видимости заключить и о беспорядочности прений самой Коммуны. Некоторые так и поступили, но приговор этот черезчур поспешен. Не надо забывать, действительно, что этот отчет является только торопливым, кратким изложением, наскоро набросанным теми самими людьми, которые сами принимали участие в дебатах и в то же время и записывали их. Сам по себе, например, первый протокол почти непонятен, а так как мы знаем, что Ферре прочел его во втором заседании и он был утвержден, то мы имеем право заключить, что при этом чтении Ферре дополнял его устными пояснениями. В данном случае мы имеем, следовательно, скорее только схему протокола, чем самый протокол, и в виду этого ошибочно судить по нему о постановке и серьезности прений, не вводя указанного корректива.

Первые заседания Коммуны напоминают, впрочем, обычные заседания всякого нового собрания, если они не выливаются в заранее уже приготовленную для них форму.

Коммуна никому не наследовала, она открывала собою нечто новое. Она не только встретила совершенно исключительное положение, почти не имевшее прецедентов в прошлом, но и в административном отношении она оказалась перед пустым пространством; и ничто лучше не характеризует этого положения, как приведенный протокол. Коммуна не нашла никого, кто бы мог ее даже накормить. Она сама, одна, должна была позаботиться даже об этом, как и обо всем остальном.

Это первое размышление, на которое наводит чтение протоколов, цитированных нами, и оно не безразлично.

Второе замечание следующее: между лицами, так неожиданно сведенными воедино, не было внутреннего взаимного проникновения, сходства во взглядах, согласия в тактике борьбы и спасения. Избранные в Коммуну, те, которые оставались в Ратуше до самой бойни, мало или совсем не знали друг друга и, даже хуже,—они говорили на разных языках и, следовательно, не могли понимать друг друга. Что-же у них было общего в этот момент, что сближало и спаивало их? Общее чувство, уже отмеченное нами, чувство глубокого отвращения к Собранию деревенщиков, которое из Версаля угрожало республике, а затем у них было еще общее, хотя и смутное стремление к идеалу социальной справедливости пролетарского освобождения, толкавшее работников воспользоваться в свою очередь правами, завоеванными еще в прошлом веке, но монополизированными до этого дня одною буржуазией. Одной этой связи было недоста-

точно; она черезчур слаба и черезчур нежна для людей, которым нужно было-бы составлять единый союз, иметь одну мысль и одну волю. Обстоятельства требовали полного и абсолютного сотрудничества, насколько возможно—совершенного согласия в совете и в делах. Необх дима бы а солидарность относительно цели, но не менее нужна была и солидарность в тактике. Прежде всего необходимо было найти и скомбинировать способы, которые позволили-бы Парижу развить последствия, вытекавшие из его инсurreкционного движения, внезапно ставшего победоносным, благодаря вольной или невольной слабости врага; а раз эти способы были найдены, надо было согласиться утилизировать их сообща, связно и систематически. Но в этом отношении только что избранные представители, вследствие различия их происхождения, их образования, их умственного развития, осуждены были на роковое разномыслие. Разделенные на два или на три направления—якобинцев, бланкистов и федералистов,—они с самого начала и до конца остались почти чуждыми друг другу.

Между тем поле для их деятельности тотчас-же очистилось. Присутствие некоторых неассимилируемых элементов, которых буржуазная воля центральных кварталов послала в их ряды, могло-бы стеснить их и мешать им в их намерениях и действиях. Эти элементы сами добровольно удалились; они ушли, придерживаясь английской обычая, за исключением Тирара, который счел нужным хлопнуть при этом за собою дверь, без сомнения, получив на этот счет указания от своего авгура и патрона Тьера. В заседании 28-го марта, депутат-мэр II-го округа ясно указал в вызывающем тоне на те основания, в силу которых он не считал возможным заседать в Коммуне и считал себя солидарным с версальским Собранием. В ответ на это Лефрансэ предложил не принимать его отставки, а объявить выборы недействительными. Отставка, или признание недействительными выборов—это простой словесный турнир. Важно было в этом случае самое удаление Тирара, окончательно разрушавшее за собою все мосты, отрицавшее этим решительным шагом даже самую видимость соглашения, которое, как казалась, состоялось между мэрами и Центральным Комитетом; это удаление указывало своим мотивированным отказом на то, что высшая республиканская буржуазия отделяет свое дело от дела рабочего народа, но в отместку оставляет выборным этого народа полную возможность руководить по своему усмотрению борьбою Парижа с Версалем.

30-го марта в Ратуше уже не заседал ни один из представителей тьеристов, за которых голосовали лавочники и партия

рантьеров I, II, VI, IX и XVI округов: Демаре, Ферри, Наст, Брелэй, Шерон, Робине, Фюно, Мармоттан, Роша, Барре, Адам, Мелин. Последний, говорят, поучительно заявил депутатам (Национального Собрания), еще утром 28-го марта: «Я провел всю ночь за перечитыванием *Principe Fédératif* Прудона; на стороне этих людей истина. Оставайтесь в Версале, мы останемся в Ратуше и совершим великие дела». А поступил он так же, как и его товарищи. Не прошло и суток, как он позабыл Прудона и его *Principe Fédératif* и присоединился, переехав даже в Версаль, к партии «порядка», и мы знаем, куда привела она его в конце концов.

Это бегство приверженцев трехцветной <sup>1)</sup> республики являлось одновременно и предупреждением и избавлением. Оно говорило остававшимся поборникам красной республики: «Сомкните свои ряды! Оставьте свои теории и догматы, свои принципы и системы. Никакой метафизики, только действие. Коммуна не может быть парламентом, судьба пожелала, чтобы она была баррикадой. Умейте, следовательно, напереч всю свою энергию перед лицом ужасной борьбы, в которую роковым образом увлекают вас события». Предупреждение было ясно; оно было даже грубо откровенно, однако, приведенные выше протоколы говорят нам, что оно не было услышано. Противоположные течения, обнаружившиеся уже при первом обмене мнениями, не прекратились и не привели к взаимному соглашению. Наоборот, ежедневные дебаты продолжались, скорее все усиливая прискорбные пункты разногласия и умножая взаимное непонимание и раздоры.

Здесь интересно будет познакомиться с этими противоположными течениями со слов самих членов Коммуны, которые впоследствии писали о ней. Без сомнения, эти тенденции проявились резко и определенно и вылились в партийной форме только позднее, через несколько недель. Но они все же существовали и в самом начале; они уже оказывали свое влияние и в этом решающем начальном периоде и много посодействовали к парализованию энергии борьбы у собрания, которое не должно было бы иметь иных непосредственных целей, кроме борьбы, иных стремлений, кроме как к изысканию средств для углубления и продолжения этой самой борьбы. Таким образом будет уместно отметить здесь эти тенденции и подчеркнуть их, ссылаясь на свидетельства самих заинтересованных лиц и освещая этими

<sup>1)</sup> *Зрим.* Национальное знамя Франции со времени Великой революции трехцветное—Tricolor. Знамя Коммуны, конечно, было красное. Пер.

свидетельствами те данные, которые уже и без того вытекают из прочитанных протоколов. Члены меньшинства подробно высказали свои мнения по этому вопросу, тогда как главным образом члены большинства хранили молчание. Не имея возможности привести все появившееся в печати, мы остановимся на впечатлениях Артура Арну, который фактически приложил более усилий, чем Лефрансэ, Малон и Беслэй, принадлежавшие к тому же оттенку мнений, с целью ясно и систематически проанализировать те причины, которые с самого начала сгруппировали изолированно друг от друга, если и не прямо враждебно друг к другу, ту часть Коммуны, которая должна была стать большинством, и ту, которая должна была называться меньшинством, т. е. революционеров-якобинцев и социалистов-федералистов.

«Термины, говорит Артур Арну <sup>1)</sup>, понимались различно отдельными членами собрания. Для одних Парижская Коммуна выражала собою и олицетворяла первое применение антигосударственного принципа, войну с старыми представлениями о государстве, как едином, централизующем и деспотическом целом. Для них Коммуна являлась торжеством автономного принципа свободно федерирующихся группировок и правления, наивозможно более непосредственно народного и совершаемого через народ. В их глазах Коммуна была первым этапом широкой, настолько же социальной, насколько и политической, революции которая должна была окончательно смести старинные заблуждения. Она являлась абсолютным отрицанием идеи диктатуры; она была появлением самого Народа у власти и, как следствие этого, уничтожением всякой власти, стоящей вне или выше Народа. Люди, так чувствовавшие, так мыслившие, к этому стремившиеся, образовали группу, впоследствии получившую название социалистической, или группы меньшинства.

«Другим, наоборот, Парижская Коммуна представлялась продолжением старой Парижской Коммуны 1793 года. Она являлась в их глазах диктатурой во имя Народа, концентрацией всей власти в немногих руках и уничтожением старинных учреждений посредством замены вначале их начальников новыми людьми, поставленными во главе этих учреждений, а затем превращением их в военные средства Народа для борьбы с его врагами.

«Среди людей этой авторитарной группировки идея единства и централизма еще вполне испарилась. Если они и написали на своем знамени исповедание принципа коммунальной

<sup>1)</sup> Arthur Arnould — *Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris*—Существуют и русские переводы этой книги, напр. «Народная История Парижской Коммуны». Изд. Петр. С. Р. и К. Д. 1918 г. Пер.

автономии и свободной федерации групп, то принцип этот навязан им был волею Парижа... К тому же, руководимые привычными приемами мышления и традиционными требованиями, выработанными в течение долгой предшествующей борьбы, как только им пришлось действовать, они вновь обратились к тому же пути, по которому шли так долго до этого времени, и, с добрыми, конечно, намерениями, они стремились применить старые способы к новой идее. Они не понимали, что в подобном случае форма почти всегда побеждает сущность и что, желая утвердить свободу диктаторскими или деспотическими средствами, убивают именно то, что хотят спасти. Эта группа, состоявшая к тому-же из разнородных элементов, образовала большинство и называла себя «революционерами-якобинцами».

Очевидно, Артур Арну в этом случае, говоря о меньшинстве, имеет главным образом в виду самого себя и, может быть, Лефрансэ, потому что во всей Коммуне только эти два человека горели такой исключительной жаждой автономии и готовы были скорее поступиться самой победой, чем достигнуть ее при помощи средств, противоречивших их принципам. Варлен, Френкель, Авриаль, Журд, Валлес, Верморель и даже Тейс и Малон не подходят под эту рубрику.

Точно также Арну, говоря о большинстве, имеет в виду главным образом Делеклюза, Гамбона, Мио, Феликса Пка, т. е. типичных якобинцев. Его определение уже менее точно, если его применить к бланкистам—Дювалю, Эду, Ферре, которые не были, как мы знаем, черезчур начинены теориями, и еще менее оно подходит, если его отнести к таким людям, как Тридон, Вальян или Арно, которые, не заботясь об идеологиях, знали только одну цель и твердо и настойчиво стремились к ней. Во всяком случае, в общих чертах, хотя сравнение Арну и черезчур, может быть, геометрично, но оно не лишено известной доли правды. Даже уже потому, что Арну намечает твердыми и уверенными штрихами два крайних течения, оба—совершенно новых, два полюса, между которыми колебалось движение, он дает нам довольно верную картину положения в его целом и позволяет, внося известные коррективы, окончательно расставить личности и группы,—каждую на свое место.

Затем пусть факты говорят сами за себя.

Столкновение направлений обнаружилось прежде всего по вопросу о публичности заседаний. Арну, Лефрансэ и присоединившийся к ним Журд высказались за их публичность из принципиальных соображений. Первые двое уже отстаивали это же положение при империи для тогдашних законодатель-

ных палат; теперь они отстаивали тот же принцип и по отношению к Коммуне, не задавая себе вопроса, было ли учреждение, к которому они принадлежали, приняв во внимание все обстоятельства, обыкновенным собранием, как и всякое другое, или, скорее, оно было исполнительным комитетом, прения которого не должны были быть оглашаемы, пока они не прекратятся в действия? Паскаль Груссе, вдаввшись в крайность, защищал как раз противоположное положение. Говоря о военном совете и о совете десяти, он пустился в драматизацию, когда следовало аргументировать; он оскорблял либеральные предрассудки и давал этим пищу для словопрений. Вопрос этот постоянно вновь возбуждался в Коммуне, пока она, решив его вначале вполне отрицательно, не перешла затем к публичности, правда, обставленной большими ограничениями.

Еще с большей отчетливостью обнаружился тот же конфликт, когда Коммуне пришлось определить самое себя, объяснить внешнему миру, что она такое, что она думает предпринять и что выполнить. Очевидно, эта задача являлась для Коммуны самой щекотливой и тяжелой. Какое положение занять по отношению к версальскому правительству? Признавать ли его или нет? И, в зависимости от этого, должна-ли она держать себя просто, как парижское муниципальное собрание, действуя только для Парижа, внутри его стен, или же она должна себя вести как центральная власть, действуя и законодательствуя для всей Франции? Грозный выбор. От решения этого вопроса зависела ориентация всего движения; из него вытекали весь его смысл и его политическая роль.

В этом случае боролись два текста, вернее сказать—два мировоззрения. Коммуна—мы знаем это из протоколов за 28 и 29 марта—поручила сначала Лефрансэ, Ранку и Валлесу составить проект этой прокламации—манифеста.

Представленный ими проект можно найти в *Etude sur le Mouvement communaliste*, написанном Лефрансэ в изгнании, в 1871 г. <sup>1)</sup>. Проект этот, как говорится в протоколе послеобеден-

<sup>1)</sup> G. Lefrançais. — *Etude sur le Mouvement communaliste à Paris, en 1871*, стр. 196—197. Самое заглавие этого сочинения указывает на его направление. «Коммуналистическая»,—эта в общем весьма побочная сторона движения для автора, представляется подавляющей все остальное. Несмотря на это, труд Лефрансэ весьма поучителен и оставляет большое впечатление. Это не значит также, что автор не был социалистом. Он был социалистом и даже одним из наиболее сознательных социалистов того времени: но при этом он страдал либеральной или либеральствующей манерой. Он требовал свободы в течение борьбы, тогда как она могла явиться только в результате ее.

ного заседания 29 марта, был отвергнут вследствие его длинноты. Он отклонен был также и притом, главным образом, вследствие того духа крайнего федерализма, в котором был написан. Его редакторы действительно, энергично ограничивали самую деятельность Парижской Коммуны. Новое собрание должно было поучать примером, и только примером. Заключенный в своих стенах, замаринованный в своей автономии Париж не должен был прямо и непосредственно заниматься освобождением других коммун страны. Он готов (и этим одним и ограничивается его участие) заключить союз с теми коммунами, которые пришли к нему на это свое согласие. Лефрансэ указывает, что значительное большинство высказалось против его проекта. «Его нашли чересчур бледным»—говорит он. Фактически же он и его сотрудники, вполне поглощенные своей мыслью о немедленном установлении режима безграничной автономии, повидимому, даже и не задумывались над тем, что всего за двадцать километров от места их заседания беспощадный враг подстерегает их и отгачивает свой кинжал.

Коммуна одобрила второй проект, представленный новой комиссией, составленной из Паскаля Груссе, Прото, Тридона и Вальяна. Этот проект стоял на централистической точке зрения, и в нем неизбежность борьбы с Версалем, не только за признание коммунальных свобод, но и за спасение и развитие республики, вытекала из данных существовавшего положения, представленного в его настоящем виде.

## VII. Затруднения.

Из протоколов, которые мы и привели главным образом с этой целью, ясно обнаруживается, что в Коммуне, начиная с 28 и 29 марта, когда удалились буржуазные представители, существовали два течения, два направления, и что одно из них—централистическое, стремившееся к сильной власти,—располагало большинством. Это подтверждается многочисленными доказательствами. Приведем только некоторые из них, хотя их можно бы привести сколько угодно, начиная с холодного приема, который встретила речь председателя, старшего по возрасту Беслея <sup>1)</sup>, благодаря приторному оттенку

<sup>1)</sup> Речь Беслея произнесена была в послесоборном заседании 29 марта. Большинство историков Коммуны относят, впрочем, эту речь к заседанию 28, а некоторые из них даже подчеркивают, что именно эта речь подала Тирау один из поводов к удалению.

федерализма, которым окрашивалась его приветственная речь, вытекавшая из того же источника, что и прокламация Лефрансэ, и кончая решением Коммуны, когда она, после уступки, продолжавшейся сутки, вновь окрестила свой официальный орган прежним именем *Journal Officiel de la République Française*, отвергнув, как измену, название *Journal Officiel de la Commune de Paris* <sup>1)</sup>, на котором настаивали некоторые автономисты.

Как же могло случиться, что большинство не импонировало, что оно не увлекло, не подчинило меньшинство и не представляло собою власть в полном значении этого слова? Конечно, это случилось в силу причин, лежавших вне его и которые вскрывает, или в будущем покажет простой взгляд на совершившиеся события; но при этом действовали и внутренние причины, которых могло бы и не быть, или же они могли бы проявляться менее резко.

Действительно, если у меньшинства были свои слабости и недостатки, то и у большинства были свои, не менее кричащие и не менее пагубные. Среди членов большинства из наиболее известных, те, которые являлись деятелями 48 г., чересчур верили в силу традиций и в возможность оживления прошлого. Чтобы быть непобедимыми, им казалось достаточным зафранцизоваться в наследственные доспехи 93 г. Они принадлежали и не к своему веку, а к веку минувшему. Они совершенно не гадали, что будущее убивает и что оживляет только один дух, и не сознавали, что, главным образом, даже и для революционного дела в новые времена необходимы новые, подходящие средства.

Другие, более молодые, были в значительной степени сторонниками насильственных мер, но они не обладали последовательностью; часто они являлись чистыми декламаторами, играющими в инсURREKЦИЮ, как они играли бы и в войну в предшествовавшие месяцы, постоянно с формулами на устах и с ощущением удовлетворения ими. Революционизм тех и других был только внешний, поверхностный и даже у лучших из них—только в намерении. Они, конечно, сознавали пользу сильной централизованной власти. К этой централизации относились с цепетильным вниманием, по крайней мере, в теории,

<sup>1)</sup> Номер с коммуналистическим заглавием вышел 30 марта. Заглавие его было *Journal Officiel de la Commune de Paris*, год I, № 1. 31 марта старое заглавие было восстановлено. Номер, появившийся в этот день, озаглавлен: *Journal Officiel de la République Française*, № 90, год III.

те из них, которые обладали кое-каким литературным образованием, но практика им не улыбалась; в этом отношении они были скудно наделены и не увлекались ею. Наконец,—и это являлось еще одним тягостным и прискорбным их свойством,—некоторые из них, из числа тех именно, кого прошлая борьба, деятельность и продолжительные преследования увенчали ореолом, не были социалистами или не были ими вполне. Они служили делу, которое в своей основе не было их делом, которое не отвечало их симпатиям и их тайным помыслам, «многие принципы которого, как говорит Артур Арну, имея в виду Делеклюза,—противоречили, даже опровергали некоторые из самых дорогих им убеждений». Таким образом диктаторский механизм, который они мечтали воздвигнуть, мог в результате всего этого функционировать в их руках лишь в пустую и толочь лишь воду в ступе. Конечно, если бы движение могло укрепиться и продолжалось более долгое время, оно быстро перегнало бы эти элементы и выкинуло бы их за борт.

Вот вкратце те внутренние причины, о которых мы только что упоминали и которые парализовали большинство, а рефлекторно и всю Коммуну. Несомненно, они давили на весы. Но, во всяком случае, они давили менее, чем внешние причины общего характера, которые оказали бы свое суровое действие при всяком составе Коммуны, каковы бы ни были технические способности ее членов и как бы тесно последние на были взаимно связаны.

Теперь нам и предстоит познакомиться с этими причинами. Мы видим их в том состоянии полной и все увеличивающейся разрухи, в которой находились в этот момент все общественные службы, разрухи, дошедшей до такой степени, что во всякую минуту материальная жизнь великого города рисковала приостановиться и порядок ее непоправимо нарушиться. Версальскими махинациями весь административный и муниципальный механизм был испорчен, а следовательно и обеспечиваемые им жизненные функции: службы продовольственные, сообщения, боев, санитарные, благотворительные; все они были оставлены на волю судьбы, и с каждым днем все более и более глубоко нарушалось их функционирование, которое, более чем какое-либо другое, должно бы оставаться правильным и автоматичным. План Тьера, этого неразборчивого пройдохи, состоял в том, чтобы вогнать Париж в голод, в разорение, довести его до безумия и свалить, лишив его условий, необходимых для движения и существования всякой большой человеческой коллективности.

Это была всеобщая забастовка чиновников, без предварительного об'явления ее, и такого же рода саботаж, но навыворот, примененный буржуазией против народа, реакцией против революции. Представьте в этих сложных условиях себе Коммуну, состоящую из элементов, в десять раз более согласных, в десять раз более сознательно понимающих намеченные цели и необходимые для достижения их средства, и положение всетаки благодаря этому не улучшилось бы: на ее пути возникли бы такие же трудные и непреодолимые препятствия.

Говорили, что Коммуна располагала громадными средствами, которыми не пользовалось ни одно из восстаний, бывших до нее; это верно. Коммуну защищала крепость, будто бы неприступная; она владела пушками, ружьями, военными запасами в изобилии, в ее распоряжении находились тысячи решительных и воодушевленных защитников. Вместе с тем она была богата, потому что имела и получила, независимо от других источников доходов, неограниченный кредит во французском банке. Чего-же ей еще не хватало? Того, на что мы укажем и что, может быть, покажется ничтожным и второстепенным, но что являлось, между тем, главным, потому что при его отсутствии все средства, как бы драгоценны и внушительны они сами по себе ни были, оставались бесполезными и не могли быть использованы. Им недоставало преданного и умелого персонала, чтобы пустить в дело те живые силы, которые в изобилии находились вокруг нее; ей недоставало органов управления и контроля, которые безусловно необходимы, чтобы управлять движением, передавать импульс и директивы, организовать и дисциплинировать революционный порыв в целях революционной битвы. В этом и кроется тайна слабости Коммуны и ее бессилия, а в результате—и причина ее поражения.

Рассмотрите приведенные нами протоколы заседаний в Ратуше, а также и дальнейшие, и вас поразит следующее обстоятельство: постоянный приход и уход делегаций, совершающийся во время заседаний; прием Коммуной делегаций от различных служащих, отправка Коммуной делегаций к тем же самым служащим.

29 марта, во время вечернего заседания, в качестве парламентаров в Ратушу явились делегаты служащих в октруа. В заседании 30 марта (после обеда) делегирован был на почту Тейс, а Беслэй—в банк. В тот же день, в ночном заседании, Мортъэ и Бильоре получают поручение захватить кассу хлебопекарен.

Такого рода инциденты, как, например, появление служащих в октруа для торжественного заявления о их преданности Ком-

муне, доказывают, что другие служащие повиновались внушениям, исходящим из Версаля, что они покидали свои посты и что неповиновение распространилось повсюду. Во втором заседании 30-го марта Жюрд так резюмировал положение дела: «Все суммы, взысканные различными службами в Париже, отправлены в Версаль. Если промедлить принятием решительных мер, то завтра же все службы окажутся дезорганизованными».

Этот пункт заслуживал самого строгого внимания. В сравнении с ним все остальное являлось пустяками: все эти попытки мэров, доверивших белой официальной бумаге свои чувства злобы и ненависти, не встречавшие отклика в окружающих; все эти прямые или скрытые происки Центрального Комитета, который пробует по кусочкам возвратить власть; досаду на себя за то, что так скоро и так всецело расстался с нею.

Если-бы Коммуне удалось организовать власть, правительство, предписания которого передавались-бы и исполнялись, она могла-бы продолжать свое существование, она укрепила-бы; она легко подавила-бы всякое сопротивление внутри стен, указала-бы каждому его место, ве, нула-бы каждого к его роли, и в первую голову Центральный Комитет национальной гвардии. Оппозиция и значение этого Комитета в отношении даже той Коммуны, какой она являлась в действительности, очень сильно преувеличены. Эта оппозиция только-только что мучила поверхность воды, она взбаламутила только некоторые заседания, в особенности же первые, когда делегаты Комитета, еще зли мэра Ратушу, пытались оспаривать у избранных представителей Парижа клочки прежнего влияния. В сущности, эта оппозиция никогда не приводила к серьезным последствиям. Самое большее, что можно сказать, это, что впоследствии советы легионов, представлявшие собой Центральный Комитет в каждом округе, способствовали замедлению столь необходимой концентрации всех военных властей в руках военного делегата Коммуны. Во всяком случае, если-бы Центральный Комитет встретился с такой Коммуной, которая была-бы приспособлена к ведению дел и к руководству ими, он немедленно отбыл-бы всякую попытку соперничать и подчинился-бы; он распустил-бы себя, что было-бы самое лучшее, или-же ограничился-бы своими специальными функциями «великого семейного совета», как любил называть его речистые ораторы.

Но этот настоятельно необходимый труд переделки и восстановления, тяжелый во всякое время, являлся невозможным при тех исключительных условиях, в которых действовала Коммуна.

Изю дня в день полукраемая настоятельными потребностями, Коммуна должна была реорганизовывать всякого рода общественные учреждения; не говоря уже о военной администрации и наблюдении за мастерскими и производством военных снаряжений и фабрикацией и починкой оружия, ей приходилось реорганизовывать большинство общественных учреждений: козенные и прямые налоги, таможи, пошлины, государственные имущества, почту и телеграф, деньги, гербовый сбор и Национальную типографию; кроме того службы городского хозяйства: администрацию мэрий, октруа, благотворительные заведения, образование. Прибавьте к этому еще и полицию, потому что, как-бы там ни было, после всего случившегося нельзя было невозбранно позволять версальским агентам конспирировать в кафе на бульварах, в редакциях газет и даже в самих совещаниях Коммуны. Прибавьте еще к этому судебную администрацию и—так как Париж оставался Парижем—надзор за музеями и библиотеками, охранение и содержание всех художественных и литературных богатств, собранных в столице. К довершению всего, существовала еще более настоятельная забота: Коммуна должна была кормить свой народ, два миллиона людей; ей приходилось обеспечить этому громадному желудку ежедневную пищу при помощи регулярного подвоза съестных припасов; она должна была также выплачивать ежедневно жалованье национальной гвардии—450.000 франков; наконец, она должна была организовать военную борьбу, за всем присмотреть на укреплениях и на фортах, в госпиталях, в перевязочных пунктах, в арсеналах. Она должна была все видеть, чтобы все знать, и все создать в двадцать четыре часа, немедленно, потому что минуты в то время равнялись годам.

Труд громадный, колоссальный, способный привести в отчаяние самых решительных, самых уверенных в своих силах людей! Чтобы его взять на себя с некоторыми шансами на успех, необходимо было, чтобы Коммуна заранее была уверена в полном содействии сотен и тысяч преданных, развитых и способных сторонников. Расчет на этих сотрудников не оправдался, когда дело дошло до действия. Правда, в распоряжении Коммуны имелся значительный контингент прежних мелких служащих, которые, несмотря на настоятельные требования и угрозы Тьера, не покинули постов, вверенных их заботам. Это были служащие октруа, которые как мы видели, явились 29-го марта в Ратушу; почтовые чиновники и их помощники, в которых Тейс, заместитель Рампона, нашел деятельных и ревностных сотрудников; низшие служащие в мэриях, которых члены Коммуны, ставшие

администраторами в своих округах, нашли готовыми помогать им с примерным усердием; эти и многие другие из числа честных и скромных тружеников различных национальных и муниципальных учреждений решительно отказались повиноваться первому приказу Собрания деревенщиков, которое, потеряв всякий стыд, предписывало им пересылать регулярно в Версаль всякого рода поступления, принятые ими в кассах Парижа. Они не подчинились также и второму декрету, подписанному министром внутренних дел Пикаром, которым им повелевалось прибыть в Версаль, под страхом отставки и лишения прав на пенсию, и гарантировалась, в случае их послушания, уплата всего жалования «до восстановления порядка». «Сница в руках—лучше журавля в небе», говорили себе многие из этих людей, желавших есть свой хлеб там, где были их жены и дети и вся семья, и, кроме того, в качестве парижан и людей из народа, не боявшихся оставаться на стороне Парижа и народа.

Все это составляло 20—25.000 верных, сочувствующих агентов, цифра несомненно внушительная, но фактически имевшая ценность лишь постольку, поскольку рядом с нею и над нею имелся-бы еще второй неизбежный элемент, необходимый, чтобы пустить в ход и координировать деятельности низших агентов, сплотить их кадры и руководить ими. Этот-то второй элемент и эмигрировал в первые-же часы, и до самого конца его именно и не доставало Коммуне.

Версальская реакция знала, что всякая коллективность, военная или гражданская безразлично, не может обходиться без кадров, какой-бы преданностью и опытностью она ни отличалась, что, раз эти кадры разбиты или просто раз'единены, эта коллективность фатально, несмотря на всю свою добрую волю, обращается в бестолочь, делается неспособной исполнять свое назначение. Реакция знала также, что для приведения механизма в негодное состояние не надо в большинстве случаев портить самую машину, а достаточно лишь обрезать ремни и шкивы передач, соединяющих ее с мотором. В течение последней недели марта версальские правители употребляли все свои усилия для достижения этой именно цели: разрознить административные кадры, сманить начальствующих отдельными отраслями, и надо признать, что они достигли полного успеха. По истечении недели в Париже не осталось и следов той средней бюрократии,—промежуточного звена между высшим управлением и агентами непосредственного исполнения необходимого переводчика,—которая всегда будет необходима, пока будут существовать администрация, правительство, государство, и которая и для

Коммуны была так же необходима, как и для всякой иной власти. Выдрессированная восемнадцатью годами империи и приученная к пассивному повиновению и к отвращению к массам, эта бюрократия повиновалась, как какая-нибудь стая лягавых собак, свистку Тьера и, ограбив общественные кассы, которыми заведывала—на это был дан особый приказ,—она устремилась с поражающей поспешностью в Версаль. Можно думать, что в этом бегстве было лишь пол-беды, так как очень вероятно предположение, что в случае, если-бы эти беглецы остались на месте, они все сделались-бы изменниками. Конечно, в их бегстве не было-бы ни малейшего несчастья, даже наоборот, если-бы Коммуне удалось без промедления найти им заместителей, но заместителей-то этих она и не нашла. Буржуазные и образованные классы, вообще склонные занимать места, так умело всегда расписывающиеся в получении бюджетных ассигновок, держались в этот момент странно выжидающе и осторожно. Некоторые молодые люди из общества, правда, предложили свои услуги в течение первых дней, но уже весьма скоро они сгустились с горизонта, прекратили просьбы о местах, даже не показывались.

Дело в том, что Коммуна надеялась и желала быть дешевым порядком управления. Она не сулила золотых гор тому, кто считал за честь носить ее мундир. 500 фр. были высшим вознаграждением, которое она соглашалась выдавать своим сотрудникам, и этот максимум она назначала очень скупно. Ее члены не получали лично за свой счет более 15 франков в день, а всякое совместительство при этом строго запрещалось. С другой стороны юные буржуа, явившиеся побродить около 29-го марта в кулуарах Ратуши, не замедлили убедиться, что у нового правительства иной запах, чем у его предшественников: они понюхали народ, рабочий класс и почувствовали запах, оскорбительный для деликатных носов. Неужели подобный режим долговечен? Сомнение было возможно и, как результат его, благоразумие советовало им не садиться на его галеру, на каторжную галеру, как это уже предвидели трусливые или наиболее дальнзоркие люди.

Вследствие тех же причин Коммуне не доставало также, в равной, если еще не в большей степени, и высшего персонала руководителей, того элемента, который по своему существу служит профессиональною связью между центральной властью и различными службами, сообщает этим службам импульс и наблюдает, чтобы единичные усилия всех составных отдельных частей согласовались с намеченною правительством целью. Этот персонал Коммуна могла получить, и то только частично,



направляя собственных своих членов, взятых притом из числа наиболее приспособленных и лучших элементов, на такие посты, которые до известной степени не могли быть совмещаемы с их мандатами избранных представителей в Коммуне; и таким образом эти своеобразные совместители нового сорта вынуждены были заниматься специальными делами, были прикреплены к ним и благодаря этому были ограничены в своей деятельности и не могли так всецело, как это следовало бы, заниматься политическими делами, которые прежде всего и лежали на их обязанности. Например Варлен, командированный в интендантство, Тейс—на почту, Беслэй—в Банк.

Все это в своей совокупности означало, что Коммуна, против которой заключили заговор как бы сами события и несомненно люди, попала в безвыходное положение, и что ей ни к чему не могло послужить то обстоятельство, что за нею стояли 200.000 избирателей и 100.000 штыков; она не могла расплачивать этими силами, не могла распределить и организовать их, хотя и предвидела в перспективе те тяжелые испытания, которые явно надвигались. Это только что избранное, только что родившееся новое правительство кажется изолированным, без связей, отрезанным от всякого сношения с окружающим миром, даже с миром друзей и приверженцев. Обычные способы управления и действия, привычные и традиционные, отсутствовали, и у Коммуны не было ни времени, ни материала, в особенности же материала, чтобы выработать себе более подходящие другие способы. Республиканская высшая и средняя буржуазия, которая могла бы снабдить Коммуну этим материалом, проявляет уклончивость и отказывается; она мало заинтересована в том, чтобы совместно работать в таком деле, которое, как она сознает, не является ее собственным, и участвовать этим как бы и в его последствиях, в противоречие с собственными узкими и эгоистическими убеждениями. Что же касается пролетариата, то он еще недостаточно образован и сформирован, он еще чрезмерно во власти невежества и бессознательности, чтобы мог снабдить правительство, хотя и вышедшее из него и с которым он чувствует общность мысли и намерений, способными административными силами, техническими умелыми и образованными энергичными людьми, в которых это правительство нуждается, которых оно вызывает, которые нужны ему настоятельно и прежде всего.

В это время рабочие находились еще в первоначальном периоде того движения, которое должно их привести и приведет к полному освобождению. Пролетарская идея, как уже

созревшая, возмужалая и вполне сознательная, выражалась в это время на трибуне, в клубах, в судах, куда ее таскала буржуазная юстиция, а также в газетах, в брошюрах и в книгах. Над ней задумывались, потому что ее уже ранее высказывали Сен-Симон и Фурье, Бланки, Прудон и Карл Маркс. Ее преддумывали. Но этим пока все и ограничивалось и дальше не шло; она остается пока еще словом; она еще не стала дорогой идеей, т. е. воспитательным фактором. Парижский рабочий класс,—а еще менее по понятным причинам провинциальный— в это время только-только еще начинает кое где создавать из своей среды автономные организмы; он осуществит эту идею сначала в туманной ее форме, а затем, стремясь упрочить функции производства и распределения богатств применением нового способа, соответствующего процессу общей эволюции, он станет прогрессивно лишать всякого смысла конкурирующие учреждения враждебного класса и реализовать элементы будущего общества. Пусть Интернационал и его известность, созданная ему его хулиателями, не вводят нас в заблуждение: в эти годы, в частности в 70 г., существовали только абрисы будущих пролетарских учреждений: несколько обществ сопротивления, несколько синдикальных палат, набросков будущих крупных корпоративных федераций наших и будущих дней, несколько «M a r t i n e s», зачатков блестящего расцвета кооперации на коммунистической основе, того, что даже и в наше время только еще начинает осуществляться. Не имея учреждений, рабочий класс не имел и готового персонала и не в состоянии был предложить того, чем сам еще не располагал. Он отдал Коммуне все, что он имел: руку, способную держать ружье и стрелять из него, глаз для прицела; свою кровь, свою жизнь; более этого он ничего дать не мог.

Таким образом мы пришли к двойному и притом горькому выводу: революция, пользуясь прежними способами, не могла быть плодотворной, потому что буржуазия, оставшаяся, благодаря своим способностям, существенным фактором движения, отказывалась встать во главе его и завоевать еще новый этап; революция же, которая воспользовалась бы новыми способами, еще не была возможна, потому что пролетариат, который должен был явиться ее реализатором и деятелем, только впоследствии научится лить и ковать то усовершенствованное оружие, которое необходимо для его борьбы.

Вот, по нашему мнению, то истинное препятствие, на которое натолкнулась Коммуна, препятствие, которое она не могла ни обойти, ни осилить.

В начале этого очерка, если читатель помнит, мы говорили, что Коммуна запоздала на шесть месяцев и возникла тогда, когда подходящий момент уже миновал. Теперь яснее видно, почему мы утверждали это. Это потому, что за полгода до этого, в сентябре или октябре 70 г., Коммуна не встретила бы тех затруднений, под давлением которых она изнемогла в марте 71 г., тех препятствий, которые мы старались показать и отметить на предыдущих страницах. В период обложения Парижа пруссаками обстоятельства явились, конечно, более трагичными для всякого правительства; но они были вместе с тем менее опасными. Владея Ратушей, революционная Коммуна внушила бы к себе уважение. За нее говорило бы не только единство мысли и действия, недостававшее выбранной Коммуне, но она располагала бы также всеми обыкновенными и экстраординарными средствами, чтобы заставить себя слушать, следовать за собою, служить себе. Она пользовалась бы властью, такой же неоспоримой, какою была власть людей 4-го сентября. Она наложила бы свою руку, смелую руку, на неповрежденный еще административный механизм, ни одно колесо которого не могло быть ни вынута, ни испорчено.

Капитан корабля во время бури, за тысячу миль от берегов, между грохочущим небом и взбаломученным морем, является на палубе единым «владыкою после Бога». Париж и был таким судном, разбитым германским валом, не видевшим под дождем ядер и бомб ничего, кроме все увеличивающегося потока, разливавшегося с востока и с севера и уже затопившего вокруг него на сто и на двести километров французскую территорию. Против капитана корабля «Париж», назывался ли он Коммуной или какнибудь иначе, во время этого шторма кто же из экипажа был бы настолько дерзко-смелым, чтобы решиться восстать? Какое могло быть в то время для этого негодая, или для этого смельчака, прибежище, где была его доска спасения, его пристань, его Версаль? где заплатили бы за дезертирство и измену? Никто, несомненно, не уклонился бы от исполнения предписаний, ни среди гражданских, ни среди военных лиц. Начиная с приказчика и кончая директором, от адъютанта и до генерала—всякий бы подчинился и оставался бы на своем посту и на своей должности. И если бы Коммуна сумела оживить экипаж корабля, т. е. борцов осажденной столицы, горячим воодушевлением сопротивления до последней капли крови, если бы ей удалось придать защите могучий импульс, который превратил бы ее в нападающего мстителя, она повелевала бы всем—событиями и людьми!

Она явилась бы правительством вооруженного народа, вставшего против нападающего прусского капитализма крестовым походом национальной независимости под знаменем республики. Ничто не могло воспрепятствовать ей в этом случае кроить, не стесняясь, все, что угодно, пойти, по своему желанию и намерению, по пути глубоких и бесповоротных социальных преобразований и установления режима все уравнивающего демократизма. Коммуна, т. е. партия революции, имела бы на руках, как и в 1793 г., все главные и решающие игру юзыры в войне против завоевателей; и из этой войны, благодаря безусловной концентрации власти, подавившей все внутренние сопротивления и подчинившей себе все честолюбивые энергии, на почве победы нации над чужеземцем выросла бы победа Будущего над Прошлым.

Но довольно говорить о Коммуне, которая не осуществилась; вернемся к Коммуне, которая существовала, которая билась в пустом пространстве и тратила свои силы в бесполезных и безнадёжных усилиях, участвовать в которых буржуазия отказалась, а пролетариат не мог сделать ничего иного, как умереть.

Учреждая многочисленные комиссии, названия и состав которых упомянуты выше в протоколах вечернего заседания 29-го марта, Коммуна пыталась выбраться из хаоса, в который, как она чувствовала, она погружалась; она пыталась ввести некоторый порядок во всеобщее расстройство и какуюнибудь власть в разные сферы жизни—материальной, интеллектуальной и духовной—громадного Парижа, оставленного ей Тьером, как тяжелое бремя. Мирные дела, дела военные, муниципальные и национальные службы—она все взяла на себя. Это было единственным исходом, потому что она была одинока.

Одной из этих комиссий, постоянной исполнительной комиссии, поручена была главная и особенно неблагоприятная роль объединения всех отдельных функций и исполнения всех декретов и решений собрания. Таким образом, исполнительная комиссия являлась настоящим правительством Коммуны, и в ней, скорее, чем где бы то ни было, и яснее всего обнаруживались опасности и затруднения положения, обнажалась та ужасающая изолированность, о которой мы уже говорили. Члены исполнительной комиссии сознавали необходимость в напряжении всех пружин механизма до крайней степени, но они убеждались, что пружины эти искривлены, испорчены, сломаны и что перед ними только груда лома, не годного к употреблению. Они принимали решения, отдавали приказания, но вокруг них

никого не было, кто бы передал на периферию и исполнил эти решения. Необходимо было быть в курсе всех дел, а они ничего не знали. Они не получали никаких серьезных, точных и подробных извещений. Они судили на основании возможностей, создавали планы, руководясь рассказами. Никогда не являлось большей необходимости в руководительстве; они сознавали это и желали его, но никогда это не было так мало исполнимо. Очувтившись в положении мэтр-Жака революции, им приходилось быть одновременно и диктаторами и жандармами; таким был, например, Тридон, который собственноручно должен был захватить военного делегата Кюзерэ, которого он и Вальян решили арестовать. Короче, они бродили в густом тумане, ошупью отыскивая путь и не зная, встречали ли они на этом неизвестном пути друга или врага, товарища по борьбе, или изменника, коммунара, как и они сами, или версальского агента.

Как ни безнадежна, впрочем, была начатая партия, но она была начата и ее надо было разыграть. Казалась ли ставка уже заранее проигранной, или нет,—а этой ставкой была не более и не менее как свобода и жизнь целого народа,—но отсрочить игру было невозможно. К тому же иллюзии так заразительны в воодушевлении действием и в пылу битвы, что самые светлые умы, соприкасаясь с возбужденной толпой, теряют ясность понимания, сами обезумевают и начинают лелеять себя надеждами вопреки всякой очевидности. Так и в среде лиц, окружавших Коммуну и ее исполнительную комиссию, никто не сомневался в победе; замечалось единодушное убеждение, что Версаль будет раздавлен, если он начнет враждебные действия, что регулярная армия не будет в состоянии сопротивляться натиску национальной гвардии, что армия разбежится, поднимет ружья прикладами вверх.

В Париже, как мы уже сказали, не все население активно симпатизировало Коммуне: средний класс уже занял равнодушно выжидательное положение, но, во всяком случае, даже в рядах буржуазии в эти последние дни марта и в первые дни апреля не было никого, кто бы держал сторону Тьера и его банды. Правительство деревенщины заслужило всеобщую ненависть, презрение и плевки. Чтобы вполне убедиться в этом, достаточно пробежать, не говоря уже о газетах, явно поддерживавших дело революции, те 15 или 20 политических газет всех направлений, которые выходили в эту эпоху в столице. Органы крайней правой молчали, остальные же официальные представители буржуазных интересов держались по меньшей мере бес-

партийного и объективного направления, доказывая этим, что их читатели были настроены выжидательно и не потерпели бы одобрения делу реакции, которое, начавшись в бордосском Собрании, продолжалось в Версале.

Наоборот, первые шаги Коммуны встречены были даже скорее сочувственно, не только в пролетарской среде, но и в слоях промежуточных: торговцами, лавочниками, басонщиками, которых было так же много, как и теперь, даже, пожалуй, больше.

Прокламация, с которой Коммуна обратилась к населению, понравилась. Она написана была живо, политично, без выражения каких либо теорий, без высокопарного нагромождения принципов и доктрин. Она представляла факты в истинном их значении и скромно указывала на принятые уже и на намеченные в будущем меры для облегчения наиболее жгучих бедствий, от которых страдало все население, на такие меры, которые не лицепрятствовали ни отдельному классу, ни отдельным личностям. Что эти меры должны были особенно благотворно повлиять на беднейшую часть населения, на пролетариев, живущих на заработную плату,—в этом не было никакого сомнения. Однако, и другим социальным категориям: мелким рантье, мелким хозяевам, служащим, торговцам эти меры тоже были выгодны. А уже через сорок восемь часов после этого, подкрепляя общезначное и переводя эту прокламацию на язык актов, появились и декреты.

Декреты эти касались вопросов момента, бедствий, разгрома, разорения и нищеты, вызванных войной и осадой. Они имели в виду разрешить безотлагательные вопросы, парижские вопросы, которые разрублены были Национальным Собранием в ущерб Парижу, но которые в силу здоровой политики и строгой справедливости следовало-бы, наоборот, разрешить в его пользу. Обнародованы были декреты о квартирах, о сроках долговых обязательств, о национальной гвардии, о ссудных кассах.

Относительно квартир Национальное Собрание заявило: «Права собственности священны. Квартиронанимателям не будет прощен ни один франк, ни один сантим». То есть: чтобы домовладелец и квартирант каждый сполна получили должное им; будут выгнаны и выброшены на улицу, без пощады и всякой отсрочки, все «бездельники», которые не в состоянии будут исполнить свои обязательства; проданы будут их последняя рухлядь и последняя мебель, вплоть до ремесленных инструментов включительно.

Коммуна отвечала: «труд прежде всего. Нелогично и несправедливо, если только одни владельцы недвижимых имуществ не пострадают от последствий войны». Абсолютная остановка в торговых сделках и в делах, в период и со времени осады, довела пролетария до последней крайности, а промышленника и коммерсанта до банкротства. Прежде чем дела примут нормальный оборот, пройдут дни и месяцы. Пусть в этом исключительном и незаслуженном кризисе собственность тоже участвует в общих жертвах, пусть она тоже несет свою долю общего времени, которое так тяжело давит и грозит еще долго давить плечи производителя. В виду этого Коммуна декретировала: «Общая отмена для квартиронанимателей уплаты в сроки платежей октябрьского 70 г., январского и апрельского 71 г. <sup>1)</sup>, перечисление сумм, уплаченных квартиронанимателями в течение этих девяти месяцев, в уплату за будущие сроки; отмена обязательной силы бонов по желанию квартиронанимателей на шесть месяцев».

Относительно сроков торговых платежей Национальное Собрание заявило: «Пусть погибнет парижская торговля, но пусть останется неприкосновенным торговый устав, особенно же пусть не пострадают барыши крупных аукционных барышников, учитываемые ими при реализации катастроф»,—и Национальное Собрание издало закон, который,—по признанию даже одного из его членов, реакционера из реакционеров, некоего Марциала Дельпи, давшего об этом впоследствии официальное показание на следствии о причинах инсуррекции 18-го марта,—приводил «значительную часть парижской торговли к неизбежному банкротству, т. е. к разорению и позору». Коммуна только 18-го апреля постановила окончательное и справедливое решение по этому вопросу; но уже с 1-го апреля она ответила деревенщикам, заявив, что не признает изданного ими закона и считает его как-бы несуществующим, что необходимо найти решение, примиряющее все интересы, и что она обращается с этой целью к различным обществам, которые одни только и могут быть судьями в этом вопросе, почему и запрашивает их о их мотивированном мнении. Общества эти были: рабочие общества и синдикальные палаты торговли и промышленности.

Относительно национальной гвардии Национальное Собрание, не проронив ни слова, ясно указало своими действиями

и неудавшимся государственным переворотом, что великая народная милиция, по его мнению, отжила свое время, что она должна разойтись добровольно, или ее распустят силою и что ему, Собранию, очень мало дела от этих жалких «тридцати человек» до жен и детей милиционеров; выдача жалованья будет прекращена, и работники будутдохнуть, как мухи, в ожидании найт на работу, если им вообще посчастливится найти ее; и вообще до всего этого ему, Собранию, очень мало дела. Коммуна отвечала: «Отмена воинского набора; национальная гвардия является единственной вооруженной силой внутри Парижа; все здоровые граждане считаются в национальной гвардии; она сохраняет жалованье до тех пор, пока будет продолжаться остановка работ, пока радикально не изменятся общие экономические условия».

Относительно ссудных касс Национальное Собрание тоже ничего не постановило. Что могло оно сказать? Сторонники Собрания были равнодушны к этой низкой форме спекуляции, гнусной во все времена, но особенно гнусной в периоды постоянных остановок работ, когда каждая вещь, заложенная семьею рабочего, с каждым днем прогрессивно впадающей в большие лишения и нищету, уже заранее являлась потерянной. Национальное Собрание, оставаясь верным своим принципам, должно было сохранить свободное функционирование этого печального учреждения. Коммуна, рассчитывая вскоре еще более улучшить дело, что действительно и исполнила, обнародовала 29-го марта декрет: «Параграф единственный.—Продажа предметов, заложенных в ссудной кассе, прекращена»,—и этим положила конец грабежу мошенников, торговцев подержанными вещами и торговков старьем, законно обогащавшихся на пожитках бедняков из бедняков.

Могло-ли в виду всего этого парижское население колебаться между Национальным Собранием и Коммуной?

Национальное Собрание—было враг, Коммуна—была друг. Коммуна, братская и внимательная, приносила то, в чем Собрание, чуждое интересам и враждебное, отказывало; эта перевязывала раны, а другое только и мечтало, как-бы растравить их. Собрание-победитель—это означало не только, что республика окажется в опасности или даже задушенной, но что и Париж попадет в карантин, будет проклят, оскорблен и беспощадно унижен. Наоборот, победительница-Коммуна—это значило, что республика утвердится, что будущее ее обеспечено, что Париж, дыша воздухом свободы, быстро восстановится из своих развалин и вновь займет свое место во главе страны. Все это

<sup>1)</sup> Во Франции и в Париже квартирная плага вносится не ежемесячно, а четыре раза в год, за три месяца вперед, в октябрьский, январский и апрельский «термы» (сроки). Пр. пер.

было ясно, как день, очевидно, как сама истина. Таким образом в эти первые дни все парижское население решительно склонялось на сторону Коммуны, за исключением лишь кучки капиталистов и их лакеев на жалованьи. Но и эти последние молчали, они как-бы замерли.

Одно новое обстоятельство еще более усилило раздражение против Собрания деревенщиков. Дело шло о дезорганизации версальским правительством последнего учреждения смешанного состава, одновременно и национального и муниципального, которое еще функционировало в столице, а именно почты и телеграфа. 30-го апреля директор Рампан, которому Тьер до этого времени разрешал оставаться на своем посту, получил предписание явиться в Версаль вместе со всеми его сослуживцами; и он, действительно, уехал украдкой, увлекая за собою часть своих наиболее сведущих подчиненных и оставив остальным приказ воздержаться от всякой службы.

В результате получилась пассивная забастовка: господа буржуа, когда дело дошло до необходимости защищаться, умели быть изобретательными и пустить все в ход! Париж снова был лишен сношений с провинцией.

Удар этот почувствовали все жители, но более всего он отразился на среднем классе, так как подходил срок апрельских расчетов и перерыв сношений произошел в тот момент, когда торговцы и промышленники только что начали оправляться и ценою тысячи затруднений пытались восстановить с провинцией и с границей коммерческие обороты, прерванные уже в течение семи месяцев. Утром 31-го марта ни газеты, ни письма не были разнесены адресатам. Помимо этого, все почтовые отделения были наглухо закрыты; почтальоны, обычно разбиравшие корреспонденцию, бродили по улицам без своих обычных сумок. Внезапное прекращение функционирования самого совершенного способа сношений, ставшего в силу привычки как-бы необходимым условием крупных человеческих общежитий, таило в себе что-то зловещее и устрашающее, тем более, что всякий задавал себе со страхом вопрос: не являлось-ли это прекращение только прелюдией еще большей катастрофы, вторичной осады, например, со всеми ее последствиями—бомбардировкой, рационами, голодом и пр.?

Тотчас-же после бегства Рампона в Коммуну явилась делегация торговцев. Лефрансэ с Тейсом приняли ее от лица исполнительской комиссии. Коммуна, само собою разумеется, не могла и не желала принять участие в попытке обратиться непосредственно к Собранию деревенщиков, но она разрешила делегатам

торговцев отправиться в Версаль и предложить там соглашение, на которое она заранее давала свое согласие. Проект этого соглашения почтовой службой, до нового расформирования, должны были заведывать уполномоченные, ~~выбранные совместно~~ парижскими торговцами и промышленниками. Кроме того, должны были быть назначены два контролера, ~~один Национальным Собранием~~, другой Коммуной; последние должны были наблюдать за поступлениями и делить их пропорционально установленным правилам между обеими правомочными сторонами: Парижем и государством. В сущности, это соглашение вело к нейтрализации почтовой службы, функционирование которой было бы обеспечено при всяких случайностях. Коммуна охотно шла на мировую сделку, благодетельную для общих интересов, но Версаль не последовал данному ему примеру. Тьер остался глух к просьбам посланцов, которые ему были переданы по телеграфу. Он почти грубо отказал в них, не постаравшись даже замаскировать притворной доброжелательностью полное свое пренебрежение к нуждам столицы, не заботясь о том, являлись-ли эти нужды потребностями «низкой черни» или среднего класса. После этого Коммуне оставалось лишь попытаться самой бороться с этим злом, доведя его до возможного минимума. Она это и сделала, назначив на место Рампона заведующим почтамтом Тейса. Рабочий Тейс выполнил поручение прекрасно: в течение 48 часов, с помощью собранного им персонала мелких служащих, он восстановил почтовые функции внутри города, а частные агентства взяли на себя обязанность облегчить, по мере возможности, сношения с провинцией.

Контраст между поведением двух властей, той, которая заседала в центре города, в революционной Ратуше, и той, которая сгоронила за двадцать километров от Парижа, во дворце старинной абсолютной монархии, проявился во всяком случае настолько резко, что даже самые ленивые умы были этим возмущены. В этот момент, как и 18-го марта, весь Париж, можно сказать, чувствовал опасность и имел ясное представление о враге, о таком враге, которого недостаточно уже было высмеивать в шансонетках и вышучивать, но против которого приходилось открыто выступить, которого следовало разбить, чтобы иметь возможность самому жить, дышать и двигаться по своему желанию. Гражданская война, которую многие до этого считали невозможной, становилась по мнению всех неизбежной, как роковое решение, как единственный выход из создавшегося положения.

## VIII. Тьер за работой.

Рассчитывал-ли Тьер, проводя свою убийственную политику, на рефлекторное возбуждение, которое должно быть вызвано его провокациями? Думал-ли он этим способом вынудить Коммуну на какие нибудь отчаянные меры? Это возможно, это даже несомненно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно будет привести его собственные слова и познакомиться с его интригами со дня его бегства, которое само объясняется его жестоким намерением довести конфликт до апогея и принудить революцию дать открытую битву. Что он участвовал также и в комедии, разыгранной мэрами, которые вели переговоры о выборах с Центральным Комитетом, это несомненно. Он очень хорошо понимал, что в этих переговорах не было ничего серьезного, и их результаты совершенно не беспокоили его, потому что он держал в своих руках нити от первых актеров партии порядка, которые лицемерили тогда на парижской сцене; это были Тирар, Ланглуа или Сэссе. Но как только состоялось соглашение между мэрами и представителями национальной гвардии, т. е. как только Париж вступил на тот путь, который принято называть законностью, что стал говорить и что стал делать Тьер? Его первой манифестацией было объявление войны. Он одновременно и клеветает и оскорбляет и уже заранее пытается дискредитировать приговор, который должны произнести избиратели. Уже в воскресенье, 26-го марта, он послал префектам циркулярную телеграмму, которая на другой-же день была воспроизведена всею провинциальной прессой: «Франция, смелая и возмущенная, спланируется вокруг правительства и Национального Собрания с целью подовать анархию. Эта анархия все еще пытается управлять Парижем. Соглашение, к которому правительство непричастно, произошло между так называемой Коммуной и мэрами и имеет в виду производство выборов. Они произойдут сегодня, вероятно, не свободно, а следовательно, и не будут иметь морального значения; пусть страна не беспокоится ими и имеет доверие. Порядок будет восстановлен в Париже, как и в других местах».

28-го марта—новый циркуляр, может быть не столь грозный, так как Тьер в этот момент струхнул; он сомневается: 230.000 избирателей, участвовавших 26-го в выборах, заставили его задуматься; но все-же тон циркуляра попрежнему полон недоверия и угрозы. «В Париже, говорит он, царит чисто материальное спокойствие».

«В выборах, участие в которых приняла одна часть мэров, не участвовали граждане, сторонники порядка. Там-же, где они решили голосовать, они получили большинство, которое они всегда получают, если захотят воспользоваться своими правами; посмотрим, что выйдет из этой груды беззаконий».

«... Во всяком случае, если правительство в видах возможности большей отсрочки пролития крови и медлило, то оно не оставалось бездейственным; таким образом, благодаря промедлению, те средства, которые предназначены для восстановления порядка, окажутся лишь лучше подготовленными и более надежными».

Таким образом, план Тьера состоял в том, чтобы изолировать Париж и возмутить против него Францию. Он отбрасывал всякую мысль о соглашении, осуждал даже надежду на него, интриговал с целью убедить страну, что парижане—разбойники и что с разбойниками не вступают в переговоры и не заключают сделок, что их просто уничтожают. Забвение миротворцам и примирителям и место всеглаголющей силе!

1-го апреля Тьер принял окончательное решение. Как мы уже сказали, он отрезал Париж от всех сношений с внешним миром, он задерживал всю корреспонденцию и конфисковал газеты; он знал теперь, что по ту сторону укреплений с этого момента будет раздаваться и будет слышен только один его голос. Он мог теперь спокойно лгать, и он воспользовался этим. В 12 ч. 45 минут дня он отправил своим префектам третий циркуляр. Через несколько часов он намеревался бросить на столицу свои первые атакующие колонны. Он цинично пытался опозорить своего противника прежде, чем заколоть его, с целью отвратить всякий порыв солидарности или просто сожаления, который рисковал бы отвести уже занесенный кинжал. Вот как он выражается в эту последнюю минуту: «В Париже Коммуна уже разделилась на партии; пытаюсь сеять повсюду ложные сведения и грабя общественные кассы, она бессильно мечется из стороны в сторону и внушает отвращение парижанам, с нетерпением ожидающим момента своего освобождения от нее. Национальное Собрание, сплотившись вокруг правительства, спокойно заседает в Версале, где уже заканчивается организация одной из лучших армий, которыми когда-либо обладала Франция. Итак, добрые граждане могут успокоиться и надеяться на скорый конец кризиса, который хотя и был мучителен, но за то был кратковременен».

Пресса, стоявшая за сохранение социальных устоев, а в эту эпоху она одна только и существовала, естественно еще более разукрасила эту тему, предоставленную ей Исполнитель-

ной властью. Париж в огне и в крови, в руках шайки уголовных преступников и каторжников, бежавших с галер всех наций, собравшихся там для разрушения и грабежа! Легенда, которая через два месяца облегчит резню и узаконит ее, уже народилась. Армия может теперь идти на Париж.

«Одна из лучших армий, коготоыми когда либо обладала Франция»—телеграфировал Тьер. Действительно, для старого реалиста все резюмировалось в одном пункте: иметь в своем распоряжении армию, иметь в распоряжении своего класса— армию, т. е. силу. До 18-го марта в этом состояла его главная забота, когда он мечтал о «подчинении» Парижа. После 18-го марта эта же мысль делается его пунктиком, его навязчивой идеей. На реорганизацию этой армии, этого пассивного орудия его кровавых намерений, он и направил тотчас-же все свои способности и старания. Об этом с похвалою свидетельствуют окружающие его лица. Но для нас важно главным образом его собственное признание, данное им в следственной комиссии и очень характерное во многих пунктах. Много смеялись над претензиями этого человека, считавшего себя каким-то рубакой и соперником Фридриха и Наполеона; он любезно перечисляет все тактические задачи, которые ему пришлось разрешить, все стратегические трудности, которые ему надо было побороть, он только и говорит, что о траншеях, подступах, эскадрах и контр-эскадрах, фланговом огне, навесных выстрелах, брешах, как будто-бы он читает доклад в какой-нибудь артиллерийской или в артиллерийской школе.

Этот grand homme, играющий в храбрца, казался смешным. Но так как его планы привели в конце концов к убийству тысяч и тысяч человеческих существ, то смеяться не приходится. Париж, если подумать, стоил Ваграма или Фридрихсфельда, в нем на поле резни было поднято столько же убитых. Маленький лавочник сумел хорошо поработать на бойне и имеет право выставлять себя Тамерланом перед этими горами наваленных тел. Не обладая широким, всеохватывающим умом, в чем судьба ему отказала, он обладал во всяком случае сильным и ясным умом, подсказывавшим ему, что только штыками, а не фразами, останавливают революцию, если вообще возможно ее остановить. Вопрос не в том, его-ли военные таланты способствовали взятию Парижа, или же это сделала измена, отдавшая ему город, или же, наконец, неспособность самой Коммуны. Верно лишь одно,— именно он реформировал армию, перековал ее, обновил оружие и, следовательно, вновь дал в распоряжение реакции силу и вновь доставил ей победу.

Мы видели уже эту армию в последние часы дня 18-го марта, когда она отступала по приказанию самого Тьера, который был озабочен главным образом тем, чтобы удалить ее из пекла, в котором она таяла на глазах, где два ее полка за несколько часов до этого, на Монмартре, уже растаяли. Приказ об отступлении внезапно застиг эту армию в тот именно психический момент, когда, без сомнения, не получив его, она безнадежно распалась-бы, рассеялась и перешла на сторону восстания.

Машинально она повиновалась и в течение ночи шла в Версаль; но, двигаясь туда, она упрямится, ее поведение двусмысленно и колеблющееся; она подвигается вперед, но она могла-бы и двинуться назад, вернуться обратно и свести счеты с своими начальниками, как их уже свели с генералом Леконттом, после полудня, солдаты 88-го полка. Тьер, стоя на дороге около Севра, смотрел на проходящие батальоны и эскадроны. Его испытующим глазам и внимательно прислушивающемуся уху внешние признаки указывали на состояние духа этой проходящей толпы: неплотные, растянувшиеся ряды, замедленный шаг, непрекращающийся ропот; во всем сказывалось скрытое возмущение. Лучше, чем кто-либо, он видел в этом общем расстройстве крушение дисциплины, он видел, что все эти люди идут только в силу укоренившейся привычки и что, если бы не жандармы, окружавшие и напиравшие на них, они разбежались-бы, побросав ружья, или направили-бы их против своих офицеров, против него самого.

Через две недели мы находим ту-же армию неузнаваемой, радикально переформированной. Прочная, связанная во всех своих элементах, дисциплинированная и поворотливая в руках командующего, с каждым днем она начинает все более напоминать былую армию, ту, которая победила на Трансмонэне и на июньских баррикадах, ту армию, которую империя в течение восемнадцати лет держала на шпоре против свободы и народа. «Одна из наилучших армий...». Тьер даже преувеличивает с своей точки зрения, очевидно, чтобы придать немного более мужества обезумевшей от страха буржуазии, но он не ошибается, когда думает, что машина для убийств уже хорошо исправлена и подмазана и что можно уже надеяться на ее удовлетворительную работу.

Без всякого сомнения Тьер главный и ответственный автор этой почти моментальной метаморфозы армии и с полным правом мог гордиться этим.

К каким-же средствам он прибегнул, чтобы достигнуть такого результата? Средства были самые старые и, без сомнения,

самые классические, но вместе с тем и самые надежные, к которым обращались вчера, обращаются сегодня и будут обращаться завтра, пока вся военная организация не будет окончательно изменена. Тьер очень подробно касается этого вопроса в своих показаниях следственной комиссии о 18-м марте, которые мы уже столько раз цитировали. Примененное лекарство было очень просто, и в сущности его заслуга состояла только в том, что он твердо держался за аккуратное его применение; но этого одного, правда, было вполне достаточно. Лекарство состояло в изоляции войск, в отделении их, чтобы развить в них специальный дух, дух профессиональных рубак, очень легко развивающийся, когда вооруженная часть отделена от внешнего мира и ей возможно доставлять, при нормальном ее питании, еще некоторые улучшения и лакомства в виде спиртных напитков и водки. Для достижения этой цели никакая предосторожность не казалась Тьеру излишней или ненужной. Но послушайте его самого: «Я отдал также приказ сконцентрировать армию и, главное, изолировать ее. Главные наши силы расквартированы были в Сатори с приказанием не пускать к ним кого-бы то ни было. Отдан был приказ стрелять во всякого, рискнувшего приблизиться. Со стороны Нелли я предписал Мон-Валерьену, находившемуся в руках храбрых людей, стрелять, не жалея снарядов, как только покажутся неприятельские массы. В то-же время я рекомендовал снабдить самым лучшим содержанием наших солдат. Я увеличил рационы, в особенности мяса, признанные недостаточными. Я был уверен, что при хорошем питании, при отдыхе и пребывании офицеров в одних помещениях с солдатами, войска преобразятся весьма быстро и достигнут весьма хорошего состояния. По окончании первой осады солдаты были оборваны, плохо экипированы; вид их был недовольный. Я был уверен, что все эти недостатки вскоре пройдут при деятельном и выдержанном надзоре за солдатами. Надежда меня не обманула, потому что уже через несколько дней армия получила ко всеобщему удивлению совершенно иной внешний вид». Так поступает хозяин со своими сторожевыми собаками, чтобы они слушались его одного и относились свирепо ко всему остальному миру. Он ежедневно приязывает их на цепь и наполняет едой их плоски. Применяется тот же режим, так как имеется в виду та-же цель.

Таким образом, в эти критические дни Тьер реформировал армию, как он этим хвастает, и буржуазная реакция никогда не в состоянии будет в достаточной степени отблагодарить его за это.

Но, во всяком случае, кто-то другой—надо быть правдивым—снабдил эту армию необходимыми ей элементами, дал ей возможность существования. Тьер приготовил только рагу из кролика, но кролика доставил другой. Этим другим был Бисмарк. Победитель Коммуны, впрочем, и сам признает это и делает это почти изящно. В своем показании он не отрицает, что пруссаки совсем не торговались о своем добром содействии и даже сам предупредил его требования и желания. «Несмотря на трактат, определивший контингент парижской армии в 40.000 человек, г. де Бисмарк согласился на усиление ее сначала до 80.000 человек, а затем до 130.000. Он сам дал нам эту возможность, возвратив значительное число наших пленных солдат, возвращение которых он было приостановил до этого в виду возникших недоразумений». Другой свидетель, показание которого в этом случае имеет одинаковую ценность с показанием Тьера, генерал Винуа, главнокомандующий версальской армией, дает еще большие подробности и указывает, что Бисмарк даже в частности старался помочь своим добрым друго-врагам. «Первые две недели, писал он <sup>1)</sup>, от 19-го до 2-го апреля, обе стороны употребили на организацию военных сил, которые должны были начать борьбу. Прежде всего необходимо было увеличить наличный состав армии, а сделать это можно было только с согласия пруссаков. Начаты по этому поводу переговоры увенчались полным успехом. Германский главный штаб, сделав доклад императору Вильгельму, согласился, чтобы армия, которая должна была отвоевать Париж у Коммуны, усилена была с 40.000 на 80.000 чел. Это число вскоре было еще увеличено на 20.000, и в момент, когда мы могли войти в Париж, так называемая версальская армия превышала 100.000 комбатантов. Она реформирована была главным образом при помощи многочисленных военнопленных, возвращенных нам Германией, и прежде всего офицеров, что позволило нам тотчас-же образовать коорды, в которые и вошли вернувшиеся вслед затем солдаты».

Такие свидетельства, однако, не мешали буржуазным борзописцам, имевшим претензию писать историю Коммуны, утверждать, что пруссаки помогали Парижу, относились к нему благожелательно, что они взирали благосклонным и как-бы братским оком на революционное движение. Пруссак так любили Париж и так благожелательствовали ему, что сами перерезали мяснику нож для резни. Ложь; таким образом, вполне

<sup>1)</sup> Генерал Винуа. «Перемирие и Коммуна»—L'Armistice et la commune (стр. 244—245).



очевидна, но, несмотря на это, ее будут повторять до тех пор, пока будет существовать капиталистический режим и официальная история, написанная лакеями этого режима. На самом деле, если-бы французская буржуазия не была неблагодарной, она должна была бы в виде благодарности поставить Бисмарку, своему спасителю, совместно с Тьером, памятник гденибудь на террасе Оранжереи или на Саторийском поле.

В описываемый нами момент, 1-го апреля, добрые услуги Бисмарка, вследствие краткости времени, не могли еще осуществиться в полном их размере, но уже с этого времени Тьер был вполне уверен, что, когда представится необходимость, у него не будет недостатка в пушечном мясе. Отсюда и эта великолепнейшая из великолепных его фраз, блистающая в его показании: «Как только мне удалось собрать 50.000 человек, я сказал себе, что настал момент проучить инсургентов». Момент этот приходится на 2-е апреля, и только что приведенное показание Тьера решительно устанавливает тот факт, что в это время, как и 18-го марта, «партия порядка» была нападающей стороной, провокатором, что она первая открыла огонь.

## IX. Вылазка 3-го апреля.

Было воскресенье, как мы уже упомянули; 10 часов утра; парикане фланировали и ротозейничали, беседуя за столиками в кафе, перед прилавками винных кабачков; хозяйки шли за провизией или возвращались домой, гамены играли на тротуарах; внезапно, изумленные, удивленные, все услышали раздавшийся вдали пушечный выстрел. Иные подумали: это забавляются артиллеристы Монмартра; другие: это немцы шумно празднуют память какого-нибудь своего святого. Но нет: грохотание пушек слышалось с запада, из Курбевау или Нейльи. Никого сомнения, это наступление армии деревенщиков, это первые версальские снаряды, направленные в укрепления. Конечно, уже в течение нескольких дней на аванпостах в Курбевау, в Медоне и Клараре караулы национальной гвардии и версальцев обменивались отдельными выстрелами; но эти столкновения не имели значения и не осложняли положения; они не являлись чем либо предзнаменованием, не исключали — или не имели вида, что исходят, — из систематического и обдуманного плана. И после них положение оставалось прежним: полупроснувшиеся солдаты, которых оставался в городе целый легион, попрежнему в ожидании сигнала к припадению и наступлению.

Но в это утро 2-го апреля положение изменило свой внешний вид. Плотные массы, с артиллерией и кавалерией, с обозом и походными лазаретами, т. е. армия в походном порядке двинулась к Парижу. Орудия ревели, указывая на твердое решение контр-революции опираться лишь на силу, и этим как-бы санкционировали конфликт. Решительный шаг был сделан; начиналась гражданская война.

Вот как произошла атака. В 8½ часов утра отряд жандармов приблизился к мосту Нейльи, занятому несколькими национальными гвардейцами, и попытался завладеть проездом. Он был отбит и в его отступлении его преследовали два или три батальона федералистов, из которых 37-й, из Пюто, присоединился к парижанам. Получив подкрепление, жандармы остановились, и в течение трех четвертей часа с обеих сторон стреляли залпами повзводно; огонь был очень убийственный. Национальные гвардейцы держались стойко, когда вдруг в их ряды посыпались гранаты. Это введены были в дело пушки и митральезы, поставленные Винуа на гласисе Мон-Валерьяна. У федералистов орудий для ответа не было; их охватила паника, и в беспорядке они перешли на другой берег Сены. Здесь офицеры вновь собрали их за баррикадой, прикрывавшей въезд на мост со стороны правого берега, и ружейная перестрелка возобновилась.

В то время, как быстро развертывались отдельные перипетии этой стычки, версальские войска заканчивали на некотором расстоянии отсюда свое сосредоточение. Дивизия Брюа, прошедшая через Виль д'Аврэ и Монтрету, соединилась с бригадой, спустившейся через Сель-Сен-Клу, Буживаль и Рюейль, имея на своем левом фланге кавалерийскую бригаду Галлифе. С откосов Мон-Валерьяна Винуа передвинул свои орудия по направлению к Курбевау, являвшемуся главной целью его атаки, и пустил в атаку 74-й пехотный полк на баррикаду перекрестка, которую защищали несколько сотен федералистов. Встреченный федералистами в упор, 74-й полк, несмотря на поддержку артиллерии, должен был отступить и разбежаться; необходимым оказалось личное вмешательство Винуа, бросившегося на шоссэ, чтобы вновь построить полк. Тогда в атаку пошел батальон моряков, и баррикада была, наконец, взята моряками и 113-м полком, который в то-же время занял казарму Курбевау, когда как морская пехота утвердилась в Пюто.

Федералисты, подвзвленные превосходством сил, отступили до авеню Нейльи, но и она в мгновение ока была очищена вихрем снарядов. При этом многие батальоны, особенно 93-й Сен-Антуанского предместья, 118-й Бельвильский и 119-й из Валь де Грас —

сильно пострадали, а некоторые снаряды упали даже в самом Париже. Под защитой укреплений федералистам удалось вновь подстроиться, а с прибытием подкрепления из трех батальонов, прибежавших через ворота Майло, неприятель мог быть остановлен. К тому же, он, повидимому, и не намеревался на этот раз идти на приступ укреплений. Некоторое время после полудня обе стороны стояли друг против друга на занятых позициях, а к вечеру версальцы отошли в направлении Мон-Валерьяна.

Мы знаем, что в этом нападении участвовало 30.000 чел. Эта внушительная масса встретилась с простым заслоном федералистов в 3—4.000 человек тахиитов, собранных из Пюто и Аньера и лишенных всякой артиллерии. В исходе столкновения нельзя было, конечно, сомневаться. Версаль санкционировал и подчеркнул свою победу, тотчас-же расстреляв, без всякого суда, взятых в плен национальных гвардейцев. Эти первые убийства надо поставить на счет жандармерии, но также и армии, так как сам Тьер, который вскоре имел наглость отрицать эту короткую расправу, напечатал в телеграмме, помеченной «5 ч. вечера» того-же дня и адресованной провинциальным властям: «Ожесточение солдат достигло крайней степени и направлено было главным образом против uznанных дезертиров».

Между тем весь Париж оживился. Грохот канонады выгнал на улицы всех, даже самых равнодушных и мирных обывателей. В особенности волновались предместья. Всюду барабаны били сбор и тревогу. На всяком перекрестке собирались национальные гвардейцы, с ружьями на плечах, строились побатальонно и направлялись затем к западным укреплениям. Спешно туда-же перевозились орудия и устанавливались на бастионах. К пяти часам дня более ста тысяч вооруженных федералистов занимали главные улицы, прилегающие к Триумфальной Арке Звезды; они горели энтузиазмом, рвались в бой, требовали немедленной вылазки и жаждали перейти в наступление. За ними следовало много женщин, они возбуждали мужество мужчин и тоже готовы были идти на Версаль. Это был самопроизвольно возникший подъем, указывавший на чудную веру этого народа в благородство и возвышенность своего дела, говоривший о глубине революционного чувства, вспыхнувшего в нем и возбуждавшего его энергию.

Исполнительная Коммуна, заседавшая непрерывно, приняла первые меры, диктовавшиеся положением: она закрыла ворота и решила вооружить укрепления. Вскоре после полудня она обнародовала прокламацию, в которой извещала о нападении и клеймила его. «Роялистские заговорщики

произвели атаку. Несмотря на умеренность нашего поведения они атаковали. Не имея возможности рассчитывать на французскую армию, они атаковали нас, пользуясь папскими зуавами и императорской полицией».

Этот документ, составленный и обнародованный в этот критический момент, характерен тем, что, несмотря на настроение народа, толкавшее к противоположному решению, он не говорит о наступлении и не отдает приказаний о походе на Версаль т. е. о нападении. «Защитайтесь»—советует исполнительная комиссия и не говорит ничего больше. Это указание имеет свое значение, потому что от неудачной вылазки 3-го апреля зависели все последующие события, которые, переходя от одной неудачи к другим, должны были роковым образом довести Коммуну до окончательного ее подавления. В данном случае Коммуна не приказывала, она только подчинялась; она увлечена была движением толпы, которым она не могла ни овладеть, ни дать ему иной исход; она видела подводные камни, но бесстрашно была противиться желанию экипажа и не могла помешать управляемому ею судну направиться на них и на них-же и разбиться.

Это не подлежит сомнению, хотя ни в подлинных протоколах заседаний Коммуны, ни в отчете о заседании 2-го апреля, ни в отчетах о последующих заседаниях—мы не находим почти никаких следов прений, которые позволили-бы бесспорно установить позицию, занятую при этих столь серьезных обстоятельствах революционными представителями Парижа, а в частности членами исполнительной комиссии; о последней в сущности и идет речь, так как она должна была заведывать делами и на ней лежала вся ответственность. Что дело происходило именно так в этом нас удостоверяет уже упомянутая выше прокламация. То же подтверждает и рассказ о дне 2-го апреля, который мы находим в точном описании событий, час за часом, у Ланжюиса и Коррье, которые, как свидетели внепартийные и достаточно независимые, не вводили в свои суждения никакого предвзятого мнения кружка или отдельных личностей. Истина, вытекающая из анализа инструкций и фактов, такова: во-первых, вылазка избежать было нельзя, никакая власть не могла помешать ей или отсрочить ее; во-вторых, исполнительная комиссия,—внешнее проявление Коммуны и ее уполномоченный орган,—противилась вылазке насколько могла, но вскоре должна была уступить, когда помимо нее, не обращая внимания на ее оговорки и запрещения, которые, впрочем, остались неизвестны национальной гвардии, парижское население прямо ломилось напрям-

ми: и с завязанными глазами бросилось на жерла версальских пушек.

Вылазка! Это слово было постоянно на всех устах, она была всеобщим желанием. Даже те, которые еще утром верили в соглашение и в мир, участвовали теперь в общем опьянении и негодовании. Версаль вызывает, Версаль угрожает; необходимо немедленно наказать Версаль, терроризировать реакцию; необходимо, чтобы Париж остался победителем! В победе не сомневались, нужно было только идти вперед. Всякий стремился к вылазке, призывал к ней и подготавливался к ней: рабочие предместий нетерпеливо жаждали отомстить за товарищей, подлю убитых в Путо и Курбевау, как они только что узнали, и в тоже время поохотиться за роялистами Собрания; лавочники и торговцы нуждались в просторе для своих дел и чувствовали, что грубо надвигавшееся второе обложение поведет к их непоправимому разорению; военное начальство, смелое, но неопытное, которое не прощало себе, что 19-го марта оно упустило случай, надеялось, что еще и теперь возможно наступление, которое в то время, вероятно, увенчалось-бы успехом. Стремительная и неустойчивая, как поток, вылазка, о которой так много говорилось несколько месяцев до этого по отношению к пруссакам, вновь предстала перед всем этим народом, который не замечал препятствий и не верил в них; она предстала—как долг и как спасение.

Среди этой лихорадочной атмосферы, полной воинственного возбуждения, собралась около 3-х часов дня исполнительная комиссия. Она, как мы видели, состояла из семи членов, из которых четверо исполняли исключительно гражданские обязанности: Лефрансэ, Феликс Пиа, Тридон и Вальян, а троем поручено было вместе с тем и командование войсками: Бержере, Дювалю и Эду. Последние трое энергично настаивали на немедленной вылазке, ссылаясь на то, что весь Париж, как и они, одушевлен тем-же желанием ринуться на провокаторов. Гражданские члены комиссии и сами хорошо знали это, так как всего за несколько минут до этого они принимали делегацию даже от торговцев, которые тоже призывали к оружию для прекращения блокады столицы. Естественное побуждение воспользоваться этим всеобщим возбуждением, этим воинственным пылом, захватившим даже самых робких, не чуждо было, несомненно, и им; но они вместе с тем ясно сознавали, что шаг, который подготавливался, будет иметь решающее значение и будет бесповоротен. В виду этого они жаждали знать шансы Парижа сыграть эту ставку и хотели, чтобы он играл при возможно

большем числе козырей. Вот почему они спрашивали у генералов, которые говорили только о походе, у Дюваля, выражавшегося «Ну, что-же! Оставим там свою шкуру, вот и все!»—они спрашивали: «Готовы-ли вы? В порядке-ли орудия? Форт и Мон-Валерьен—будут-ли они стрелять и в кого? Разведали-ли вы пути и известны ли вам позиции неприятеля? Знаете-ли вы какое сопротивление вы встретите?» На все эти вопросы комиссия требовала определенных ответов, уверенности, обеспечения. Раздавить и рассеять силы реакции, организовавшиеся в Версале, пока они еще прочно не окрепли, комиссия, конечно, казалось более необходимым, чем кому-бы то ни было, но она хотела знать, исполнимо-ли это, не окончится-ли эта попытка непоправимым поражением? Отсюда и те ограничения, которыми комиссары обусловили вылазку, те условия вылазки, ограничительный характер которых Лефрансэ в своих «Воспоминаниях»<sup>1)</sup> может быть, черезчур подчеркнул, но которые в общем были именно такими, какими он их изображает.

Из этих условий вытекало, что военное начальство вполне можно было начать дело только после представления комиссии сведений о состоянии каждого батальона и всех сил в совокупности, находившихся в их командовании, при этом с указанием на их вооружение; о состоянии артиллерии, на которую можно было рассчитывать, и запасных орудий; после представления данных об инвентаре военных запасов, с указанием складов, короче, только представив доказательства, что национальная гвардия действительно способна действовать в открытом поле и может довести наступление до Версаля. Фактически, таким образом, выходило, что исполнительная комиссия не предписывала и не запрещала вылазки; она только допускала ее условно, но откладывала в данный момент.

Присоединяясь к решениям, сформулированным комиссией, военные ее уполномоченные действовали, понятно, вполне искренно; но произошло то, чего не могло не произойти. Возвратившись к батальонам, ряды которых непрерывно наполнялись новыми комбатантами, и вновь окунувшись в эту горячую и возбужденную среду, уполномоченные снова были властно захвачены общим настроением, которое являлось их личным мнением, даже более, чем простым мнением, их навязчивой идеей со времени победоносного дня 18-го марта. Затруднения, мелькнувшие на один миг в их уме вследствие замечаний их брете-

<sup>1)</sup> Gustave Lefrançais. Etude sur le mouvement Communiste (стр. 219—223), и Souvenirs d'un Révolutionnaire (стр. 404).

благоразумных товарищей, показались им несущественными и они видели перед собою только одну цель: настигнуть и уничтожить врага. Молодые, горячие, опьяненные безумной надеждой, они вообразили, что поставленные им комиссией условия выполнены и, не представляя ей потребованных ею доказательств, отдали приказ о выступлении, решив произвести вылазку на рассвете.

Эти военачальники не имели никакого плана, кроме весьма краткого, совершенно не разработанного. Национальная гвардия делится на три отряда. Правое крыло произведет сильную демонстрацию на Рюель, Буживаль и Шату, с целью вызвать передвижение неприятельских сил в этом направлении; в это же время центр через Исси, Медон, Шавиль и Вирофлэ, а левое крыло через Банье, Виллакублэ и Велизи двинутся на Версаль, оставшийся без прикрытия.

Для этого движения собрано было в конце концов 40.000 человек. Многие из тех, которые явились после обеда и вечером, вернулись домой усталые вследствие передвижений с места на место и ночи, проведенной без пищи и огня в густом пронизывавшем тумане. 20.000 человек расположены были на авеню Нейльи и на окружающих улицах, под командой Бержере и Флуранса; остальные части, под начальством Дюваля и Эда, расположились поблизости от Версальских и Ванвских ворот. Не было никакого центрального руководства никакого порядка, никакой дисциплины: всякий располагался по своему желанию, у любого знамени. Офицеров было мало; командование отсутствовало. Артиллерии было также мало: всего несколько пушек; походных лазаретов совсем не было. Не были приняты даже самые элементарные предосторожности. Не взято было никакого продовольствия, даже хлеба и сухарей, для раздачи участвовавшим в походе. Импровизированные генералы, взявшие на свою ответственность управление этой толпой, нельзя сказать—этой армией, совершенно незнакомы были с военным делом и не подозревали даже всех тех обязанностей, которые лежат на командующих отрядами. Их извиняло отчасти то, что они не верили в сражение, в сопротивление регулярных войск, или же рассчитывали встретить такое слабое сопротивление, что не стоило о нем и говорить. Разве исполнительная комиссия, членами которой они являлись, не опубликовала только что, основываясь на городских слухах, следующей изумительной прокламации: «Сам Бержере в Нейльи. Линейные солдаты все переходят к нам и заявляют, что, за исключением высших офицеров, никто не хочет сражаться». Таким образом федералисты, у многих из которых не было с собою даже

патронов, приготавливались скорее к военной прогулке, чем к сражению. Мон-Валерьен, этот добродушный гигант, занятый союзниками или почти что союзниками, стрелять не будет; пехота поднимет приклады; остальное—шуаны и жандармы—будет быстро рассеяно; федералисты вполне верили в эту детскую сказку, измышленную впервые сумасшедшим Люллоье и не опровергнутую никем впоследствии.

Движение началось около 3-х часов утра. Во главе 10.000 человек Бержере перешел мост Нейльи и через Рон-Пуань де Бержер вышел на дорогу в Рюель. Колонна шла весело, беззаботно, без разведчиков, когда внезапно загредел Мон-Валерьен, внося в ряды панику и расстройство. Передовые отряды ускорили шаг, чтобы выйти скорее из сферы артиллерийского огня, тогда как арриергардные части отступили назад в беспорядке. Колонна оказалась разрезанной. Бержере, не обладавший пониманием дела, но храбрый, попытался собрать беглецов и с этой целью приказал навести на грозное укрепление три несчастных пушки, привезенных им с собою. Конечно, силы были неравны; в мгновение ока два орудия были подбиты. Между тем две или три тысячи национальных гвардейцев пришли в себя от неожиданности и, под защитой холмистой местности, обогнули форт, продолжая движение на Нантерр и Рюель. Им удалось даже на некоторое время взять верх над кавалерией Галлифе и заставить ее отступить. Но около 10 часов главные силы версальской армии, которая, повидимому, не ожидала такого быстрого и открытого нападения, вступили, наконец, в дело. Бригада Доделя и бригада Гренье вышли по дороге Селль-Сен-Клу и Гарш, поддерживаемые кавалерией дивизиона Прейля и гусарами Галлифе, вновь перешедшими в наступление. Началась ружейная перестрелка. Национальная гвардия держалась стойко, несмотря на численный перевес неприятеля, пока не увидела, что ей угрожает с левого фланга бригада Гренье, совершившая длинное обходное движение и намеревавшаяся отрезать ей отступление. В этот момент на поле битвы явился Флуранс с 1.500 человек и, стремительно бросившись вперед, освободил Бержере. Отступление стало возможным. Национальные гвардейцы Флуранса и Бержере, укрываясь по мере возможности от огня Мон-Валерьена, направились в Нантерр с целью оттуда достигнуть Парижа. Но на половине пути между Рюелем и Нантерром их настигла версальская кавалерия; их колонна была разбита и изрублена саблями. Флуранс, бывший, как всегда, на самом опасном посту, был отрезан от своих и брошен на Шату всего с несколькими товарищами. Между тем

Бержере, с главными остатками того, что было его армией, удалось совершить отступление, он подошел к Сене и перешел обратно мост Нейльи, aproши которого в это время спешно укреплялись с целью оказать сопротивление надвигающемуся неприятелю.

В центре и на юге колонны федералистов испытали не лучшую судьбу.

Левое крыло (6.000—7.000 человек), под командой Дюваля, заняло ночью плато Шатильон. Днем, обойдя плоскогорье Медон, оно оттеснило кавалерийские аванпосты генерала дю Барайля до Виллакубле, всего в четырех километрах от Версаля. Но в этом пункте колонну встретил убийственный огонь солдат бригады Дерройа из окон вилл и из бойниц, сделанных в оградах парков. Чтобы выбить неприятеля из занятой им господствующей позиции, нужна была артиллерия, но у Дюваля не было ни одного орудия. Имея перед собою полк морской пехоты, поддерживаемый многими полевыми орудиями, и атакованные вскоре целой дивизией Пелле, батальоны федералистов должны были отступить и направились на плато Шатильон, чтобы провести там ночь.

Колонна центра (10.000 человек), под командой Эда, Ранье и Авриала, потерпела такую-же неудачу. Взяв сначала Мулино и Ба-Медон и дойдя до Валь-Флери и Бельвю, оттеснилась перед собой жандармов и городских, составлявших в этих местах авангард версальской армии, она должна была в конце концов отступить, встретив бригаду Ла Марнуа, поддерживаемую многочисленной артиллерией. К счастью в этом пункте линия отступления была удобнее и оказалась более надежной. Под защитой фортов Исси и Ванва, которые Ранье укрепил осадными орудиями, привезенными в галоп из Парижа, федералисты могли остановить наступление неприятеля.

В результате все это привело к полному и непоправимому поражению вследствие ошибок генералов, которые ничего не смыслили в военном деле и не сумели ничего ни предвидеть, ни скомбинировать, которые, вместо плана сражения, кричали только одно—вперед!, воображая, что храбрость и хорошее расположение духа начальников—такие качества, которые заменяют все остальное. Это было поражение, а также неизбежность для Коммуны перейти от наступления к защите, защите для нее убийственной, потому что революция осуждена заранее, если перед нею нет широкого, свободного поля действия. Она не может затягиваться, не утухая, подобно огню, который, чтобы погаснуть, должен все выше подниматься к небу, дышать кислородом

родом непрерывно возобновляемых и непрерывно расширяющихся воздушных слоев.

День 4-го апреля употреблен был версальской армией для довершения своей победы; армия версальцев рассеивала или отбрасывала последние остатки армии федералистов, которые по ту сторону линии южных фортов еще держались в поле. Дюваль, как мы знаем, отступил вечером 3-го апреля на Шатильонское плато. Вокруг него оставалась лишь кучка сражающихся; не было никаких естественных припасов, не было орудий. Что за беда? Он не сдастся. С пяти часов утра его атаковали бешено, с фронга дивизией Пелле, с фланга бригадой Дерройа; 10.000 против 1.500: Дюваль безуспешно попытался проложить себе дорогу к отступлению: черезчур поздно—он окружен. Генерал Пелле обещал сохранение жизни тем, кто сдастся, и побежденные бросают оружие. Батальоны национальной гвардии, занимавшие местечки Шатильон и Кламар, безуспешно пытались помешать разгрому. Несмотря на то, что генерал Пелле выбыл из строя, раненый осколком снаряда, генерал Ла-Мариюз взял Кламар и дошел до мельницы Пьер, остановившись только перед фортами Исси и Ванв, атаковать которые он не решился.

После победы—бойня; торжествующая реакция началась, не теряя ни секунды, те ужасные избиения, которыми отмечена была ее окончательная победа в Париже.

Пелле, как мы уже говорили, гарантировал жизнь пленным. Но, несмотря на это, его первой заботой явился расстрел тех из сражавшихся, в которых признаны были солдаты-дезертиры или которые показались таковыми. «Нас расположили кругом на плато, рассказывает очевидец, и приказали находившимся среди нас солдатам выйти из рядов. Их поставили в грязь на колени и по команде генерала Пелле, на наших глазах, беспощадно расстреляли этих несчастных молодых людей среди шуточек г.г. офицеров, поносивших наше поражение всякого рода грубыми и бессмысленными ругательствами. Наконец, после часа с лишним, в течение которого происходила эта расправа, нас поставили в ряды и мы направились по пути в Версаль, находясь между двумя цепями конных егерей. По дороге мы встретили капитулянта Винуа, в сопровождении его главного штаба. Он приказал, вопреки формальной обещанию, данному нам генералом Пелле, расстрелять наших офицеров, которые находились во главе нашей колонны и у которых были насильственно сорваны знаки их достоинства; тогда один полковник заметил Винуа, что его генерал дал обещание пощадить жизнь. Несмотря на это, Винуа не захотел выпускать всю добычу из

зубов. «Есть-ли здесь начальник?» закричал он.—«Это я! ответил Дюваль, я—Дюваль».—«Расстрелять его!»—приказал Винуа. Второй офицер вышел из рядов: «Я—начальник его штаба», сказал он; а третий заявил: «Я—его ад'ютант». Все трое бодро одним скачком перепрыгнули ров, окаймлявший дорогу, и приклонились к стене питомника, где и пали, изрешетенные пулями, с возгласом: «Да здравствует республика! Да здравствует Коммуна!» Какой-то мерзавец, кавалерист, снял сапоги с Дюваля, которые и утащил в виде трофея. От этого преступления Винуа потом отказался, заявив, что «названный Дюваль убит был в сражении»<sup>1)</sup>. Но истина обнаружена была другими—генералом Леффо и полковником Ламбером—в их показаниях следственной комиссии. Ее-же мы встречаем и под пером одного из сотрудников Винуа, который, говоря мимоходом, возвеличивает Дюваля, рассчитывая оклеветать его: «Что касается названного Дюваля, этого другого случайного генерала, пишет он<sup>2)</sup>, то по-утру он был расстрелян в Малом Бисетре вместе с двумя офицерами главного штаба Коммуны. Все трое с бахвальством встретили судьбу, которую закон готовит всем начальникам инсургентов, взятым с оружием в руках».

В Дювале погиб один из лучших солдат революции. Если у него и не было способностей профессионального генерала, то он обладал в значительной степени качествами вожака толпы, который ведет ее на приступ Тюльери и низвергает троны и Бастилии. Немногие люди пользовались такой властью над массами. Он был абсолютным владыкой в XIII округе. Могучий работник, как это и требовалось его профессией литейщика, он с первого-же раза привлекал симпатии и доверие лнующих к нему и беззаветно отдававшихся ему пролетариев, завоеванных его суровой и вместе с тем сознательной энергией. Никто не был-бы так нужен Коммуне, как этот молодой 30-летний человек, когда настали трагические часы уличной борьбы, во время которой его способность быстро ориентироваться и хладнокровная отвага несомненно сделали бы его избранным вождем, которого бы слушали и слушались.

Еще раньше Эмиля Дюваля, накануне, подобным-же образом пал другой деятель революции, которого Париж тоже любил и оплакивал,—Густав Флуранс. Он не был пролетарием; по происхождению и воспитанию он был из буржуазной среды;

Флуранс был сыном ученого, сам посвятил себя карьере ученого и занимался преподаванием во французском коллеже. Руководствуясь порою исключительно субъективными мнениями, как черезчур впечатлительный человек, он часто впадая в ошибки и не всегда умел согласовывать свою деятельность с общественным делом, совершавшимся вокруг него и преследовавшим более верные цели; но, несмотря на это, Флуранс душой и телом был предан рабочему и социалистическому делу, он полон был героической отваги, шел прямо на опасность и бросал вызов смерти. Он мог-бы весьма легко занять в мире привилегированных, к которому принадлежал по своему рождению и по воспитанию, счастливое и завидное место, но взамен этого при империи он был одним из непримиримейших республиканцев и самым нетерпеливым из революционеров. И при республике также, оставшись мятежником и всем сердцем примыкая к обездоленным и эксплуатируемым, он погиб, как говорит автор *G u e r r e d e s C o m m u n e u x d e P a r i s*, которого мы уже цитировали, «как преступный защитник прав народа». Это произошло при следующих, позорных для палачей, обстоятельствах.

С несколькими из своих бельвилльцев и со своим верным ад'ютантом Амилкарром Чиприани, Флуранс, отрезанный от колонны Бержере, отступлению которого он только что помог, направился в сторону Рюйеля. При входе в местечко он заметил гостиницу, куда и вошел вместе с Чиприани; заняв здесь комнату, он, усталый, бросился на постель. Не прошло после этого и часа, как постучались. Повидимому, хозяин гостиницы известил жандармов, патрули которых находились в окрестности, и жандармы явились. Флуранс тотчас-же проснулся и схватился за оружие; Чиприани сделал то-же, и они попытались проникнуть в дверь и бежать. Но было уже черезчур поздно: их окружили сорок жандармов; напали на них, оттеснили по лестнице, обезоружили и взяли в плен. Между тем под'ехал жандармский капитан Демаре. «А! так это вы, Флуранс, закричал он, стреляйте в моих жандармов»—и, поднявшись на стременах, ударом сабли он разрубил ему череп. Труп Флуранса был брошен на навозную телегу рядом с Чиприани, почти бездыханным и, принятым за мертвого, и отвезен в Версаль.

Дюваль и Флуранс были командующими; но солдат также не щадили. В этот день 3-го апреля Галлифе расстреливал без разбора всех национальных гвардейцев, попавших в его руки. В Шату—*G a u l o i s* в № от 4-го апреля подробно передает этот рассказ—Галлифе захватил трех федералстов: капитана, сержанта и простого гвардейца. Всех трех расстреляли без всяких

<sup>1)</sup> General Vinoy.—*Armistice et Commune*; стр. 374.

<sup>2)</sup> *La Guerre des Communeux de Paris, par un Officier supérieur de l'armée de Versailles*, стр. 133.

формальностей. Затем этот солдафон отправился в мэрию и написал следующую прокламацию, которая была тотчас-же объявлена с барабанным боем во всеобщее сведение. «Война объявлена бандитами в Париже. Вчера, позавчера, сегодня они убивали моих солдат. Я объявляю этим убийцам войну без усталости и пощады. Я должен был показать пример сегодня утром. Пусть он будет спасительным; желаю, чтобы я не был вновь вынужден прибегнуть к таким же крайностям. Не забывайте, что страна, закон, а следовательно, и право зависят от Версаля и Национального Собрания, а не от потешного собрания в Париже, называющегося Коммуной».

Если этот рейтар выражался с таким зверским цинизмом, то, конечно, он получил на это разрешение из Версаля, приказ которого состоял в том, чтобы обращаться с воюющими парижанами как с инсургентами и расстреливать их по своему желанию, без соблюдения каких бы то ни было формальностей. Главнокомандующий Винуа поступал таким-же образом и в другом конце битвы. Это служит доказательством, что правительство и версальское Собрание решили объявить вне законов войны и гуманности всякого, поднявшего оружие за Париж, и что в их планы входило методическое и систематическое избивание всех партизанов Коммуны. Позолоченная сволочь, спасающаяся бегством в город Короля-Солнца, толкала министров и генералов на этот свирепый путь, считая репрессию черезчур медлительной и черезчур мягкой, как об этом свидетельствуют рассказы несчастных, попавших в Саторийскую геену в эти дни безумства и крови.

«Невозможно описать прием, встреченный нами в городе деревенщиков, — рассказывает один из них, которого мы только что цитировали, говоря о расстреле Дюваля. — По низости это превосходит все, что возможно себе вообразить. Избиваемые, под ударами палок, среди града свистков и воплей, мы вынуждены были дважды обойти весь город, останавливаясь на известных пунктах, чтобы нас с большим удобством могла преследовать своими зверствами толпа шпионов и полицейских, толпившихся по обе стороны улиц, которыми нас проводили... Сначала нас отвели в кавалерийское депо, где мы стояли, по крайней мере, двадцать минут. Толпа рвала с нас наши плащи, кепи, манерки, ничто не ускользало от ярости этих бесноватых, опьяневших от ненависти и мщениия. нас называли врагами, разбойниками, убийцами, канальями и пр... Отсюда нас повели в казармы парижской гвардии. нас заставили войти во двор, где мы встретили господ, обливших нас градом отборнейшей

брани; затем, по команде своих офицеров, они с треском зарядили свои шашки, говоря со смехом, что перестреляют нас, как собак. Окруженных конвоем этой солдафонской черни, нас повели в Сатори и заперли в числе 1685 человек в военном складе. Изнемогая от усталости и лишений, при невозможности лечь, настолько мы были сдавлены друг другом, мы провели здесь две ночи и два дня, на ногах, каждый по очереди ложась на клочек сырой соломы и не имея другой пищи, кроме хлеба и вонючей воды для питья, которую наши г.г. караульные черпали в луже, в которую они же, не стесняясь, испражнялись. Это омерзительно, но это — факт»...

Реакция брала верх и возвращала Францию к первобытным временам, когда побежденного топтали ногами, мучили духовно и телесно зверь-победитель. Подчинить противника, обезоружить его, этого для него было недостаточно: ему нужно было бить его по щекам, плевать в лицо, пачкать его грязью и нечистотами, чтобы он казался презренным, противным, недостойным сожаления. Министр внутренних дел Пикар доводил до конца эту гнусную тактику, когда, сообщая Франции о версальской победе, он говорил о 1600 несчастных пленных, страдания которых мы только что описывали: «Никогда еще низкая демонология не представляла удрученным взорам честных людей более гнусных физиономий». Между этими «гнусными физиономиями» была и физиономия знаменитого географа Элизе Реклю. Без сомнения, нельзя еще глубже опуститься в омут злодейства и низости, чем опустились в эти дни Пикар и его господин — Тьер!

В Париже царило уныние. Коммуна пыталась скрыть поражение, но это было совершенно бесполезно. Весь Париж, не участвовавший в сражении, женщины, дети, старики, со стен укреплений, взобравшись на высоты Монмартра и Бельвилля, следили за неинтересными драмами. Кроме того тут же была и враждебная пресса; она стала многоглаголивой и была очень рада, что может все осветить в этих печальных событиях.

Коммуна также ссылалась, между прочим, на неспособность военачальников, начавших вылазку, не получив на это формального разрешения исполнительской комиссии. Но из числа этих командующих двое уже умерли, убитые Версалем; они землетрясли своей жизнью за свою горячность и за свой энтузиазм. А, кроме того, если Исполнительная комиссия и не предписывала произвести вылазку, то она и не запретила ее; таким образом и на ней лежала часть ответственности за поражение. На это, конечно, и указал Вальян в вечернем заседании 3-го апреля, возмущая Лефрансэ, который в виде протеста по-

дал после этого в отставку. Тогда Коммуна предложила двум оставшимся в живых генералам—Эду и Бержере—отказаться от звания членов исполнительной комиссии и заменила их, а также и умершего Дюваля—Делеклюзом, Курне и Верморелем. С другой стороны она поставила во главе управления военными делами Клузере, уже бывшего помощником Эда с вечера 2-го апреля, но, во всяком случае, не участвовавшего в вылазке.

Коммуне необходимо было выполнить еще другое дело, не терпевшее отлагательства: принять меры, чтобы Национальное Собрание положило конец расстрелам пленных и избиениям раненых, начатым с такой наглостью разными Винуа и Галлифе в Шату и в Рюйеле, в Шатильоне и в Малом Бисетре. Уже 2-го апреля, еще после первого нападения версальских войск, Коммуна издала декрет, первая статья которого гласила, что г.г. Тьер, Фавр, Пикар, Дюфор, Симон и Потюо предаются суду по обвинению в том, что предписали начать и начали гражданскую войну, напали на Париж, убили и ранили национальных гвардейцев, пехотных солдат, женщин и детей, а статья вторая декрета заявляла, что на их имущество накладывается арест и секвестр, пока они не явятся на суд народа.

Однако, ограничиться одним движимым и недвижимым имуществом, которым обвиняемые могли владеть в столице, было недостаточно. Это не могло остановить буржуазию—убийцу; она задумается лишь в том случае, если бы опасность грозила ей самой, если бы кто либо из своих, и притом из самых верхов, очутился перед дулами ружей федералистов. Эту мысль и развивал Вальян в заседании 4-го апреля, когда говорил: «чтобы ответить на убийства версальского правительства, Коммуна должна вспомнить, что у нее есть заложники; пусть она воздаст ударом за удар». Это же мнение заставило Делеклюза предложить в заседании 5-го апреля декрет о заложниках, который и был принят единогласно. Вот его содержание:

«Принимая во внимание, что правительство открыто топчет как права человечности, так и права войны; что оно виновно в ужасах, которыми не запятнали себя даже пруссаки-завоеватели;

принимая во внимание, что на представителях Парижской Коммуны лежит настоящий долг защищать честь и жизнь двух миллионов жителей, вручивших в их руки заботы о своей судьбе; что необходимо принять тотчас же все меры, диктуемые положением;

принимая во внимание, что политические деятели и городские власти должны согласовать общее благо с уважением к политическим свободам,—

предписывается:

**Статья 1.**—Всякое лицо, уличенное в сообщничестве с версальским правительством, подлежит немедленному обвинению и заключению под стражу.

**Статья 2.**—В течение 24 часов учрежден будет суд присяжных для разбора поступающих в него дел о преступлениях.

**Статья 3.**—Суд присяжных постановляет свой приговор в течение 48 часов.

**Статья 4.**—Все обвиненные вердиктом присяжных считаются заложниками парижского народа.

**Статья 5.**—Всякая казнь военнопленного или сторонника законного правительства Парижской Коммуны немедленно вызовет казнь тройного числа заложников, определяемых по жребью из числа задержанных в силу статьи 4.

**Статья 6.**—Всякий военнопленный отводится в суд присяжных, который постановляет, подлежит ли он немедленному освобождению или задержанию в качестве заложника.

Мы привели полный текст этого документа, потому что даже еще и в настоящее время он служит одним из обвинений, наиболее часто приводимых против Коммуны и всего охотнее взводимых на нее лицемерными и лживыми историками. Декрет этот был справедлив, он был законен и необходим. Он формулировал обязательный ответ на жестокости, которым нет имени и которые уже были пущены в ход защитниками привилегированных классов. К несчастью, Коммуна отвечала в такой момент, когда настоящие, наиболее ценные заложники: министры, депутаты, генералы, великие дельцы и биржевые игроки уже успели укрыться под защиту пушек Порядка и шаспо-регулярной армии, реформированной благодаря разрешению и доброжелательству пруссаков. Революционное правительство могло задержать только несколько человек из числа запоздавших: одного архиепископа, одного судью, биржевого банкира, иезуитов, священников, т. е. таких людей, о которых Тьер и Национальное Собрание мало беспокоились. Однако, и при таком положении этой меры оказалось достаточно, чтобы парализовать вплоть до последней недели мая неистовства репрессий, которых так жаждал Версаль. Таким образом, Коммуна все таки достигла своей цели.



## Х. Коммуны в провинции.

В то время, когда под стенами Парижа революция проиграла свое первое сражение и от наступления вынуждена была перейти на положение неверной обороны, в провинции один вслед за другим потухали инсurreкционные очаги, разгоревшиеся было в течение последних дней марта. Провинция в то время не была еще такою, какою она стала впоследствии. Капиталистическое развитие не захватило еще в свои каторжные фабрики и в свои непотребные торжища весь рабочий и эксплуатируемый народ. Скопление людей, занятых производственными отношениями, были более редки и менее плотны, да и из них лишь немногие были затронуты пропагандой рабочих агитаторов Интернационала или других обществ. В остальных местах работники погружены были в состояние пассивной бессознательности. Это относится к городской Франции. Что же касается деревенской Франции, то целый мир суеверий и суеверных ужасов еще отделял ее от социализма. Крестьянское мировоззрение не изменилось с того времени, когда благодаря именно ему могла восстановиться империя в 51 и 52 г.г., сельский работник продолжал смотреть на городского работника как на тунеядца и на приверженца идеи всеобщего поравнения, стремящегося ограбить его имущество и его сбережения, отнять у него продукты земледельческого хозяйства, чтобы жить и жуировать по своему желанию.

Крестьянин только что послал в Национальное Собрание четыреста монархистов, презиравших всякие современные идеи; он сделал все это, конечно, не для того, чтобы два месяца спустя пристать к демократической и социальной республике. Кроме того, целая область, на востоке и севере, еще билась под пятой чужеземца. Таким образом, наш обзор будет кратким, и мы быстро вернемся к Парижу, потому что фактически именно в нем разовьются все перипетии происходившей драмы. В эту эпоху существовала социалистическая столица, но не было еще социалистической Франции. Париж перерос остальную нацию более чем на двадцать лет.

Лион заволновался первый: это был второй город страны, единственный после Парижа, в котором существовали рабочие и революционные традиции. Рабочие Круа-Русс были сыновьями и внуками тех рабочих 1832 г., которые выступили первыми инсургентами нищеты. 21-го марта офицеры национальной гвардии, собравшись в количестве 200 во дворце Сен-Пьер, вместе с членами центрального клуба и в присутствии париж-

ского делегата Альберта Блана, приветствовали Коммуну и отправили к мэру Генону делегацию, которая ему заявила: «Мы желаем провозглашения Коммуны, соглашения с парижским движением, отставки префекта и новых общих выборов». Генон, мелко плававший республиканец, заупрямился. В 3 часа дня делегация вновь явилась, но уже подкрепленная многими батальонами Круа-Русс и Гильотьеры<sup>1)</sup>, и обратилась к заседавшему муниципальному совету; встретив с его стороны сопротивление, она попросту объявила его распущенным. Занята была ратуша, а мэром на место Генона выбран был доктор Крестен; затем учреждена была временная комиссия из одиннадцати членов, префект Валентен был арестован и на ратуше поднято красное знамя. 22-го и 23-го марта восстание оставалось полным хозяином положения и пыталось сорганизоваться, но народный порыв отсутствовал. Между тем буржуазия, на мгновение пришедшая было в смущение, вновь воспрянула духом после известий и инструкций из Версаля. Отставленный мэром Генон интриговал, протестуя против насилия, учиненного против него и его совета; пресса следовала его примеру. Национальная гвардия разделалась и заколебалась. В то же время генерал Круа, главный начальник регулярных войск, все увеличивал свои силы; он вел себя уклончиво и, смотря по обстоятельствам, то кричал—«да здравствует республика!», то—«да здравствует закон!» Помахивая, как какой-нибудь шпагой, призраком прусского вмешательства, он старался выиграть время для концентрации достаточных сил, необходимых для подавления движения. Наконец, 24-го марта он вмешался и овладел положением, не сделав ни одного выстрела. Члены лионской Коммуны, покинутые всеми, бежали в Швейцарию, а станки вновь заработали в квартале Круа-Русс. В апреле Лион вновь сделал попытку инсurreкции, но она была подавлена еще легче, хотя и с кровавыми жертвами. На этот раз за баррикадами Гильотьеры пали пятьдесят пролетариев.

Неудача лионского движения, которою воспользовался префект Саоны и Луары, брат Жюль Ферри, повела за собою неудачу движения и в Крезе, где рабочие завода Шнейдера, под влиянием мэра Дюма, провозгласили 26-го марта Коммуну и решили помочь парижской революции.

Шарль Ферри обещал всеобщую амнистию. Тем не менее первым его действием, как только он проник в ратушу, во главе

<sup>1)</sup> Рабочие предместья г. Лиона. Пер.

34-го пехотного полка, было арестовать Дюмэ и посадить его в тюрьму.

В Сент-Этьене дело было более горячее. Ратуша была в течение четырех дней во власти народной милиции, и без сомнения, если бы из толпы выделились решительные люди, способные ориентироваться, и взяли бы в свои руки все дело, этот город, населенный передовыми рабочими—оружейниками и басонщиками—и окруженный рядом промышленных местечек (Рикамери, Фирмини, Сен-Шамон), в которых мятежный дух был как бы прирожденным, мог бы доставить, как целый район, серьезную точку опоры общему движению, он мог бы оживить пожар, слабо затушенный в Лионе, и создать этим диверсию, безусловно полезную для парижского движения. К сожалению в нужную минуту вожаков не нашлось. После смерти префекта де-Леспе, по оплошности убитого во время нечаянной стычки, рабочий класс, подавленный этим случаем, отступил и бросил дело. Между тем пришли войска из Монбризона и Лиона; начались аресты, и порядок был восстановлен.

На юге волновались в особенности три города: Тулуза, Марсель и Нарбонна. В Тулузе возбуждение ограничилось только словами и осталось, так сказать, парламентарным, но в Нарбонне и в особенности в Марселе оно дошло до вооруженного сопротивления и до битвы.

В Тулузе и в Верхней Гаронне префектом с 4-го сентября был Арман Дюпорталь, который в течение всей войны поддерживал живую оппозицию Гамбетте (одно из самых его похвальных дел!) и пользовался среди своих сограждан большой популярностью; он издавал и вдохновлял местную газету *L'Étalon*, орган истинно республиканский, который вел открытую борьбу с Национальным Собранием и с его реакционными происками. 10-го марта, передавая события, ареной которых накануне был Париж, эта газета высказалась за роспуск версальского Собрания. В городе тотчас-же возникло сильное возбуждение. Офицеры национальной гвардии, собравшись в Колизее, поклялись защищать республику и потребовали для своих батальонов выдачи патронов, что и было исполнено мэром Кастельбу. Тогда старший председатель суда, некто Сен-Гресс, испугавшись такого оборота событий, телеграфировал в Версаль донос на Дюпорталья с целью сместить его и занять его место, а Тьер, схватив, так сказать, быка за рога, тотчас-же отправил в Тулузу бывшего префекта полиции де-Кератри. Это назначение было прямо гнусностью. Кератри явился в Тулузу 23-го; но он встречен был национальной гвардией враждебно, она прямо

на его глазах приветствовала Дюпорталья и вынудила вновь прибывшего вернуться обратно в Ажен. Дюпорталь сделал было попытку добиться у версальского правительства, чтобы его вновь восстановили в должности, но потерпел неудачу. Увлеченный затем народным потоком, он принял звание делегата Коммуны в Тулузской префектуре, а сама Коммуна была торжественно провозглашена в Капитолии. Факт совершился: Тулуза приняла сторону революции. Тогда Сен-Грессы и другие реакционеры, и в числе их генерал де Нансути, заgrimировавшись республиканцами на данный случай, сделали попытку в обратном направлении. Заявляя о своей преданности республике, «за которую они готовы пролить последнюю каплю крови», они указывали тулузскому населению на то обстоятельство, что все известные республиканцы, начиная с Гриви и кончая Луи-Бланом, на стороне Версаля, что парижский Центральный Комитет состоит из людей, неизвестно откуда взявшихся и неведомо к чему стремящихся. Этим господам удалось благодаря этому посеять смуту среди национальной гвардии, перетянуть на свою сторону некоторое число офицеров и добиться, в чем им помогла слабость Дюпорталья, принятия известного рода компромисса, в силу которого временное заведывание департаментом поручено было одному советнику префектуры и временному муниципалитету, во главе которого стоял начальник Валетского батальона. Обе партии согласились на этом, и красные батальоны очистили Капитолий. Этого-то только и ждали Сен-Грессы и их банда. Не медля ни минуты, другие военные отряды добровольцев Порядка, собранные главным сборщиком генералом де-Карбонелем, заняли все главные стратегические пункты города, а на другой день в 10 ч. утра появился и Кератри со свитой из трех генералов и несколькими тысячами солдат. С ним прибыли также шесть орудий, которые он и навел на ратушу. Дюпорталь и его друзья попались как мышь в мышеловку, и им ничего не оставалось, как отдаться на благовоззрение победителя, милость которого им, впрочем, и была дарована... Тулуза не будет уже сражаться за Коммуну и позволит республиканцам, в роде Гриви и в роде Луи Блана, раздавить Париж заодно с г.г. Винуа и Галлифе.

Нарбонна приняла более активное участие в движении, потому что в ней нашелся деятель, достойный ее и ее мужества,—Эмиль Дижон. Он был одним из пострадавших в декабре 51 г., человеком непосредственного и прямого дела. После 18-го марта он хотел поднять Каркассону, в которой он в то время жил, но ему помешал в этом один из его товарищей, адвокат Марку,

который устраивал свою будущую карьеру, и не без надежды на успех, так как впоследствии он стал депутатом и сенатором. Может быть, он был и министром, — как знать? — их, ведь, столько перебивало. Хитрый Марку удалил Дижона из Каркассона и направил его в Нарбонну, убедив его, что этот второй город департамента гораздо легче можно увлечь, чем главный город. 23-го Дижон прибыл в Нарбонну и тотчас-же во главе 200 решительных людей занял ратушу, откуда и выгнал муниципальный совет, упорно не соглашавшийся провозгласить Коммуну. На другой день, 24-го марта, его атаковала рота 52-го пехотного полка, но как и на Монмартре, женщины смело бросились между солдатами и восставшими, и пехота подняла ружья Прикладами вверх, выдав своих офицеров. После полудня сотня солдат-дезертиров усилила ряды революционеров. План Дижона, принявшего звание командующего республиканскими силами Нарбоннского округа, был прост. Владея Нарбонной, он не имел намерения ограничиться одною ею и ждать, пока его оттуда не прогонят; наоборот, он рассчитывал войти в связь с окрестностями Ода и Геро — с Каркассоной, Безьером, Цетт, Монпелье, где имелись интеллигентные силы, объединить их, организовать федеративное соглашение, расширив свое влияние, протянуть руку Тулузе, Марселю, уже восставшему, и поднять таким образом весь юг. Этот план мог удался, даже удался-бы, если-бы у Дижона было достаточно времени, и войска, которыми могла располагать версальское правительство в южной Франции, оставались бы привязанными к их постоянным местам стоянок и не были-бы двинуты все целиком для подавления Нарбонны. 28-го прибыли две роты туркозов и повели себя, как будто-бы они совершали какой-нибудь набег; но в этом большой беды еще не было: ратуша была укреплена, улицы забаррикадированы, и эти звери в мундирах должны были держаться в отдалении. При столкновении инсургенты потеряли только одного убитого и трех раненых. К несчастью, 30-го положение изменилось вполне и во всем. Стало известно, что инсurreкция подавлена была как в Тулузе, так и в Лионе и Сент-Этьене. Таким образом против Нарбонны могли быть направлены все силы генералов Порядка, находившиеся в этой области: 31-го явился с внушительными силами генерал Зенц, покоритель Тулузы. Его требования были категоричны: сдача или бомбардировка. Солдаты-дезертиры, присоединившиеся в предыдущие дни к Дижону, покинули его; национальные гвардейцы, созная, что дело погубил, а сопротивление бесполезно, также устроились. Дижон остался один, но отказался все-таки покинуть ратушу.

Друзья увели его насильно и доставили ему убежище, но старый республиканец не согласился ни бежать, ни скрываться, и 2-го апреля он был арестован и посажен в заключение. К этому времени, вне Парижа, держалась еще только одна цитадель республиканского и рабочего восстания — Марсель. В Марселе инсurreкция перешла немедленно в настоящую революцию и проявила, в сокращенном-виде и при быстром ходе событий, все перипетии, которыми уже ознаменовалось или должно было ознаменоваться развитие Коммуны в Париже. Уже полгода, как Марсель не переставал волноваться в унисон с столицей. 4-го сентября он провозгласил республику в тот именно час, когда на берегах Сены народ захватил дворец Законодательного Корпуса; 31-го октября в Марселе тоже был свой день патриотического пробуждения против неспособного и изменнического правительства. Теперь его гнев и проклятия направлены были против Национального Собрания. Известие о революции 18-го марта принято было с энтузиазмом, граничившим с восторгом. 22-го марта в собрании в Эльдорадо, перед громадным стечением народа, Гастон Кремье, держа в руках парижский *Officiel*, красноречиво изложил события, указал на опасности, угрожавшие республике вследствие поведения версальского правительства, и приглашал граждан быть мужественными и смелыми, как это требуется обстоятельствами. Эта манифестация, сопровождавшаяся уличными демонстрациями, внесла смятение и опасение в ряды реакционной партии; по предложению генерала Эспивана-де-ла-Вильбуане, префект — адмирал Конье — решил, что для дела порядка необходимо было тотчас-же ответить контр-манифестацией. В виду этого, он написал утром 23-го полковнику Жанжану пробить во всех кварталах сбор, чтобы собрать вооруженную национальную гвардию. Это значило, как на это тщетно и указывал ему мэр Бари, только ускорить, форсировать движение. Действительно, национальные гвардейцы, приверженцы порядка, изумленные этим приказом, остались в своих домах, а явились одни лишь национальные гвардейцы народных кварталов. Мобилизованные таким образом, они не захотели разойтись, не проявив открыто и активно своих республиканских убеждений. При криках: «Да здравствует Париж! Да здравствует республика!» — они направилась в префектуру. Никто не оберегал и не защищал ее; граждане («*civiques*») беспрепятственно проникли туда и нашли там мэра, префекта, двух секретарей, бригадного генерала и коменданта, которых они и арестовали или взяли в плен, не прибегая при этом ни разу к оружию. Этот улов, захвативший сразу все

главные официальные власти города, сделал революцию хозяйкой положения. Гвардейцы воспользовались тотчас-же этим и назначили муниципальную комиссию, в которую вошли Гастон Кремье, как председатель, Иоб, Этьен-отец, все трое уже бывшие муниципальными советниками, Аллерини, Гильяр и Мавиель. Перед толпой, все время прибывавшей, Кремье с высоты балкона префектуры, провозгласил Коммуну, сообщил, что Лион, Сент-Этьен, Бордо, Крезе также уже провозгласили ее, и заявил, что в Париж будут посланы делегаты, чтобы завязать правильные сношения между новым марсельским правлением и Центральным Комитетом. Несколько часов спустя собрался муниципальный совет; он присоединился к движению и делегировал трех своих членов: Боска, Дессеруа и Сидора для участия в революционной департаментской комиссии. Республиканский клуб поступил точно также и делегировал с той-же целью четырех своих членов: Карту, Фюльжера, Бартеле и Эмиля Буше, товарища прокурора республики. После этого Версальский префект Конье, побуждаемый к этому со всех сторон, вручил, наконец, де-Межи свою отставку, так сказать, освятив этим уже совершившийся факт.

Таким образом, без пролития капли крови, только благодаря, как казалось, единодушному согласию населения, в Марселе учреждена была Коммуна, вполне солидарная по мысли и намерениям с Парижской Коммуной. На другой день департаментская комиссия известила об этом в своем весьма энергично и ясно составленном манифесте:

«Граждане... нас надеялись разделить на два лагеря, но Марсель единодушно заявил, что он поддержит республиканское правительство, правильно составленное, которое будет заседать в столице. Избегнув опасности, Марсель уже не мог далее доверять администрации префектуры: при участии муниципального совета и всех республиканских групп, учреждена была временная департаментская комиссия для управления городом и департаментом... Денно и ночью мы будем стоять на страже республики, пока новая власть, исходящая от законного правительства, заседающего в Париже, не явится освободить нас от наших функций.—Да здравствует Париж! Да здравствует республика!»

Сторонники порядка, реакционеры, бенефицианты капиталистического режима так же отнеслись к движению в Марселе, как и в Париже, и уже начали строить планы насильственного возвращения власти и отместки. Но, как и в Париже, сначала они притаились. Как и в Париже, военные силы и главные

начальники, чувствуя свою изолированность, удалились из города. Генерал Эспиван-де-ла-Вильбуане, собрав все войска, которые только возможно было собрать, отступил в Обань; и, как и в Париже, чиновники, повинувшись приказу, поторопились соединиться в этом маленьком Версале с сабельных дел ма-терами, создавая вокруг департаментской комиссии пустое пространство с целью поставит ее в невозможность функционировать. Точно также и радикальные буржуа, как и в Париже, неосмотрительно вошедшие было в минуту увлечения на корабль революции, не замедлили бежать с него. Товарищ прокурора Буше перепрыгнул за борт, чтобы спастись вплавь. Все, друг за другом, последовали его примеру и устремились в Обань. Муниципальные советники также отказывались от своего согласия и искали случая увильнуть. Среди всех этих все возраставших затруднений только один человек, или почти один, отбивался и боролся, стараясь поддержать солидарность тех элементов, благодаря согласию которых вначале движение и имело успех. Гастон Кремье, этот человек светлого ума и горячего сердца, употребляя все усилия для сохранения положения в Марселе, пытался вместе с тем, как и Дижон в Нарбонне, расширить движение, охватить им окрестности. Однако, всеобщая смута и анархия достигли таких размеров, что Кремье вскоре уже не мог их побороть. Так же точно, как это случилось с его соратниками в Париже, он и здесь столкнулся с всеобщей дезорганизацией учреждений, с сознательной инертностью буржуазии, с невежеством и неспособностью рабочих. Утомленный борьбой, он, может быть, отказался бы от дела, но 27-го марта прибыли делегаты Центрального Комитета: Амуру, Ландек и Май—с известиями о народной победе в столице. Этот приезд и эти оптимистические сведения подогрели на мгновение южный пыл Ландек встал во главе движения; он стоял за крайние меры и обвинил Кремье, в виду его оппозиции, в умеренности и хотел даже арестовать его. Кремье нашел приют у друзей, но в ту-же ночь вернулся обратно в префектуру. Он поступил так потому, что во всяком случае именно он вызвал народное восстание и поэтому он желал, чтобы реакция нашла его на своем посту в тот час ответственности, который, как он чувствовал, уже близок. 28-го Эспиван, вопреки закону, объявил департамент на военном положении. Ландек, вместо того, чтобы организовать защиту города, ответил на это объявление арестом нескольких лиц, пользовавшихся известностью в городе. Это вызвало новое столкновение с Кремье, но Ландек не обратил внимания на его протесты. Продолжая свою комедиантскую роль, он объявил

Эспизана вне закона, сменил его и заместил бывшим субалтерн-офицером егерей—Пелисье; иных военных мер предосторожности он не принял.

С 29-го марта по 3-е апреля общий беспорядок достиг своего апогея. Для Кремье становилось все более и более невозможным внести какой бы то ни было порядок в этот хаос. Тщегно он пытался сблизить департаментскую комиссию с муниципальным советом, решившись даже предложить последнему взять все в свои руки. Совет, охваченный страхом, не ответил на это предложение и затаился. Радикальные буржуа, как и всегда в решительные моменты, перешли со всем багажом в лагерь реакции. Таким образом, департаментской комиссии и парижским делегатам оставалось только одно: с и должны были бороться, оспаривать положение, организовать защиту, т. е. сознавали себя бессильными для нападения; но они менее всего думали об этом. Они могли укрепить Нотр-Дам де-ла-Гард, сильная позиция которой командовала над городом и окрестностями, но об этом они позаботились настолько-же, насколько и Центральный Комитет в Париже об обеспечении обладания Мон-Валерьеном. Предаваясь упорной иллюзии, они тоже думали, что солдаты не двинутся, что они побратаются с народом. Ландек всем повторял эту басню и этим только и ограничивался. Только сами события должны были разубедить этих мечтателей.

3-го апреля вечером, в своем лагере в Обане, Эспиван получил известие о поражении парижских федералистов, которые были отброшены и преследуемы до самых стен Парижа. Взвинченный этой телеграммой, он тотчас отдал своим войскам приказ о выступлении. В его распоряжении находилось в этот момент от 6—7.000 человек, плохо сплоченных и не очень надежных, но ему известно было от шпионов, что революционная партия в Марселе совсем не имела возможности собрать даже и таких сил, что, раздираемая постоянными несогласиями и интригами радикалов, она не в состоянии будет поставить на ноги не только всю национальную гвардию, но даже и значительную ее часть. И действительно, Эспиван вошел в город, как-бы играя. Некоторое сопротивление оказано было только на вокзале, который защищали вольные стрелки и гарибальдийцы. Департаментская комиссия, потеряв всякую энергию и перейдя от слепого оптимизма к противоположным чувствам, отправила для переговоров с этим рейтаром Ландека, Кремье и Пелисье. Вести переговоры!—как раз было подходящее время для этого. Эспиван, не считаясь ни с каким правом, хотел попросту арестовать

и расстрелять трех парламентариев, но в конце концов он от правил их назад с таким ультиматумом: «В течение десяти минут пусть мне будет сдана префектура, или я возьму ее в течение часа». Однако, в течение этих неудачных переговоров Марсель успел проснуться, толпа залила улицы: видны были национальные гвардейцы с оружием, взволнованные женщины, ругавшие солдат: последние заколебались и склонялись к миротиюбию. Эспиван заметил опасность и, чтобы покончить одним ударом, пустил в атаку в штыки на префектуру, в которой находилась главная квартира революции, 8-й батальон пеших егерей, единственную часть войска, на которую он мог действительно рассчитывать. Национальные гвардейцы Порядка, скрытые в доме парка Бонапарта и главным образом в Учреждении Братьев Христианской Доктрины и в помещении Легитимистского клуба, поддержали эту атаку ружейным огнем. Сражение началось, но исход его был несомненен. Федералистам оставалось лишь два выхода: сдаться или дорого продать свою жизнь. Они приняли второе решение. Префектура держалась десять часов против атак всех войск Порядка, поддержанных огнем шести срудий, поставленных на холме Нотр-Дам де-ла-Гард, и непрерывной канонадой с форта Св. Николая. В префектуру брошено было 280 снарядов. Только в 8 часов вечера моряки с *Согонне* и с *Magnanime* решились наконец броситься в здание префектуры, покинутое его последними защитниками. Они нашли в нем, помимо трупов сражавшихся, заложников Ландека—цельными и невредимыми. Сам Ландек удалился, сев на парижский поезд и оставив марсельцев и особенно Кремье расплачиваться по счету. Репрессии были беспощадны. В ламповом отделении вокзала, в казармах, в фортах, в тюрьмах побежденные, захваченные на месте битвы расстреливались без всякого суда. На другой день и на третий арестовано было до тысячи граждан и отправлено в замок Иф и в форт Св. Николая. Среди них был и Гастон Кремье, которого судьи, желая создать сенсационный процесс, который подчеркнул бы их победу, заставили ожидать смерти еще несколько месяцев. 5-го апреля Эспиван совершил свой триумфальный въезд в покоренный город и отслужил торжественный молебен «Богу Си» при криках: «Да здравствует Иисус! Да здравствует Сердце Иисусово!» Эта акула-святоша, обнаружившая себя такой робкой перед пруссаками, оказалась теперь в своей стихии.

В этот-же день, 5-го апреля, потерпел поражение и пролетариат Лиможа, который 4-го апреля, овладев городом, помешал 91-му полку отправиться в Версаль, куда его потребо-

вал Тьер для подкрепления армии Порядка, и разбил один или два эскадрона кирасиров, при чем их полковник Билде был смертельно ранен. Это была победа на один день, как и в прочих местах.

В Ньевре и в Шере волнения, возникшие в крестьянской среде, где имена Гамбона и Феликса Пиа были очень известны и популярны, также не имели успеха.

Таким образом, 6-го апреля все уже было покончено. Провинциальное движение в пользу Парижской Коммуны потерпело поражение по всей линии. Чтобы смести и рассеять его, достаточно было всего нескольких дней и нескольких полков. Как это могло случиться? Это произошло благодаря тем-же общим причинам, которых мы коснулись в начале этой главы и которые вкратце сводятся к следующему: ускоренная политическая эволюция, совершившаяся в Париже при империи и доведшая его до порога социализма, в провинции не достигла таких же размеров, так что обе среды, естественно не соответствовавшие друг другу в этот исторический момент, не могли и звучать в унисон друг-другу. Во-вторых, благодаря частным причинам, на которые мы также уже указывали, описывая ход событий, и которые были одинаковы как в Лионе, так и в Сент-Этьене, как в Тулузе и в Нарбонне, так и в Марселе, причины эти: отсутствие общего плана, организаций, руководства, неуверенность в цели и в средствах, недостаток и неспособность руководителей и вожakov, не умевших воспользоваться плодами первой победы, беспечность и нерешительность масс, отступавших так же быстро, как они вначале воодушевлялись, и показавших себя неспособными выдержать напряжение далее двух суток. Возможно, конечно, что одних этих причин, как общих, так и частных, все же было-бы недостаточно для такого быстрого и полного разгрома инсurreкционного движения, если-бы к ним не присоединилась еще другая причина, которою Версаль воспользовался официально и которую с большим успехом эксплуатировали позорные версальцы всякого города и всякого еословия. Вина Коммуны перед Францией, ее существенный порок заключался, будто-бы, в том, что она не поместила во главе списка своих членов известных имен, священных знаменитостей, «славных», как выражались тогда. В департаментах буржуа и рабочие задавали себе вопрос: «кто эти, всплывшие на поверхность, люди, о которых мы никогда не слыхали? Чего они хотят? Куда идут?» Грустно признаться, но это факт: если-бы Виктор Гюго, Луи Блан, Гарибальди, вообще кто либо из них оказался во главе движения, Франция без колебания дви-

нулась-бы и пристала к парижскому вооруженному восстанию. Флаг защищал бы товар. Живые силы страны пошли бы в 1871 г., под влиянием импульса из Парижа, к социальной революции, как ранее в 1789 г., в 1830 г. и в 1848 г. они шли к политической революции.

Благодаря отсутствию этого буржуазного ручательства, пролетарии департаментов не поняли движения. После временного под'ема они вновь впали в инертность, в пассивное состояние и предоставили одной столице выдерживать натиск всех сил контр-революции. Оставим-же эту провинцию, которая сама себя вычеркнула из действия и жизни, и вернемся к единственному борцу—к Парижу.

## XI. После вылазки.

Поражение 3-го и 4-го апреля оттолкнуло от инсurreкции элементы мелкобуржуазные, увлекшиеся, было, на мгновение движением, и поставило их в своего рода нейтральное положение, которое вскоре затем перешло во враждебное; это-же поражение вместе с тем окончательно разрушило авторитет исполнительной комиссии и доверие к ней. Отставка Лефрансэ и его запоздалая критика также немало подействовали этому результату; к нему-же вели и сумбуриность Феликса Пиа, его легкомысленное отношение к делу и увертки. Хотя комиссия протянула свое существование еще несколько дней, но ей уже нанесен был смертельный удар. В нее вошли, правда, Курне, Делеклюз, Верморель, а затем Авриаль, но их присутствие не могло уже придать умиравшей ни капли жизненности.

Без сомнения, эта управляемая событиями исполнительная комиссия, не пользуясь достаточной помощью, являясь жертвой забавочки, созданной интригами Версаля, и постоянно нуждаясь в людях и в недостававших ей сведениях, не имея в своем распоряжении достаточного времени, могла только скудно или плохо выполнять лежавшую на ней миссию высшего контроля и общего руководства делами. По причинам, о которых мы уже подробно говорили в своем месте, она принуждена была передать заведывание военными операциями неспособным генералам, новичкам в этом деле и непредусмотрительным людям. Точно также и заведывание полицией она вынуждена была поручить Раулю Риго и его юным товарищам, с их сумбуриными и задорно-фантастическими взглядами. Заведывание финансами поручено было Беслэю и Журду, без сомнения честным

людям и умелым счетчикам и бухгалтерам, но пользовавшимся рутинными приемами и, повидимому, черезчур увлекавшимся легальностью, людям черезчур робко и почтительно относящимся к фортециям крупного капитала. Во всяком случае, исполнительная комиссия желала быть и была, в пределах возможного, при всей ограниченности нервных сил ее членов, необходимым органом центральной координации и центрального импульса. Позволяя ее заподозривать и оспаривать, даже присоединяясь к этим подозрениям и оспариваниям, Коммуна касалась самого принципа и уничтожала самое единство директивы, хотя оно и являлось более необходимым, чем когда либо ранее, после неудавшейся вылазки. Власть центрального заведывания была дискредитирована и должна была пасть, а это являлось началом конца.

И властью этой завладела и воспользовалась не Коммуна. Для этого она была черезчур занята своими приемами и внешностью болтливой парламента; мечтая о гласности своих заседаний, бесконечно задерживаясь на обсуждениях законов и декретов, которые должны были бы разрабатываться в специальных комиссиях и вноситься в заседания только в готовом виде для голосования и одобрения их, Коммуна забавлялась спектаклем, который она сама себе давала, и не представляла себе ясно положения дел, чем и обуславливался неустойчивый и случайный характер ее правления. Неумолкавшая канонада, которая уже гремела вдали, несмотря на свой грубый язык, не уясняла избранникам Ратуши истинного положения дела, хотя оно и было очень ясно, а именно, что Коммуна является только баррикадой; а, находясь за баррикадой, единственный долг ответственных руководителей состоит только в том, чтобы собрать на этой баррикаде ее защитников, снабдить их оружием и снаряжением и оберегать их от разных покушений со стороны неприятеля, которые он не замедлит направить на их ряды. Та ужасная действительность, которую исполнительная комиссия увидела и поняла, и та опасность, которую она старалась предупредить, еле-еле просвечивали Коммуне в виде отдельных проблесков; а когда под конец она решилась, наконец, действовать, то было уже черезчур поздно; но даже и в этот момент ее плохо направленные усилия не достигли цели и ускользили только фатальную развязку.

Таким образом, положение не могло уже измениться к лучшему, и оно прогрессивно будет все более и более ухудшаться. Наблюдение за военными действиями, как и наблюдение за общественной безопасностью, окончательно отошло из ведения испол-

нительной комиссии и из-под контроля Коммуны. Военное дело, полиция и финансы, самые важные в данное время функции управления, которые должны были быть непосредственно подчинены немедленному и постоянному наблюдению и зависеть от высшей и руководящей власти, которая направляла-бы их разнородную деятельность и обеспечивала бы их согласованное функционирование, сделались вполне автономными службами, независимыми и чуждыми друг другу, на которые Ратуша совершенно перестала влиять, а в их глазах она перестала пользоваться каким-либо авторитетом. Если делегаты при полиции и военные делегаты и не восставали открыто и прямо против Коммуны, то это зависело от того, что у последней не хватало надлежащего мужества, чтобы серьезно потребовать отчета, чтобы прекратить ошибки, настоять на уважении к ее решениям и на исполнении их, а отчасти и потому, что самим этим делегатам недоставало темперамента и смелости.

В префектуре полиции легкомысленный и безумно дерзкий Риго уже орудовал по своему и доставлял себе удовольствие пугать буржуа—духовных и светских—разными дикими выходками; он тратил свое время, с любовью рассматривая полицейские досье, найденные в императорских архивах, с целью восстановить в полном великолелии тожество какого-нибудь незначительного шпиона, или найти следы какого-либо недавшего бланкистского заговора. Он зажимал рот печати, печатал сообщения, запрещал газеты, делал обыски, арестовывал, кого ему только нравилось, счастливый и довольный, что производил весь этот шум; при этом он держал себя вызывающе и непоследовательно, без достоинства, которого требовали его функции и положение. Несмотря на многократные запросы Лефрансэ, Арну, Вермореля и особенно Тридона, несмотря на порицания и осуждения, Риго ни на что не обращал внимания, удержавшись на своем посту до 24-го апреля, несмотря на все приливы и отливы, против всех ветров. 24-го апреля, скорее добровольно подав в отставку, чем получив ее, он променял положение делегата при экс-префектуре полиции на положение прокурора Парижской Коммуны; на этом посту он, впрочем, продолжал попрежнему, осененный воспоминаниями о Шометте<sup>1)</sup>, компрометировать своим легкомыслием и замашками закошеного студента то дело, за которое взялся и за которое ему суждено было так благородно умереть.

<sup>1)</sup> Знаменитый прокурор Парижской Коммуны 1793 — 94 г.г. Пер.

В управлении финансами Журд и Беслэй, равным образом, становились все более независимыми и руководились исключительно личными своими взглядами. Они действовали против крупных банкирских контор и кредитных учреждений, против или в пользу крупных капиталистических монополий, как им казалось лучше, руководствуясь одними своими желаниями. Они были честны и настолько же старательны, о чем мы уже говорили раньше, но никогда не будет излишне еще раз повторить, что Коммуна имела в их лице, и особенно в лице Журда, исключительно только методичных и точных счетчиков и неподкупных, преданных кассиров. Но, находясь во власти предрассудков, будучи нерешительными по натуре и даже именно вследствие своей узкой честности, они неспособны были возвыситься до общего понимания положения и не позволяли себе никаких смелых шагов, ничего такого, в чем они усматривали захват со стороны власти, считая такого рода деятельность вредными эксцессами. Поведение их было благоразумно, осмотрительно, но малодушно. Они думали, что рассчитались с Парижем, организовав поступление его нормального бюджета, благодаря чему он мог совершать свои традиционные и обыденные расходы, мог оплачивать своих служащих и выплачивать ежедневное жалование батальонам национальной гвардии. Им даже на миг не приходило в голову спросить себя, не лучше-ли будет сделать нечто большее, не могут-ли они, доставляя питательные средства и давая жить революции и ее солдатам, прекратить с другой стороны некоторые источники доходов неприятеля, нанести ему, имея в виду его кассу, такие удары, которые заставили-бы колебаться самых неприступных, побудили-бы задуматься самых неподатливых?

В этом отношении они с самого начала заняли определенное положение по отношению к Французскому Банку: Журд и Варлен—до 26-го марта, в период правления Центрального Комитета, Беслэй—после этого, когда вслед за выборами 26-го он назначен был делегатом Коммуны в Банк. Они заявили себя покровителями этого учреждения, ревностными защитниками всей полноты его кредита, на который они смотрели, как на кредит самой Франции.

Беслэй, когда 29-го марта исполнительная комиссия потребовала отчета в его делегации, сделал ей вкратце следующее характерное заявление: «Необходимо уважать Банк со всеми его привилегиями и преимуществами; надо, чтобы он стоял высоко с его безупречным кредитом и с его билетами *al pari*. В этом заинтересована Франция; следовательно—и Версаль, но

настолько же заинтересован и Париж, и даже больше, а вместе с Парижем и Коммуна. Если мы приступим к захвату Банка, если мы займем его национальной гвардией, то можем завладеть металлическим фондом. Сколько-же его? 50 миллионов; в данный момент наличность не превышает этого, потому что нормальная и действительная его наличность была перевезена перед обложением в одно из департаментских отделений. Если взять эти 50 миллионов, то у Коммуны и парижского населения останутся лишь обесцененные билеты, лишенные всякой стоимости, простые бумажные тряпки, за которые нельзя будет купить у булочника хлеба в четыре су. Произойдет ужасающий кризис, за который на Париж ополчится весь свет, а против правительства Коммуны—все парижское население. Прекратятся все торговые сделки, торговля будет убита, и Ратуша не в состоянии будет обеспечить существование жителей. Вывод: в нашем жизненном интересе уважать Банк, при существовании которого мы обеспечены, что найдем средства, в которых мы нуждаемся, не считая тех поступлений, которые к нам ежедневно приливают. Всякий насильственный и захватный акт обратится против нас самих, превратив клише банковской экспедиции бумага в клише ассигнаций»<sup>1)</sup>.

Можно-ли было опровергнуть эту аргументацию? Она казалась, во всяком случае, правдоподобной, настолько правдоподобной, что исполнительная комиссия, не будучи в состоянии проверить утверждения делегата, которого она с полным правом считала самым честным и добросовестным человеком, приняла ее без оговорок, без всякой оппозиции. К тому-же примирительная дипломатия Журда, Беслэя и Варлена в общем ей нравилась, потому что, с одной стороны, она доставляла Коммуне средства, нужные для борьбы,—что являлось самым существенным,—а затем и потому, что благодаря этой дипломатии пертурбация в Париже доводилась до *minimum*'а, что способствовало большому согласию различных классов населения по отношению к неприятелю,—к Версалю.

Таким образом, этот быстрый отказ со стороны комиссии, в этом деликатном и столь серьезном вопросе, притом до некоторой степени вынужденный, вполне объясним; но вскоре отказ этот стал отказом самой Коммуны, которую нельзя так легко оправдать, потому что в ее распоряжении были не часы, но дни, в течение которых она могла осведомиться, исследовать дело, разрешить этот вопрос во всем его объеме и сложности.

<sup>1)</sup> Beslay. La vérité sur la Commune, 75—109.



Но она ничего этого не сделала, и даже не пыталась что либо сделать. Она ни разу не попыталась проникнуть в те сферы, где орудовали Журд, или Беслэй, или Варлен, которые старались, конечно, достигнуть наилучших результатов, но, может быть, придерживались ошибочных методов. Никогда Коммуна не пыталась направить на иной путь финансовую политику революционного правительства и выяснить те удары, которые могли бы быть на этой почве нанесены реакции, могли бы остановить и парализовать ее в ее шестивии, уже победоносном на поле битвы.

Ни в одном из заседаний, происходивших в Ратуше, нет и следа какого либо запроса по этому поводу. Коммуна ограничивалась выслушиванием финансового отчета Журда, когда он его делал, и только потому, что он его делал, и затем единогласно одобряла его. Таким образом, становится просто неловко читать критику, ставшую впоследствии всеобщей, и притом отчасти запальчивую критику, направленную против Журда, Беслэя и Варлена, против их поведения по отношению к Банку и к другим крупным кредитным учреждениям, критику не только членов большинства Коммуны, которые проявили такую же инертность, как и другие, но также и членов меньшинства, например, Малона, Лефрансэ и Ранка, которые, пожалуй, перешли при этом все границы.

«Коммуна,—писал, или разрешил написать за своей подписью Ранк,—была наименее революционным из инсurreкционных правительств. Если бы она обладала духом революционной инициативы, она сокрушила-бы Центральный Комитет, который до последнего часа не переставал нападать на нее и тайно минировать почву, и захватила-бы фонд Французского Банка. В этом случае г. Тьер несомненно вынужден был-бы вступить в переговоры <sup>1)</sup>». Странные рассуждения в устах человека, который с 5-го апреля покинул Ратушу, отказался от своего боевого поста, на который был призван, с целью присоединиться к бессильным и колеблющимся радикальным умиротворителям, метавшимся между Парижем и Версалем. Если Ранк, если Лефрансэ, который был членом Коммуны, а также и исполнительной комиссии, так твердо стояли за эти революционные меры; если они думали, что захват Французского Банка являлся одною из этих мер, они должны были заявить об этом тогда, а не впоследствии. В революционный период, менее, чем в какой либо иной, никто не

имеет права затаивать своих мыслей. Поэтому, если и была в данном случае совершена ошибка, если была неиспользована исключительная возможность заставить правящих реакционеров и капиталистов вступить в сделку и капитулировать, то ответственность за это падает на всю Коммуну целиком, которая в этой области, как и в других, отказалась от всякой власти и сложила с себя заботу о безопасности и о спасении города и революции на нескольких членов, а последние, в силу самого хода событий, явились сами себе и судьями, и контролерами своих действий!

Настолько-же независимым, и даже еще в более значительной степени, чем были Рауль Риго в префектуре, Журд в министерстве финансов, Беслэй в Банке (при вице-директоре г. маркизе де Плещ, назначенном Версалем и в интересах Версаля)—был и делегат Кюзере в военном министерстве. С вечера 2-го апреля по 31-е апреля, т. е. целых 28 дней, он имел полную возможность пользоваться с согласия Коммуны всею полнотою власти и по своему усмотрению и пониманию неограниченно руководить военными организациями и всеми военными делами, наперекор, хотя и весьма частым, но вместе с тем вполне бесполезным посещениям Делеклюза и Феликса Пиа, на которых он так горько жалуется в своих воспоминаниях.

Кюзере, заместивший Эда вечером 2-го апреля, обязан был этим назначением Тридону. Тридон изложил в исполнительной комиссии свои соображения и убедил ее, что в военном деле существует техническая сторона, которую нельзя импровизировать, и что для этого специального дела нужен специалист. По его мнению, Кюзере обладал для этого всеми данными. Заинтересованное лицо, т. е. сам Кюзере, был того-же мнения: он принадлежал к разряду лиц, которые имеют о себе и о своих способностях всегда самые лестные мнения.

Жизнь Кюзере до этого времени была одной из самых подвижных. В 1848 г., будучи поручиком 55-го пехотного полка, он заслужил крест на июньских баррикадах, сражаясь против восставших рабочих. Оставшись на военной службе и после декабрьского переворота, он получил чин капитана за Крымскую кампанию, но вскоре после этого, благодаря каким-то недостаточным выясненным причинам, вышел в отставку. Бродячая жилка вскоре после этого увлекла его в Соединенные Штаты, где он принял участие в войне Севера с Югом, под республиканскими знаменами Севера. По окончании кампании он удалился с чином бригадного генерала и званием американского гражданина. Вернувшись во Францию, он присоединился к

<sup>1)</sup> Enquête sur la Commune de Paris. Editions de la Revue Blanche, стр. 93—94.

Интернационалу, замешался в оппозиционное движение против Империи и избежал судебного преследования, только сославшись на свою натурализацию в Америке. Тем не менее полиция выслала его из Франции. После провозглашения республики он вернулся во Францию и, начиная с сентября, только и делал, что ездил то из Парижа в Лион, то из Лиона в Париж, возвращался обратно в Лион, а оттуда в Марсель, предлагая всюду—безразлично, то законному правительству, то Югу—свою саблю и свои способности, но при том единственном условии, чтобы ему поручили главное командование армией. Ни волновавшийся Юг, ни «Национальная Защита» не рискнули, однако, принять его предложение, а последняя даже нашла, что всего полезнее было-бы выслать эту докучливую личность.

6-го марта, воспользовавшись всеобщей амнистией, Кюзере вновь вернулся во Францию и, после недолгого пребывания в Бордо, приехал в Париж, все продолжая добиваться звания главнокомандующего. 2-го апреля все его мечты должны были осуществиться. Эта армия, которой он с такими усилиями добивался на двух полушариях, армия, батальоны которой он мечтал, как стратег, которому нет равного, вести к победе, эта армия была, наконец, в его распоряжении: 200.000 человек и несколько тысяч орудий; все это было собрано за укреплений, взяты которые пруссаки могли только голодом, после тяжелой блокады. В чем-же проявится его военный гений? Какой спасительный план он предпримет? Каковы будут размеры его предприимчивости? Налицо был именно тот момент, когда для успеха нужен был действительно великий полководец и великий человек.

Без сомнения, трудности были громадны! Войска, которые достались бывшему расстреливателю июньских инсургентов, не были обыкновенными войсками. Это были национальные гвардейцы, отцы семейств, которые были в силах произвести энергичный натиск, но были мало пригодны для долгой кампании, для которой безусловно требуются: проживание в казармах, походная жизнь и подчинение самой строгой дисциплине. Все это были парижские рабочие, охотно готовые рисковать своей жизнью за баррикадами, под защиту груды вывороченных из мостовой камней, но недостаточно обученные для того, чтобы маневрировать в какой либо настоящей методически и сложно ведущейся современной военной кампании, с ее усовершенствованными орудиями убийства и комбинированным участием различного рода оружия; в такой кампании, где личное мужество имеет мало значения, если оно

не сопровождается, по крайней мере, у офицеров, научными званиями и расчетом.

Главному начальнику подобной армии, конечно, необходимо было для того, чтобы победить и достигнуть торжества революции сначала во Франции, а затем и во всем свете, обладать выдающимися, исключительными способностями, как были исключительны и сами окружающие условия, а, затем,—ему надлежало обладать даром изобретательности и творчества. Командующий должен был, прежде всего, понять чувством и мыслью эту людскую массу, вибрировать в унисон с нею и создать для нее и для ее управления соответствующие приемы, которые позволили-бы утилизировать ее увлечение и храбрость, плотно организовать всю ее целиком и создать из нее грозный организм, в котором дух солидарности явился-бы счастливым заместителем крепкой, но механической дисциплины. Ему следовало попытаться достигнуть того-же результата, которого достигли вожаки восставшего и вооружившегося народа во времена Вальми, Флерюса и Жемаппа, которые пошли с молодыми рекрутами, с волонтерами, еще накануне бросившими свои мастерские и сохи, против старых испытанных войск герцога Брауншвейгского и опрокинули их своим непреодолимым натиском. Но, не требуя даже и этого, можно было бы все-таки ожидать, что новый министр, который так настойчиво добивался первоначальной военной роли, попытается, по крайней мере, встать на высоту событий, постарается организовать, хотя-бы пользуясь элементарными и обычными приемами, те значительные силы, которые были в его распоряжении. Но Кюзере ничего не сделал. Из всех героев прошлых и настоящих времен он стремился повторить... только одного Трошю. Эта была его единственная модель, которой он подражал во всем. Неуверенный и колеблющийся в своих решениях подобно Трошю, он, как и последний, показал себя беспечным и инертным в практических делах. И поэтому при его падении осталась армия, которая способна была-бы капитулировать, если-бы она оказалась малодушной, но так как она была храбра, то она и готова была подвергнуться бою.

Печать той-же основной его нерешительности, встречавшейся на каждом шагу, лежит и на его первом декрете, помеченном 5-м апреля. Этим декретом национальная гвардия расколота была на две части. Холостые люди, в возрасте от 17 до 35 лет, должны были образовать полевые роты, называвшиеся также военными батальонами. Все остальное количество должно было образовать местные войска. Другими словами, Кюзере,

рассчитывая создать боевую часть, решительно удалял с поля сражения три пятых национальной гвардии, удерживая остальные две пятых, чтобы создать из них своего рода армию, насколько возможно более похожую на обыкновенную регулярную армию. Вторым декретом от 1-го апреля, видоизменяя первый, предписывал обязательную лужбу в маршевых батальонах всем женатым и холостым, в возрасте от 19 до 40 лет и, условно, в возрасте от 17 до 19, но принцип остался прежний.

Таким образом, Клузере не знал, на что решиться, какой сделать выбор. Склоняясь в сущности к чисто оборонительной тактике (он очень энергично критиковал вылазку 3-го апреля и неблагоприятие офицеров, которые руководили ею), сам он, между тем, создавал силы, которые по своему составу и той дисциплине, которую он намеревался ввести, повидимому, предназначены были преимущественно к наступательным действиям в открытом поле. Наклонная плоскость была так скользка, что впоследствии Россель пытался даже сформировать настоящую маленькую армию, главным образом из этих маршевых батальонов, с целью сражаться вне фортов и вызвать версальцев на правильное сражение. С другой стороны, из этой армии первой линии, каковой она и являлась фактически, Клузере исключал в числе людей, перешедших за 40 лет, очень многих самых надежных и наиболее горячих деятелей революционного дела, как это и обнаружилось на деле.

Если-бы Клузере еще сумел твердо провести эти декреты и последовательно осуществить свой план! Но эти декреты, как и другие, остались мертвой буквой, и план его остался только проектом. Он, повидимому, рассчитывал иметь молодую и деятельную армию в 50—60.000 человек, но на линии огня у него никогда не было более 5—6.000 в наличности, и почти всегда это были одни и те-же люди. Освободившись от всякой опеки со стороны Коммуны, получив, таким образом, полную свободу действий, он не в состоянии был заставить повиноваться себе Центральный Комитет, советы легионов, комитет артиллерии. Ему даже не удалось ввести хотя-бы некоторый порядок и дисциплину, кое-какую регулярность в своих бюро и вокруг себя. Завоеванную им от Коммуны и ревниво оберегаемую им автономию подчиненные его тотчас-же отвоевали у него, и беспорядок и кавардак царили в отеле улицы Сен-Доминик не меньшие, чем в других местах, наоборот, они были даже большие.

Если Клузере и нашел свою армию, то эта армия не нашла в нем своего генерала: надежды Тридона не осуществились.

Клузере был военным министром 28 дней, и после той единственной попытки, сущность которой мы только что вкратце изложили, он впал в апатию и бездеятельность. Эти 28 дней, которыми Версаль так широко воспользовался для реорганизации своих военных сил, для укрепления их, для усиления контингента, для поддержки их артиллерией и всеми необходимыми снаряжениями, Клузере употребил на лень и спянь. Однажды ночью, когда форты Ванв и Исси гремели адским грохотом и держали весь Париж в возбужденном состоянии с 10 часов вечера, Лефрансэ застал Клузере в момент пробуждения после долгого томительного отдохновения и воскликнул. «Надо признаться, что у Коммуны военный делегат обладает большим хладнокровием и замечательной способностью спать! Уже утро, что за сонливец!»

Клузере, между прочим, несколько раз был в огне; он держал себя смело; в своей обычной мягкой шляпе, с тросточкой в руке, он не обращал внимания ни на пули, ни на гранаты. Но не в этом было дело. Коммуна не нуждалась в храбрых солдатах; их у нее было с излишком много. Она искала полководца, организатора, который сумел-бы оживить и использовать ту боевую энергию, которая кипела в глубинах рабочего класса и проявлялась в таком количестве геройских, беспорядочных и как-бы бесполезных актов. Этот полководец, если-бы он и отказался от наступательной тактики, как это диктовалось опытом, должен был-бы, по крайней мере, вооружить Париж для защиты настолько солидно и внушительно, чтобы вынудить врага стоять перед народными укреплениями без конца. Достигнуть этого было возможно, не обладая ни смелостью, ни исключительными способностями; нужно было только внести в это дело систему, старание и доброе желание. Клузере-же замкнулся в своем полном ничегонеделании, предоставив событиям плыть по течению, не заботясь даже об исправлении брешей на укреплениях и о снабжении их орудиями, которые ржавели в парках, и менее всего думая о обрушении внутри города двойной линии баррикад, хотя это и было уже предусмотрено. Все эти меры были легко исполнимы и сделали-бы штурм столицы почти невозможным, даже для победоносной армии; они продолжили-бы на неопределенно долгое время сопротивление столицы и дали-бы возможность провинции-gridти в себя, вмешаться в дело. Когда, вследствие хода событий и одного из тех инцидентов, которые случаются в революционные периоды, Клузере, наконец, был оставлен и из министерства попал в тюрьму, то оказалось, что он плачевно проворонил те несколько недель, кото-ры:

судьба подарила Коммуне для организации защиты. Он неоправимо испортил положение.

Итак, Клюзере виновен, виновен по крайней мере, в неспособности. Ничто, действительно, не подтвердило тех позорных обвинений, которые возведены были на него и построены были на довольно шатком основании его отношений к Вашберну, представителю Соединенных Штатов, которому Германская империя доверила временное соблюдение интересов своих подданных. Обвинение, сформулированное нами выше, несет вместе с военным делегатом и сама Коммуна, как коллективность. Несмотря на полученные ею предупреждения и вопреки еще более очевидным фактам, которые должны были-бы вызвать ее вмешательство, Коммуна только случайно обратила внимание на поведение человека, который держал в руках ее собственную судьбу; она не требовала отчетов, предоставляла делу идти по воле течения. Коммуна заслужила то, что произошло.

В эти дни всеобщих ожиданий и близкого наступления конца, когда уже надвигались решительные события, а народные избранники, стоявшие у власти, даже и не чаяли о них, Ратуша представляла собою зрелище грустное и в то же время плачевное. Лучшие люди Коммуны, которые могли бы внушить ей мужество и рассудительность, почти всегда отсутствовали, занятые своими специальными задачами и задерживаемые отправлением своих функций: Журд был занят финансами, Варлен и Авриаль—в интендантстве, Френкель в Труде и Обмене, Ферре—в Комиссии Общей Безопасности, Вальян—в Образовании, Тейс—на Почте, Беслэй—в Банке. Другие члены свалились от усталости и болезней, как, например, Делеклюз и Тридон. Третьи, наконец, вместе с Лефрансэ, Верморелем, Малюном, Ж. Б. Клеманом, Ранвье и Гамбоном,—часто посещали аванпосты и сближались с защитниками укреплений; они устали и получили отвращение к постоянным распрям; они ошибочно думали, что долг заставляет их быть в линии огня, непосредственно перед версальцами. Заседания Коммуны по большей части не вели ни к каким результатам. Они проходили в беспорядочных прениях, в предложениях и запросах без последствий и резолюций, в голосованиях фантастических мер, применение которых возможно было лишь при наличности победы. Принимали участие в этих дебатах и решениях Урбан, Режер, Паризель, Бабиц или Жерезм, в особенности-же Пиа, от которого веяло то жаром, то холодом; неистовый в закрытых заседаниях комиссий и, наоборот, отечески и благодушно настроенный в своей газете *Vengeur*, где

он всегда мелодраматично и неискренно выступал с обращениями к публике.

Диагноз поставлен, и нет надежды на облегчение болезни! Коммуна оказалась ниже своей задачи, ниже той революционной среды, из которой она сама вышла. Она не явилась тем вожакom и желанным проводником, который осветил-бы путь и устранял-бы препятствия; она уже с самого начала изнемогла под давлением черезчур тяжелой ответственности. Она не сумела подчинить себя известной дисциплине и сорганизоваться, чтобы затем шаг за шагом организовать и окружавшее ее—Париж, его рабочий класс—и противопоставить сплоченный и крепкий фронт атаке неприятеля, которая была неизбежна, не могла не произойти.

Выборы 13-го апреля также не влили в слабеющую Коммуну новой крови. Это голосование, исключая Шарля Лонге, который в *Journal Officiel* часто высказывал очень здравые и верные взгляды на мартовские события, Густава Курбе, великого живописца-реалиста, и Тренке, ввел в Ратушу только несколько новых бесполезностей и ничтожностей, но вместе с тем оно-же обнаружило и все усиливавшееся нерасположение среднего парижского класса, который отстранился от голосования с единодушием, вызывавшим тревогу.

Формальное удаление со сцены исполнительной комиссии, так сильно поколебленной после неудачной вылазки 3-го апреля, точно также не восстановило положения. Наоборот, удаление первой исполнительной комиссии, которая, по крайней мере, пыталась стать руководящим правительством, обеспечивающим правильное функционирование, объединяющим разные службы и дающим всем отдельным частям общий согласный импульс,—самое это удаление обнаружило победу федералистического принципа, который властно захватил, как мы это уже видели, умы многих членов коммунального собрания. Исполнительную комиссию, заседавшую непрерывно в Ратуше с очень широкими обязанностями и как-бы неограниченными правами, Коммуна заменила так называемой «исполнительной властью», составленной из собрания делегатов девяти комиссий, между которыми и были распределены административные труды и обязанности. Делегаты эти по проекту должны были, конечно, собираться ежедневно и по большинству голосов постановлять решения, относившиеся к каждому из их департаментов, а затем уже эти решения должны были докладываться в секретном заседании самой Коммуне, как высшей утверждающей инстанции. В действительности-же этим новым должностным лицам

-раздавались посты, а не обязанности, так как единственной функцией в этот момент была война. Они были изолированы каждый в своих обязанностях, имея специальное дело, которое обязывало их, если они намерены были добросовестно отнестись к нему, спуститься от него и окунуться в его детали. Они не встречались друг с другом, даже и в Ратуше и потеряли постоянную связь с Коммуной; эти лица утратили самую возможность проявлять фактическое наблюдение, быть в курсе действительного положения дел и насущных вопросов и даже единственно главного в то время вопроса, вопроса о военных действиях, и не могли; следовательно, судить о вещах практически, не могли решать вопросы сознательно и что-либо предлагать Коммуне.

Как будто-бы было еще недостаточно постоянного соперничества Центрального Комитета и той смуты, которую оно вносило в округа и в самое военное министерство, как будто-бы было недостаточно происков делегатов в префектуре, полиции и в военном министерстве, старавшихся стать независимыми и безответственными в своей области! Коммуна нашла, в довершение всего, еще более верное средство для ослабления и уничтожения всякого влияния центральной власти. Введенная ею система разделения и разрыва между ответственностью и обязанностью, между общим наблюдением и специальностью, делала невозможным выработку общего плана действия и еще более невозможным последовательное проведение этого плана, если бы он был намечен заранее. Эта система освящала торжество федералистического метода, а, следовательно, полной и совершенной анархии. Что могли сделать при этих условиях уполномоченные на своих новых постах—члены этой призрачной и слабой Комиссии: Кюзере—в военном деле, Журд—в финансах, Виар—в снабжении города естественными припасами, Паскаль Груссе—во внешних сношениях, Френкель—в труде и обмене, Прото—в юстиции, Андрие—в общественной службе, Вальян—в просвещении и Рауль Риго—в общественной безопасности? Если бы все они обладали способностями и рвением, то и тогда они были-бы осуждены на бездеятельность и на невозможность что либо сделать. Связь, заключавшаяся в народном и революционном подеме, еще более ослабла и это произошло как раз в то время, когда неприятель, становясь все более активным и смелым, вооружил осадными орудиями Мон-Валерьен, Мон-трету и Бримборион и начал правильную бомбардировку столицы.

Если Париж еще держался, то это происходило вследствие его собственной силы, вследствие того сопротивления, которое

оказывали, несмотря ни на что, только одной своей массой два миллиона людей, засевавшие за каменными стенами; а также еще и потому, что Версаль не чувствовал еще своей подготовленности к последнему штурму и что внутри города трусливая буржуазия еще не осмеливалась рискнуть схватиться с революцией, вызвать ее на бой, даже несмотря на состояние агонии, в какой последняя находилась.

Покинем-же это коммунальное собрание и представляемое им зрелище беспечности, беспорядочности и вялости и перейдем к двум явлениям, которые несколько успокаивают и утешают в эти мрачные дни: к замечательной защите, проявленной избранной частью рабочих на аванпостах, и к способностям, обнаруженным той-же частью рабочих в области административных распоряжений в городе с двух-миллионным населением, в области брошенной на произвол судьбы.

## ХII. Под стенами Парижа.

Поражения 3-го и 4-го апреля, расстрелы без суда побежденных, ужасающие рассказы о недостойном обращении версальских палачей с пленными, все это, все-же, не подавило общего подема духа в Париже. Если трусы, до некоторой степени прикрывшись декретами Кюзера, и повесили свои шапки и патронташи в своих прихожих или припрятали их под матрацами, то смельчаки из предместий поднялись повсюду; это были отчасти те, которые ходили с Эдом, Дювалем и Флурансом и успели вернуться, но были и другие,—новые,—они являлись сотнями. С 5-го апреля укрепления на всем их протяжении, от ворот Монруж до ворот Сен-Уен, заняты были батальонами федералистов. Заняты были и южные форты Ванв и Исси, который, насколько это возможно было, был исправлен. За фортами вырыты были траншеи, тянувшиеся до Мулино, Кламара, Валь-Флери, От-Брюйер и Мулен-Саке. На правом берегу Сены вновь занят был Курбевау и забаррикадирован мост Нейльи.

Все эти работы, как и самый сбор батальонов, вся мобилизация, которая выставляла против врага около ста тысяч человек, совершились почти без приказаний свыше, свободно и добровольно. Командующий, даже средних способностей, но деятельный человек, сумел бы утилизировать это рвение, которое проявлялось столь живо и доверчиво после поражения и несмотря на поражение. Мы уже знаем, как воспользовался этим Кюзере. Он дал остыть этой силе, дал ей растаять, израсходоваться на

мелочах. Держать под ружьем все эти сто тысяч два, три дня, даже неделю, при желании,—это было возможно и исполнимо; но с какой целью? ради какого полезного и практического результата? Военные действия, повидимому, затягивались; они могли и должны были тянуться целые месяцы. Искусная и предусмотрительная политика, рассчитывавшая и на будущее, должна была-бы, наоборот, успокоить, умерить, даже укротить эти порывы первого энтузиазма, эти самопроизвольные вспышки и удержать на линии огня только необходимое число ратников, остальным-же предложить отдых, в чем они очень нуждались, с тем, чтобы они вновь явились на свои места, когда дойдет до них очередь. Экономия сил была-бы лучшей и наиболее верной тактикой данного момента.

Для этого, конечно, необходимо было, чтобы Ключере держал в руках не только национальную гвардию, но также, и даже главным образом, офицеров и начальников, чтобы последние в состоянии были в зависимости от необходимости или-же увлечь за собою вперед батальоны, находившиеся под их командой, или-же, наоборот, удержать их. С этою целью в последующие дни военный делегат и попытался найти подходящих людей, и выбор его оказался даже удачным; но в описываемый момент, по крайней мере, на северо-западе, еще командовали прежние неспособные начальники 3-го апреля. Там был Бержере: «сам» Бержере находился у моста Нейльи, за защиту которого он письменно ручался исполнительной комиссии в свойственном ему героическо-комическом тоне: «Что касается Нейльи этого предмета домогательств наших противников, то я его сильно укрепил и вызываю целую армию атаковать его. Я поставил тут интеллигентного и твердого человека—гражданина Бургуаня; он твердой рукой держит знамя Коммуны, и никто не вырвет у него его». Письмо это появилось в *Officiel* 6-го апреля, а 7-го, в 4 часа дня, мост Нейльи был взят. Бургуань, правда, оказал отчаянное сопротивление и погиб на месте. Наэлектризованные его примером федералисты убили двух неприятельских генералов, ранили третьего и шаг за шагом оспаривали позицию, но в конце концов они все-таки были отброшены к стенам старого парка.

В этом сражении Бержере, хотя и не потерял жизни, но потерял свои галуны. На следующий день Коммуна решила, что на этот раз мера, наконец, переполнилась, и сменила его; офицеры должны были назначаться с этого времени Ключере из более сведущих и из более осторожных людей. Бержере заменил поляк Ярослав Домбровский. Назначение иностранца вызвало некоторое легкое возбуждение, но исполнительная

комиссия успокоила его, объяснив, хотя несколько высокопарно, но по существу вполне согласно с истиной, те причины, которыми обуславливалось это назначение. Получив образование в русском кадетском корпусе, Домбровский участвовал в качестве офицера в покорении Кавказа; затем во время последнего польского восстания он командовал бандами. Немного позднее он служил под начальством Гарибальди. В общем, это был знающий свое дело офицер, а его революционное прошлое представляло достаточные гарантии.

Назначены были также и другие военные: брат Яр. Домбровского—Владислав—его помощником, Ла-Цецилиа назначен был в главный штаб, а Врублевский получил командование южными фортами. Ла-Цецилиа, француз, хотя и с итальянской фамилией, служил во время войны в Луарской армии. Врублевский, принадлежавший к той-же национальности, как и Домбровские, также как и они, принимал участие в польском восстании и был знающим и храбрым офицером.

В течение апреля командование войсками, с незначительными изменениями, было приблизительно следующее: Домбровский имел свою внешнюю главную квартиру в Ла Мюэт. Он лично руководил батальонами, расположенными от Левалуа-Перре и Нейльи до Пуань-дю-Жур, а через своих адъютантов—Августа Околовича и Анфана—он командовал и войсками, стоявшими начиная с Аньера до салотопки в Сент-Уэне, откуда уже начиналась нейтральная зона ввиду близости прусских линий. Главная квартира Врублевского была в Жантильи, а его войска разделены были на три части: первая занимала форты Исси и Ванв, вторая—форты Монруж и Бисетр, третья—форт Иври и траншеи Вильжьюф. Под начальством Врублевского находились Брюнель и Лисбон, которых в иные часы заменяли Ла-Цецилиа, Ветцель и даже Эд.

С этими новыми офицерами национальная гвардия не подвергалась, по крайней мере, различным неожиданностям и авантюрам, благодаря которым многие тысячи ее бойцов погибли убитыми или пленными, а неприятель уже дважды почти что вошел в самый Париж. Эти начальники умели предвидеть опасности, комбинировать силы, маневрировать; таким образом, солдаты могли драться и рисковать своей жизнью с некоторой пользой и шансами на победу. Их мужество уже не расходилось в одних только потерях; урегулированное и дисциплинированное, оно остановило версальцев, заставило их задержаться перед траншеями и фортами и вынудило предпринять форменную и долгую осаду, исход которой являлся сомнительным.

Но беда заключалась в том, что если, наконец, и появились кое-какие начальники, то армии уже не было, а остатки ее все более и более таяли. Чтобы судить о военных силах Коммуны, нельзя ссылаться ни на официальные отчеты, доставлявшиеся офицерами военной делегации, ни на статистические данные из версальских источников. Отчет 2—3 мая о состоянии легионов, составленный состоявшим при организации полковником Мейером и утвержденный членами военной комиссии: Арнольдом, Авриалем, Бержере, Делеклюзом, Ранвье и Тридоном, определяет наличный состав маршевых батальонов в 84.986 человек с 3.413 офицерами, местных батальонов—77.665 человек с 3.094 офицерами <sup>1)</sup>. С своей стороны генерал Анпер еще более увеличивает эти цифры в своем показании следственной комиссии о 18 марта, определяя наличность действующих сил Коммуны в 99.062 чел. и в 114.842 чел. наличности местных войск, а всего в 213.904 национальных гвардейцев первого и второго разряда. Ни тот, ни другой из этих документов не соответствуют действительности. Полковник Мейер и военная комиссия, значительно увеличивая цифры, желали придать уверенность и вселить мужество защитникам Коммуны и парижскому населению. Что же касается генерала Анпера, давшего свои показания после победы армии Порядка, то ему лестно было подчеркнуть все величие торжества, произвольно увеличивая силы революционного врага, с которым должна была померяться реакция.

В действительности тех 100.000 чел., которыми Коммуна располагала 2-го и 3-го апреля и которые еще раз встали за нее после неудачной вылазки с целью отвратить гибельные последствия этой неудачи, уже не было на лицо 7-го или 8-го апреля. Домбровский, Врублевский и их лейтенанты, даже в самые лучшие дни, располагали максимум 30 или 35 тысячами человек: 12—15.000 на юге, 15—20.000 на северо-западе. Под своим непосредственным начальством Домбровский имел иной раз до 6.000 человек; и, несмотря на его настоятельные и постоянные просьбы к Коммуне, он никогда, ни при каких обстоятельствах, не мог собрать большего числа.

Это были те храбрцы, ряды которых непрерывно будут гедеть под градом пуль и гранат, те, которые будут в течение полутора месяца биться против 150.000 солдат Винуа и Мак-Магона, ежедневно пополняемых свежими войсками, являющимися со сборных пунктов из Шербурга, Камбрэ, Оксерра,

где генералы Порядка собирали, вооружали и организовывали пленных, возвращаемых из Германии, союзником Бисмарком.

На северо-западе, на высоком берегу Сены в Аньере, в Нейльи, около ворот Майльо, защита велась замечательно энергично—эпически. С первого же раза Домбровский восстановил положение и до 20-го мая в этой местности горсть храбрецов удерживала неприятеля в десять раз сильнее, при переменных успехах и потерях.

В ночь на 9-ое апреля Домбровский начал свои операции тем, что вместе с Верморелем прогнал версальцев из Аньера. Отсюда он бомбардировал при помощи блиндированных поездов, циркулировавших по рельсовому пути, Курбевау и мост Нейльи. В ту же ночь его брат Владислав вместе с Жакарлом захватил другой стратегический пункт: замок Бекон, господствующий над дорогой из Аньера в Курбевау. 12-го апреля версальцы сделали попытку отбить эту позицию, но были отброшены. Замок Бекон взят был обратно войсками Порядка только 17-го, когда занимавшие его в числе 250 ч. федералисты, продержавшись шесть часов против целой бригады, вынуждены были, наконец, отступить. На следующий день был в свою очередь атакован и Аньер, и Домбровский, получив в подкрепление всего 300 человек, принужден был очистить это местечко и перейти обратно Сене. В этой стычке был тяжело ранен Околович. Домбровский укрепился после этого в Нейльи, где в течение целых недель происходила жестокая борьба, непрерывно продолжавшаяся и днем и ночью. Каждый дом, каждый сад превращались в поле битвы и переходили поочереды то в руки федералистов, то в их противников. Домбровский, бесстрастно державшийся под ружейным огнем, хладнокровно смелый и как-бы не замечавший опасности, поспевал лично всюду, наблюдал за всем и устранял все опасности.

Положение было ужасно; сражавшиеся жили как в аду, подвергаясь непрерывным нападениям, еле находя время заснуть, оставляя ружье только для того, чтобы схватить лопату и строить импровизированные окопы, которые на час, на два служили для них неверным прикрытием, пока, выбитые и из них и обойденные, они не отступали на несколько шагов назад, чтобы вновь рыть такие же окопы для новой защиты. С Мон-Валерьяна и с грозного редута Монтрету на них падал непрерывный дождь чугуна, а также и на несчастные местечки Аньер, Левалуа, которые уже представляли из себя одни развалины, груды мусора, пепла и горевших построек. На эту свирепую

<sup>1)</sup> Journal Officiel от 6 мая, стр. 484—485.

бомбардировку отвечали только орудия, поставленные без всякого прикрытия у ворот Майльо и подвергавшиеся навесному огню неприятеля. Здесь, на этом беззащитном пункте, тоже расточались сокровища энергии и смелости. 48 дней непрерывно гремели орудия ворот Майльо. Наводчиков и канониров хватало всего на несколько часов, так как смерть косила их беспощадно. Но несмотря на это, орудия не молчали ни одного мгновения. Всегда и немедленно находились другие смельчаки, чтобы занять место тех смелых людей, которые только что на их глазах пали.

В южном районе, где находился Врублевский, военные действия велись так же энергично и сопровождались такими же жертвами. В Мулино редут переходил из рук в руки; из двух дней в один—на нем развевалось красное знамя. Гарнизон форта Исси в течение недели отбил три ночных атаки, в которых неприятель понес тяжелые потери. В Ванве, в Исси, на холмах Банье происходили непрерывные тревоги и постоянные стычки.

Если бы Коммуна в этот момент располагала теми силами, которые в самом начале встали за нее, или, если бы твердое и внимательное заведывание делами сумело бы вновь вызвать к жизни эти силы и утилизировать их, то нет никакого сомнения, что военная кампания могла бы быть выиграна революцией. Но общий беспорядок и замешательство все усиливались. Недоставало попрежнему двух вещей: с одной стороны главное начальствование, общая координация защиты и заведывание ею отсутствовали при Клузере, как и при Бержере и при Эде; с другой стороны—кадры, оставшиеся в ротах и батальонах, стояли ниже своей задачи были недисциплинированы и неспособны. Офицеры появлялись на месте военных действий только когда они этого хотели и насколько хотели; по собственной-же фантазии они и покидали доверенные им позиции. Таким образом, достаточно было одного плохого капитана, безрассудного или просто негодяя, чтобы парализовать добрую волю ста решительных и преданных ратников.

В сущности из всякого легиона выступали только те батальоны, которые этого хотели, а в батальоне только те роты, с желанием которых совпадало такое выступление, и в результате получалось, что дрались одни и те же воинские единицы, лучшие из всех. Они оставались на аванпостах по неделе и по две, возвращались изнуренными и не имели даже возможности подкрепиться в течение нескольких дней домашним отдыхом.

«Экспедиции—пише<sup>1)</sup> Малон, который часто в качестве добровольца сопровождал в траншеи свой легион XVII округа, были кровопролитны, и часто пролетарские фаланги возвращались сильно поредевшими. Сколько раз можно было видеть их проходившими мимо Ратуши! Черные от порохового дыма, с разорванными от снарядов знаменами, иной раз в ключья, поредевшие, но воодушевленные ряды их кричали, покрывая бой барабанов: «Да здравствует всемирная республика! Да здравствует Труд! Да здравствует Коммуна!». Обыкновенно ктонибудь из членов Коммуны приветствовал их речью и передавал им новое знамя из красного сукна с золотой бахромой. Это новое знамя битвы принималось с энтузиазмом, батальоны отдавали ему честь, развешивали его и уходили с барабанным боем, с музыкой и с пением Марсельезы, *Chant du Départ* или *Mourir pour la patrie*».

Куда же они уходили? На линию обороны, навстречу новым столкновениям, новым утомлениям и новым опасностям. Таким образом происходил своего рода механический отбор, который постепенно создал Коммуне отборную гвардию, героическую фалангу, употребляя выражение Бенуа Малона, но численный состав которой при этом постоянно все уменьшался. Эта избранная часть не могла, действительно, заполнить те потери, которые наносили ее рядам удары неприятеля, и самопроизвольно возрождаться, так как самоотверженные предложения для пополнения редевших рядов становились все более редкими. Чтобы сберечь и сохранить эту часть, необходимо было вмешательство закона, который освободил бы ее от одной стороны ее губительной задачи, направив ее в то же время на более полезное для общей защиты дело. Мы встречаемся здесь с главной ошибкой военной делегации Коммуны, которая допустила, что наиболее надежные военные элементы принесли себя в жертву без пользы, тогда как делегация могла и должна была бы с их помощью образовать кадры для всей национальной гвардии и увлечь благодаря этому в огонь все сто или сто пятьдесят тысяч человек, которых мог выставить рабочий и республиканский Париж. Действуя только в этом направлении, возможно было еще рассчитывать найти спасение. Клузере не понял этого, а если и понимал, то ничего не сделал для этой цели.

<sup>1)</sup> Benoit Malon. La Troisième défaite du Proletariat français, стр. 220.



### ХІІІ. Комиссии и делегации.

Эту же избранную часть, горячую и полную веры, но очень сократившуюся численно, оказавшую такое отчаянное сопротивление на аванпостах и на укреплениях, мы встречаем и в Советах революции, на ответственных постах, при исполнении трудных и жизненных функций; здесь она стремилась предупредить анархию, вызванную Версалем и дезертирством его приверженцев, и старалась спасти Париж от голода и разорения, чтобы дать ему возможность существовать и продолжать борьбу.

В этой области также главным образом работники отдуваются за все и за вся; они запрягаются в дело за вознаграждение, над которым посмеялся бы буржуа, работают—один за десятерых, отдавая все свои дни и ночи, и терпением, прилежанием и трудом восстанавливают и обеспечивают функционирование всех общественных служб, покинутых и заброшенных Версалем. Они пополняют собою малочисленные кадры, оставшиеся еще на местах, учатся у них делу и проявляют чудеса разумной приспособляемости и выносливости в работе.

Эти жертвы, быть может, менее героичны, чем проявляемые на полях сражений, но тем не менее их следует запомнить и отметить, потому что они указывают, что административная способность и умение заведывать и руководить интересами коллективности и самоуправляться, которыми в общей своей массе не обладал еще в то время рабочий класс, были уже уделом некоторой его части, особенно же тех, кто сформировался, развился и организовался в социалистической среде, в обществах сопротивления, этих первых попытках синдикальной организации и, главным образом, в секциях Интернационала. Никто еще не пытался опровергнуть, что Париж в административно-муниципальном отношении функционировал так же хорошо и правильно при Коммуне, как и при всяком ином бывшем или последующем режиме, но при этом он функционировал более экономно. И это произошло, повторяем, исключительно вследствие усилий совершенно новых людей, которые в большинстве получили только элементарное образование и накануне еще находились на фабриках, в мастерских, в конторах, за прилавком.

В этом вопросе мы не можем касаться частных, достаточно будет только упомянуть о таких рабочих, как Тейс—директор почты, Бастелика—директор сктруа, Камбо—директор неокладных сборов, Камелина—директор Монетного

двора; все четверо вышли из рядов Интернационала и ни преследование, ни тюрьма не страшили их. Пролетариями были также, за одним или, может быть, двумя исключениями, директора или главные агенты родственных служб: Файлье стоял во главе прямых сборов, Луи Дебок—во главе Национальной типографии, Фонтэн—заведывал государственными имуществами, Оливье—регистрацией, Повер—телеграфом; их же непосредственные сотрудники, без подготовки и без всякой опытности предварительной службы, принуждены были в течение суток занять места версальских беглецов и оказались настолько же умелыми, как и их предшественники.

Точно также и в комиссии самой Коммуны избранники, вышедшие из настоящей рабочей среды, как Варлен—в Интенданстве, Френкель—в Труде и Обмене, Журд—в Финансах, обнаружили столько же доказательств своих светлых способностей, ясного и быстрого понимания вещей, как и их товарищи буржуазного происхождения и образования, занимавшие места в других делегациях. Мы бегло познакомимся с ними, потому что здесь уместно будет бросить взгляд на труды различных делегаций Коммуны.

Мы не будем больше возвращаться к военной делегации, по крайней мере в данный момент, так как уже говорили о ней. Внешние сношения Паскаля Груссе долго нас не задержат, равно как и юстиция, с ее делегатом Прото.

Задача делегата по внешним сношениям во время Коммуны не могла быть сложной. Как и заранее можно было предполагать, Груссе тщетно пытался завязать сношения с иностранными дворами и их дипломатами. Последние не отвечали, и все сношения этого характера ограничились перепиской с немецкими генералами, командовавшими немецкими войсками, еще наполовину окружавшими Париж <sup>1)</sup>. Груссе имел, правда, еще другую задачу, представлявшую более насущный и бесспорный интерес и состоявшую в восстановлении связей, так грубо прерванных Версалем между столицей и провинцией, с целью держать последнюю в курсе событий, совершавшихся в Париже и под Парижем, что являлось лучшим средством внушить ей

<sup>1)</sup> По поводу этих сношений высказано было много неодобрительного. Повидимому, это неосновательно. Во всяком случае можно будет более здраво судить о том, что верно и что неосновательно в этих мнениях, когда Паскаль Груссе обнародует свой труд о Коммуне, который, к сожалению, он еще держит в своем портфеле.

*Прим. пер.* Дюбрель написал это в 1906 г. Насколько нам известно, Паскаль Груссе, вскоре после этого умерший, так и не обнародовал своего труда о Коммуне. Н. Т.

уважение и внимание к Коммуне. В этом направлении Паскаль Груссе сделал, повидимому, все возможное, но результатов достиг не вполне благоприятных. Черезчур сгущена была атмосфера недоверия, царившая между парижанами и провинциалами, а в данное время она еще была насыщена ложью версальцев. Черезчур плачевны вместе с тем были и те средства, которыми располагала делегация. Груссе мало содействовали его агенты, неоднократно отправляемые им в большие города страны, которые вначале заволновались было и восстали, как мы видели, но вскоре впали вновь в инертность и в индифферентизм; таким образом, в результате эта сфера его деятельности не дала благоприятных последствий.

С другой стороны, что мог сделать в сфере юстиции в 1871 г., в окруженном стенами Париже, делегат Коммуны? Момент был не подходящий для полной реформы юридической системы Франции, которую обдумывал, повидимому, Прото. Поэтому он очень скоро остановился на этом пути и ограничился только несколькими декретами и мерами, которые имели в виду упростить юридические формальности и сделать даровыми совершения некоторых актов, как, например, дарственных между живыми, завещаний, усыновлений, признаний незаконнорожденных детей, брачных контрактов, функций судебных приставов, оценщиков, судебных секретарей, всей этой ужасной клики, которая, конечно, вела глухую борьбу с Коммуной. Прото попытался превратить этих судебных чиновников в простых служащих, получающих определенное жалованье и обязанных взамен его вносить в финансовую делегацию суммы, получаемые ими за совершение соответствующих актов. Все это было, без сомнения, очень полезно. Прото пришлось также отбиваться от Рауля Риго, который пытался перейти в сферу его деятельности и не признавал в революционный период прав личности настолько же полно, как их признавал сам Прото. Мы познакомились с этим конфликтом, когда перейдем к деятельности делегации Общественной Безопасности.

В делегации Образования мы встречаем Вальяна. В тот момент главный вопрос заключался не в воспитании и не в педагогии, а в войне, и Вальян сознавал это, без сомнения, лучше многих других. В виду этого Вальян скорее только наметил тот путь, по которому он пошел бы, если бы сама революция имела время пойти по этому пути со всею полнотою власти, чем действительно пытался идти по нему. Проникнутый убеждением в необходимости освободить учащихся от всякого клерикального влияния при помощи светских программ, он уничто-

жил всякое преподавание религии в начальных школах и в то же время велел удалить из классных комнат все религиозные эмблемы. Он занят был также созданием профессиональных школ, которые дали бы возможность молодым людям ознакомиться с основами выбранной ими профессии и дополняли бы их вместе с тем научным и литературным образованием. Первую из таких школ он открыл в старом иезуитском заведении в улице Почт. В этой попытке реорганизации начального образования Вальяну помогала подкомиссия, состоявшая из специалистов, свободных в области воспитания от всяких буржуазных предрассудков,—это были Эли Реклю, Рама и гражданин Шампсе (Андре Лео).

Что касается высшего образования, то Вальян обращался в самых широких размерах к содействию общественной инициативы; например, для открытия медицинского факультета, брошенного официальными профессорами, он обратился к докторам и военным врачам, к свободным профессорам, а также и к студентам, которым он предложил самим выработать план преобразования медицинского факультета. Он покровительствовал также федерации художников, считавшей в числе своих членов таких высокоталантливых людей, как художник Густав Курбе, скульптор Далу, живописец Андре Жилль; эта федерация выступила с смелой программой реформ, уничтожавшей бюджет Школы Изящных Искусств и устанавливавшей нейтральную позицию государства по отношению к искусствам, учреждение общественных праздников и основание коммунальных училищ профессиональных искусств.

Как и его товарищи, Вальян в виду общего расстройтва, отставок и весьма частого бегства учебного персонала, должен был подписывать многочисленные назначения. Вследствие этого два заслуженных писателя сделались: один—Эли Реклю—директором Национальной Библиотеки, а другой—Бенжамен Гастино—директором Библиотеки Мазарини.

Коммуна—укрепленный лагерь революции, баррикада, за которой всякое человеческое существо, способное держать ружье, независимо от пола и возраста, должно было взяться за него, Коммуна могла при необходимости обойтись и без делегаций Юстиции и Образования, как она могла бы равным образом включить и свою делегацию Внешних Сношений в общую делегацию Обороны. Но, с другой стороны, она не могла жить, т. е. бороться, без правильно функционирующих общественных служб и без правильной организации обеспеченного подвоза жизненных припасов. Ее существенной обязанностью являлось,

следовательно, доставление пищи её защитникам, охрана их и руководство ими; эти защитники сливались, впрочем, со всем рабочим классом в его целом.

В этом отношении Коммуна выполнила до известной степени все необходимое при помощи двух своих делегаций—Общественных Служб и Продовольствия.

Комиссии Общественных Служб пришлось реорганизовать службы боен, освещение города, водопроводы и канализацию, погребение, дезорганизованные, как и все остальные, вследствие удаления по приказу из Версаля заведывавшего ими персонала. Остену, бывшему сначала делегатом, удалось с большими затруднениями преодолеть первые, возникавшие ежеминутно препятствия. Андрие, заменивший его 20-го апреля, также удачно справлялся с своими обязанностями. Андрие и Остену в этом, во всяком случае, очень помогли муниципалитеты округов, которые горячо принялись за расквартирование семейств пролетариев, жертв бомбардировки, в разных реквизированных помещениях.

Делегация Продовольствия, которой сначала заведывал Паризель, человек болтливый и наделенный нелепым воображением, перешла 20-го апреля к Виару, человеку дела, который внес и в эту область порядок и известную систему. Благодаря его уменью и предусмотрительности Париж ни на момент не испытывал лишения и страха, нередких в период первой осады. Снабжение припасами города совершалось регулярно через нейтральную полосу, и естественные припасы не поднялись даже в ценах. Тьер, рассчитывавший выморить столицу голодом, остался при одних своих пожеланиях.

Вопрос о продовольствии приводит нас к вопросу о финансах, от Виара мы переходим к Журду. Последний оказался несравненным практиком финансистом, умелым и деятельным администратором, которому удалось создать Коммуне солидный бюджет, не возбуждавший ни недоверия, ни критики, и он достиг этого, несмотря на ограниченные средства, которыми он располагал, и на все возникавшие со всех сторон препятствия.

Мы не будем указывать на его робость и на чересчур лойяльные предубеждения, так как мы уже имели случай отметить их, когда говорили о позиции, занятой правительством по отношению к Французскому Банку. Сделав, однако, эту оговорку, надо согласиться—и все признают это, как друзья, так и враги,—что, как служащий, Журд, поставленный событиями в положение заведующего финансами громадного города, подобного многим государствам, оказался вполне на высоте своей неблагодарной

задачи и обнаружил качества и способности, на которые буржуазия смотрит как на свойства, принадлежащие исключительно профессионалам своей касты, долгое время посвященным «втайне крупных финансовых предприятий».

Первой и ежедневной обязанностью Журда являлось накормить и доставить содержание приблизительно полумиллиону человеческих существ. По статистическим данным, обнародованным 15-го мая 1871 г. Одиганном в *Revue des Deux Mondes*, выходит, что из общего числа 600.000 рабочих, живших в Париже, в это время заняты были работой всего 104.000, из которых 62.500 женщин. Но всех остальных приходилось, во всяком случае, кормить, принадлежали-ли они к федеральной национальной гвардии, или-же это были старики, неспособные носить оружие, или, наконец, женщины, не пользовавшиеся поддержкой, вдовы или покинутые мужьями, которых в то время насчитывались тысячи и которых нельзя было оставлять умирать с голода, хотя-бы из простой гуманности. Второй, и не менее настоятельной обязанностью Журда являлось снабжение национальной гвардии всем необходимым для военных действий. Наконец, на том-же делегате лежала и забота о доставлении средств и жалованья всем остальным ведомствам, которые, как и его собственное, функционировали при Коммуне.

Какие-же средства были в распоряжении Журда для удовлетворения этих настоятельных и многочисленных требований? Он сам дал на этот счет сведения в заседании 2-го мая и снабдил их подробным перечнем поступлений и расходов главной кассы казначейства с 20-го марта по 30-е апреля. Этот отчет, подписанный его верным сотрудником и главным кассиром Ж. Дюраном, появился в *Journal Officiel* 4-го мая. Если мы рассмотрим сначала поступления, то увидим, что Журд нашел в разных общественных кассах, в министерстве финансов и в Ратуше, денежных сумм на 4.658.112 франков. Кроме того город Париж имел в Французском Банке на кредите остаток приблизительно в 9.400.000 франков, который по соглашению с Племем был выдан, причем эта сумма переведена была на текущий счет города. Так как в конце апреля сумма эта была уже израсходована, то Журд получил от директоров Банка обязательство ежедневно выдавать ему на руки 400.000 франков. В возмещение этого долга Журд предложил самому Банку принимать в свои кассы городские поступления. Таким образом, до 23-го мая Журд получил благодаря всему этому новую крупную сумму в 7.290.000 франков. До 30-го апреля регистрация и гербовый сбор дали 560.000 франков. Пять крупных железнодорожных

компаний внесли в свою очередь, исполняя декрет 27-го апреля, два миллиона в счет прежних просроченных взносов, должных ими государству. Наконец окт. уа, прямые и косвенные налоги, таможи, почта и телеграф, акциз на табак, рынки и базары дали с 20-го марта по 30-е апреля около 11 миллионов, из которых 8.466.988 франков пришлось на один городской налог на с'естные припасы (октруа). В общем поступление равнялось 26.013.919 фрайкам.

Расходов за тот-же период произведено было 25.138.089 франков. В круглых цифрах они были следующие: на военные действия ушло 20 мил., на интендантство—1.813.000, на все муниципалитеты—1.446.000, на Комиссию Общей Безопасности—235.000, на военные лазареты—182.000, на ведомство внутренних дел—103.000, на иностранное ведомство—112.000, на Национальную типографию—100.000, на пожарных—99.000, на торговлю—50.000, на Комиссию Баррикад—44.500, на флот—29.000, на различные рабочие ассоциации—24.662.

В результате 30-го апреля в бюджете Коммуны на остатке находились 875.000 франков. В течение мая Журд подписал ассигновок на 20 миллионов по новым расходам. Таким образом, Центральный Комитет и Коммуна израсходовали вместе немного более 46 миллионов и содержали при этом на эту относительно незначительную сумму еще армию в 170.000 человек.

Не имели-ли мы, в виду этого, права сказать, что никогда не бывало, ни ранее, ни после, другого правительства, которое бы так бережливо относилось к общественным деньгам? Это, однако, не помешало истинному тартюфу Жюлю Симону написать: «Никогда, ни при каком ином режиме не было столько хищений»... Этой строгой экономии и этому необыкновенному порядку содействовал, и даже в очень значительной степени, Журд. Он лично подавал пример экономии, завтракая за тридцать су в угольном ресторанчике вместе с своими сотрудниками или товарищами—Варлетом, Камелина, Перрашоном,—после того как поутру он пересчитывал целые кипы синих банковых билетов; а свою подругу он посылал мыть свое quasi-министерское белье в общественную прачешную. Позднее, во время его процесса, даже шакалы военных судов не могли усомниться в его честности и в правильности ведения им своего дела.

В делегации Труда и Обмена другой пролетарий Френкель, по профессии ювелир, обнаружил подобный же пример приспособляемости, разумного ведения дела и рвения. Но он не оставил такого-же яркого воспоминания, как Журд, потому что и самая задача, возложенная на него, была более благодарна и более

затруднительна. Всегда бывает легче собирать средства и согласовывать приход с расходом, чем плодотворно работать над организацией новых экономических отношений.

Френкель, последователь взглядов Интернационала, пропагандист социалистических идей при империи, в довершение окруженный в комиссии такими-же, как и он, прежними деятелями Интернационала, каковы Тейс, Малон, Авриаль, без сомнения, хотел, чтобы глубокий характер начавшейся революции мог свободно обнаружиться и привлек-бы к ней симпатии рабочего населения, благодаря его социальным преобразованиям; но достигнуть этого ему не удалось. Достигнутые им результаты стояли много ниже его планов и взглядов его сотрудников и членов Коммуны, которые глубоко сознавали необходимость тесно связать пролетариат с завязавшейся борьбой, убедив его в том, что ставкой в этой борьбе являлось освобождение самого пролетариата.

Официальная программа комиссии, если ее читаешь тридцать пять лет спустя, кажется удивительно бледной и почти ничтожной. Это программа исследования и подготовки, а совсем не программа действия и осуществления. В ней предвидены были исследования и собирания сведений; но готовых решений она не дает; весьма слабо, и в общих чертах только, намечены некоторые указания на необходимость изменения отношений между капиталом и трудом. «Комиссия, говорится в программе, имеет задачей специальное изучение всех реформ, которые необходимо ввести, как в общественных службах Коммуны, так и в отношениях между работниками—мужчинами и женщинами—и их хозяевами... Ее целью является также общее исследование труда и обмена для создания статистики... На комиссии лежит безусловный долг представления заинтересованным всех средств для группировки элементов, при помощи которых могут подготавливаться проекты декретов и т. д...».

Такими же недомолвками, имеющими более чем благо-разумный, скорее—какой-то исключительный характер, отмечены и самые действия Комиссии; редкие ее декреты, окрашенные социалистическим духом, например, относившийся до завладения брошенными мастерскими, или другой, запрещавший ночной труд в булочных, только-только еще начали применяться. Для критики в данном случае материала очень мало. Прежде всего, однако, надо решить вопрос, допускали ли вообще обстоя-тельства осуществления какой либо иной тактики? Пролетариат в своем целом был еще недостаточно сознателен, чтобы поддерживать даже эту тактику, да еще при необходимости вынести на

своих плечах ее требования, а, с другой стороны, Коммуна стояла перед встревоженной и напуганной мелкой буржуазией, которую черезчур решительный шаг революционного правительства несомненно бросил бы в лагерь реакции. Это-то особенно затруднительное и запутанное положение, без сомнения, и парализовало главным образом делегацию Труда и Обмена и повело к тому, что осуществление ее планов не стояло на высоте ее намерений. Вследствие тех-же причин Комиссия, которая должна была-бы лучше, чем кто либо, обнаружить те глубокие чаяния, которые заложены были в движении, в сущности не оставила после себя ничего такого, что давало бы право невежде или доктринеру сказать: «Коммуна была социалистическая, доказательством служит такой-то декрет, такие-то соображения, такие-то утверждения, в которых я нахожу обычные формулы и афоризмы социализма».

В действительности Френкель, как и лучшие члены Коммуны, оказался рабом среды и окружающих обстоятельств. В его распоряжении было только восемь недель, и каких недель? Это для дела, которое требовало месяцев и годов, и, кроме того, он пользовался только одною видимостью власти для такого труда, который требовал энергичного содействия сознательной воли всего пролетариата, т. е. диктатуры его.

О делегации префектуры полиции, мы уже говорили, как и о военной делегации, и можно-бы ограничиться этим кратким обзором, если-бы важное значение некоторых переговоров, возникших по инициативе Риго и вытекавших из его функций, не вынуждало нас еще раз коснуться этой делегации. Дело идет о переговорах, имевших в виду обмен заложников на Бланки.

Исполняя декрет, принятый Коммуной в заседании 5-го апреля в ответ на версальские жестокости, Риго арестовал и заключил под стражу около сорока лиц, главным образом, духовных, среди которых были: архиепископ Дарбуа, его главный викарий Лагард, кюре церкви Мадлены—Дегерри и много отцов иезуитов. Эти лица должны были, по мнению Риго, отвечать за пленных федералистов, в случае, если бы повторились военные казни, подобные расстрелу Дюваля, Флуранса и их товарищей. Однако, как на это и рассчитывали в Ратуше, одной лишь угрозы оказалось достаточно, чтобы обуздать версальское неистовство. Благодаря такому обороту дела, Риго и его товарищам по префектуре пришла мысль, нельзя ли воспользоваться этими «заложниками» (которых между прочим, добродушная Коммуна содержала очень хорошо, разрешив им получать пищу с воли,

белье и разные издания)—для другого полезного дела, для освобождения Бланки?

Бланки снова был пленником реакции. Будучи избран в Коммуну от XVIII и XX округов, он не мог явиться на свой пост. В виде репрессии за победоносное восстание 18-го марта Тьер арестовал его уже 19-го марта в Ло, у его родных, куда он поехал для отдыха. Уставшего и больного, его препроводили в тюрьму в Фижаке, и с тех пор никто не имел о нем никаких сведений. Риго был фанатическим поклонником старого революционера и относился к нему почти с идолопоклонством: он был убежден, что, будь Бланки во главе Коммуны, он вдохнул бы в нее жизнь и мужество и обеспечил-бы этим ее торжество. Благодаря этому Риго приложил все усилия, чтобы при помощи обмена на заложников освободить вечного узника, в котором видел верного спасителя инсurreкционного движения.

8-го апреля архиепископ, посвященный в эти планы, написал Тьеру письмо, в котором, сообщая о расстреле без суда пленных федералистов, он «просил его предупредить повторение этих жестоких эксцессов». На это частное письмо Тьер не ответил. Его решение хотя и было уже принято, но он не считал еще удобным познакомиться с ним парижан. По тем-же причинам, через день или два после этого, он выпроводил без ответа и старого друга Бланки Флотта, который, не имея официального поручения, но с согласия значительного числа членов Коммуны, явился предложить ему обмен заключенного в Фижаке на многих из заложников.

После этих первых неудачных попыток Риго решил предпринять гласные и официальные шаги. Архиепископ поставлен был в известность о происшедших уже переговорах и согласился лично написать Тьеру письмо, в котором излагал условия возможного соглашения, к которым лично вполне присоединился.

Вот содержание этого письма, познакомиться с которым очень важно, чтобы иметь возможность судить беспристрастно о том, что получило впоследствии название «трагедии заложников», и решить, кто был истинным виновником расстрелов в Ла-Рокет и в улице Аксо.

«Тюрьма Мазас, 12-го апреля 1871 г.

«Господин Президент!

«Имю честь передать вам сообщение, полученное мною вчера вечером, и прошу вас отнестись к нему так, как Вам подскажут Ваша мудрость и гуманность.

«Влиятельная личность, тесно связанная с г. Бланки известными политическими идеями и особенно узами старинной и прочной дружбы, деятельно хлопочет о его освобождении. С этой целью это лицо от себя предложило комиссарам, которых это касается, такую сделку: если г. Бланки выпустят, то получают свободу парижский архиепископ и его сестра, г. председатель Банжан, г. Дегерри, кюре церкви Мадлены, и Лагард, главный парижский викарий, тот самый, который передаст вам настоящее письмо. Предложение это было принято и меня просят поддержать его перед Вами.

«Хотя я и заинтересован лично в этом деле, но, все-же, осмеливаюсь поручить его Вашей высокой благосклонности и надеюсь, что мои мотивы покажутся Вам благовидными. Среди нас и без того уже существует черезчур много поводов к несогласиям и раздражениям. В виду этого, так как теперь представляется случай к переговорам, которые, к тому же, касаются личностей, а не принципов, то не благоразумно-ли было-бы пойти им навстречу и содействовать этим успокоению умов? Общественное мнение, пожалуй, использовало-бы отказ в этом случае в нежелательном смысле. В острых кризисах, как тот, который мы переживаем, репрессии, казни за возмущение, хотя-бы они коснулись только двух или трех лиц, только усиливают страх одних, ненависть других и только еще более ухудшают положение. Позвольте мне сказать Вам, не вдаваясь в подробности, что этот вопрос гуманности заслуживает того, чтобы Вы обратили на него все Ваше внимание при настоящем положении вещей в Париже.

«Осмелюсь-ли я, г. Президент, высказать вам мой последний мотив? Тронутая рвением того лица, о котором я уже писал, и его искренней дружбой к г. Бланки, моя душа человека и священника не могла противиться его прочувствованным просьбам, и я принял предложение просить Вас о возможно скором освобождении г. Бланки. Что и делаю этим письмом.

«Я был-бы счастлив, г. Президент, если-бы просьба моя не показалась вам невозможной. Я бы оказал ее исполнением услугу многим лицам и даже всей моей стране».

Письмо это, о чем и упоминается в нем, вручено было главному викарию Лагарду, который должен был передать его в собственные руки главе исполнительной власти и привезти ответ. Флотт провожал посланного до вокзала и взял с него обещание вернуться, каковы-бы ни были результаты его миссии. «Если-бы меня должны были расстрелять, я все-таки вернусь!». воскликнул Лагард. В этом-же он поклялся и архиепископу.

Но, несмотря на это, он не вернулся, постаравшись соединиться с своим архиепископом по возможности позднее... и то только в раю.

Пять дней прошло без всяких известий. Тьер ответил, но только на первое письмо архиепископа, в котором говорилось об избииении пленных федералистов и которое только что было обнаружено в одной из парижских газет—L'Affraпshі Паскаля Груссе. Ответ был неблагодарумен, и притом полон наглой-лжи! «Факты, на которые Вы обращаете мое внимание», осмеливался писать циничный злодей, «безусловно ложны, и я искренно удивлен, что такой просвещенный прелат, как Вы, монсеньер, мог хотя на мгновение допустить, что в них могла быть доля истины. Никогда армия не совершала и не совершит позорных преступлений, приписываемых ей людьми, которые сами убивают своих генералов и не страшатся в дополнение к ужасам внешней войны вызвать ужасы гражданской... Я отвергаю, монсеньер, ту клевету, которую передали Вам, я утверждаю, что никогда наши солдаты не расстреливали пленных... Примите, монсеньер, выражения моего уважения и сожаления, испытываемого мною, видя Вас жертвой ужасной системы заложников, перенятой у режима Тррора, которая, казалась-бы, никогда не должна была возобновиться у нас».

В этом письме Тьер делал вид, будто ему неизвестно, что он может спасти жизнь архиепископа и его товарищей, что для этого ему следовало сказать только простое «да» на предложение, уже переданное ему главным-викарием заключенного. Что-же касается до последнего, который тотчас-же понял злодейские намерения правителей, выданные типичным восклицанием простоватого Бартеlemi Сент-Илера: «Заложники! Заложники! Но мы ничего не можем сделать! Что-же сделать? Это уже их несчастье»,—то ему оставалось только подумать, как спасти себя. «Поддельный Регул», как его после окрестили в ризницах, не мечтал о венце мученика. Пять дней он сидел спокойно. 17-го Флотт получил, наконец, письмо, в котором главный викарий сообщал, что дело все еще не решено и требует его присутствия в Версале; о том же он написал и архиепископу. В настоящее время мы знаем, что 15-го Тьер предупредил Лагарда, что через два дня он передаст ему ответ и что этот вопрос действительно рассматривался в совете министров и в комиссии пятнадцати, которые постановили решительно отказать. Тьер, его министры и Пятнадцать составляли одну голову, покрытую одним и тем-же колпаком. Лагард, бывший в курсе всего дела, тем не менее 17-го и 18-го послал два новых письма своему архи-

епископу, в которых об этом ответе ничего не сообщалось. Тогда архиепископ нашел, что шутка продолжается уже черезчур долго. 18-го его посетил вполне основательно встревоженный Флотт, которому он и передал весьма категорически составленное письмо к своему главному викарию, в котором он приглашал этого господина не тянуть долее суток своего пребывания вне Парижа. На это письмо Лагард ответил следующей запиской, написанной карандашом на клочке бумаги: «Г. Тьер все еще продолжает задерживать меня, и я могу только ожидать его приказаний, как я уже неоднократно и писал монсеньеру. Как только узнаю что либо новое, тотчас же напишу».

Намерения Лагарда становились очень прозрачными. Архиепископ согласился в этом с Флоттом и передал через посланника Соединенных Штатов Лагарду следующее требование: «По получении этого письма, независимо от того, в каком положении найдутся переговоры, на которые он уполномочен, г. Лагард должен немедленно ехать в Париж и вернуться в Мазас. Безусловно недопустимо, чтобы недостаточно было десяти дней для правительства решить вопрос, принимает оно или нет предложенный обмен. Задержка эта нас сильно компрометирует и может иметь печальные последствия».

Главный викарий ничего не ответил на это требование выполнить свои обязательства. Впоследствии, в качестве извинения, он приводил ту причину, что ниже его достоинства, будто-бы, являлось привезти своему архиепископу запечатанный ответ на письмо, которое им было передано открытым.

Нунций Чиги и посланник Вашбёрн негласно возобновили прерванные переговоры. Архиепископ Дарбуа с своей стороны послал Тьеру меморандум, в котором доказывал, что он может выпустить на свободу Бланки без всякого риска. Председатель Бонжан тоже написал старому плуту, который держал в своих руках его судьбу, а значительно позднее, 12-го мая, юре Дегерри также обратился к помощи пера, «пользуясь случаем напомнить о себе г-же Тьер и М-ле Дон». Из всего этого ничего не вышло. Эти последующие попытки имели тот-же результат, как и первые, сделанные под непосредственным внушением Риго. Сопrotивление Тьера было непреодолимо. Он не желал выпускать Бланки и дать основание думать, хотя бы и по побочному поводу, что переговаривается с «инсургентами» и этим как-бы признает их за воюющую сторону, что он безусловно отказывался допустить. Для полноты его сценария недоставало смерти нескольких черных и фиолетовых сутан от пуля федералистов. Возможно, что лично он не толкнул-бы архиепископа и его товарищей в западню, но раз

они туда уже попали, то он-то их из нее уже не вытащит! «Заложники» по его воле превратятся в славных мучеников за дело Порядка и узаконят в глазах буржуазной Франции и всего мира применение всевозможных репрессий, хотя-бы они и выражались в народной войне.

Долготерпение Коммуны чуть не разрушило этих надежд коварного прозорливца. Только в самую последнюю минуту последние защитники революционного дела решили, что и им позволительно воздать око за око и зуб за зуб, применив декрет, остававшийся до этого времени мертвой буквой.

Если мы рассказали здесь несколько подробно эти переговоры, то именно с целью уяснить ответственность каждого в этом инциденте. Беспристрастные исторические данные говорят, что Коммуна в момент собственной агонии исполнила только приговор, подписанный самим Тьером и версальцами. Исследование позволяет отнести исключительно на счет реакции и те девяносто четыре трупа заложников, павших в тюрьме Ла-Рокет и в саду улицы Аксо, прибавив их к тем 30.000 парижанам и парижанкам, которые убиты были той-же реакцией, под предлогом отмщения за первых.

#### XIV. Миротворцы.

Как мы уже говорили, неудача федеральных батальонов 3-го и 4-го апреля глубоко и радикально видоизменила отношения к Коммуне среднего парижского класса. Колеблясь в течение последних недель марта между решениями признать или не признавать инсurreкционное правительство, буржуазные элементы, принадлежавшие к торговле, промышленности и к свободным профессиям, некоторое время склонялись к первому решению, и мы даже видели, что они являлись советовать Коммуне поход на Версаль с целью снятия блокады с Парижа. Без сомнения, победа удержала-бы их под революционным знаменем, но Коммуна потерпела поражение, и вот внезапно чувства осторожности взяли верх: Коммуна сделала ась или снова стала для всего, что не принадлежало в Париже к чисто и к явно пролетарским элементам, если не врагом, то, во всяком случае, чем-то чуждым, от чего следовало держаться на известном расстоянии.

С этого дня охлаждение буржуазии продолжало усиливаться беспрерывно. Оно обнаружилось отставками последних представителей центральных кварталов, которые еще заседали в Коммуне, гамбеттистов Ранка и Улисса Парана—5-го апреля,

Гупила—несколько дней спустя. Оно обнаружилось также и в перемене тона влиятельной республиканской прессы: сначала Temps, затем Avenir National, Vérité, Siècle, даже Rappel, покидают свою выжидательную нейтральную позицию, почти симпатизирующую, и начинают поддерживать, пока что, планы и попытки третьей партии, только что народившейся партии миротворцев, а затем, по крайней мере, некоторые из них, пристают к хору газет реакции, которые из Версаля позорили, унижали и запатывали в грязь восставший народ.

Миротворцы находятся всюду и всегда. Начиная с вечера 18-го марта они встречались в Париже на всех перекрестках, в кабинетах всех мэрий и в помещениях всех редакций. Мы видели уже их за работой. Без сомнения, некоторые из них руководились наилучшими пожеланиями, но их благочестивые попытки повели только к тому, что задержали действие Центрального Комитета и парализовали революцию на самой ее заре. В апреле вновь появились те же люди, или почти те же, за исключением прямых ставленников Тьера в роде Тирара или Мелина. Дело шло о том, чтобы мирным путем получить от Версаля формальное признание республики и парижских муниципальных вольностей. Кроме того, так как на этот раз революция имела в лице Коммуны свое законное выражение, они желали принудить Коммуну ограничить свою власть или даже, что казалось им наилучшим, совершенно отказаться от своих полномочий.

Инициаторам подобного соглашения, буржуазным радикалам, как Клемансо, Локруа и Флоке, казалось, что в Коммуне чересчур много рабочих и социализма. Они думали, если и не выражали этого открыто, что между монархическим Национальным Собранием и восставшим республиканским Парижем найдется место и для их котерии, которую они уже величали партией. По внешности радикальная, но по существу консервативная, эта буржуазная партия менее архаичная, чем однородные ей другие партии, должна была, по их предположению, сохранить неприкосновенными и даже еще более укрепить все социальные привилегии, используя с наибольшей полнотой республиканские и демократические формы.

Могла ли Коммуна склоняться на подобные предложения? Нет. Хотя бы по той простой причине, что они ставили вопрос в сущности о ее смерти. А затем вследствие еще более решительного довода, состоявшего в том, что признания тех прав, которые третья партия выставила наравне с Коммуной, т. е. признания республиканских свобод, коммунальных вольностей, народ-

ного изорания начальников национальной гвардии,—нельзя было просить у версальского Собрания в виде милости, или милостивых и великодушных уступок, но можно было только рассчитывать завоевать силою оружия на поле битвы. Это было ясно, только слепой мог не видеть этого.

Таким образом, в поведении Коммуны после первой публичной манифестации миротворцев нет ничего удивительного. Произошло это 5-го апреля. Миротворцы создали население на митинг в Бирже и изложили свои цели в воззвании, широко распространенном прессой. Воззвание требовало у Национального Собрания «вотировать республиканские учреждения и в особенности отвергнуть, как повод к гражданской расправе, проект муниципального закона, в силу которого городам с числом жителей более 3.000 не полагалось иметь мэра». Но вместе с тем это воззвание энергично порицало «политические поползновения» Коммуны и приглашало ее вернуться к ее компетенции муниципального собрания. Коммуна возражала на это: «Реакция любит прикрываться всякими личинами. На этот раз она выбрала маску примирения. Примирение с шуапами и монархистами, которые умерщвляют наших генералов и избивают наших обезоруженных пленных, примирение при таких условиях называется изменой». Она запретила собрание и уполномочила военного делегата и коменданта рассеять манифестантов, при необходимости, даже силой.

Коммуна, действительно, и не могла действовать иначе, как бы искренни сами по себе ни были намерения некоторых из миротворцев. Позднее Тейс писал по этому поводу <sup>1)</sup>: «В борьбе народа с недобросовестными людьми, эксплуатирующими его, примирение может быть достигнуто только его победой». Таково было в данный момент мнение всех членов Коммуны и всех парижских борцов.

Изгнанные с улицы, миротворцы укрылись в помещениях союзов.

Среди этих союзов два играли особенно выдающуюся роль: Национальный Союз Синдикальных Палат и Республиканский Союз Прав Парижа.

Национальный Союз объединял до пятидесяти синдикальных палат, и число зарегистрированных в нем торговцев и промышленников превышало семь тысяч человек. Союз уполномочил вести дело постоянной комиссии, в кото-

<sup>1)</sup> Письмо Тейса в Constitution, 16 сентября 1871 г.



рую вошли известные негодяи: Луазо Пенсон—председатель палаты красильщиков, Бараге—председатель палаты наборщиков-типографов, Жози—председатель палаты рабочих слесарей при постройках, Левалуа—помощник председателя палаты шерстяных ткачей, Люлье—председатель палаты басонного производства; главную же роль играли в этой комиссии два публициста Ш. Лимузен и Жюль Амиг. Последний несколько лет спустя стал бонапартистом, но в описываемое время он, повидимому, действовал, как истинно убежденный человек.

**Н а ц и о н а л ь н ы й С о ю з** познакомил публику с своими целями при помощи манифеста, в котором утверждалось, что обоюдные несогласия как со стороны Национального Собрания, так и со стороны Коммуны вызываются главным образом недоразумением, разъяснить которое могло бы освещающее вопрос и благотворительное вмешательство. С этою надеждою Союз готов вступить в переговоры с Собранием и с Коммуной, чтобы предложить им положить в основу миролюбивого соглашения «установление республики, вне которой возможно только ожидать целого ряда замешательств и бедствий», и «организацию муниципальных вольностей города Парижа на самых демократических основаниях, но не затрагивающих политической власти, которая всецело принадлежит к сфере общих интересов Франции».

Более яркий политический характер носил первый манифест от 3-го апреля, который обнародован был, после неудачного собрания в Барже, **Л и г о й Р е с п у б л и к а н с к о г о С о ю з а П р а в П а р и ж а**. Подписан он был тремя парижскими депутатами в Национальном Собрании—Клемансо, Фюке и Локруа, то есть о чем отказавшимися от званий депутатов. Затем его же подписали: Бонвате, экс-мэр III окр., Корбон—экс-мэр XV окр., Мотго—экс-мэр XI окр., Алпэч Гарже, Ж. Лешвалье—префекты Национальной Общины, Лоран-Пиша, Изамбер, Стюпи, Жоббе-Доваль. Одним словом, весь цвет радикализма вчерашнего и завтрашнего дней. Не будет бесплозным привести и самый манифест, потому что им закладывалось основание будущей партии, многие члены которой должны были сыграть впоследствии крупную роль. Содержание манифеста следующее:

«Избегнуть гражданской войны оказалось невозможным.

«Нежелание герсальского Собрания признать законные права Парижа роковым образом повело к пролитию крови.

«В настоящее время надо позаботиться, чтобы борьба, которая приводит в отчаяние всех граждан, не имела бы своими последствиями потерю республики и наших свобод.

«В виду этого необходимо, чтобы ясно составленная программа, объединяющая одной общей мыслью все громадное большинство парижских граждан, положила бы конец смуте умов и раз'единенности усилий.

«Нижеподписавшиеся, объединившись под именем Лиги Республиканского Союза Прав Парижа, приняли следующую программу, выражающую, по их мнению, желание парижского населения.

«Признание республики.

«Признание прав Парижа на самоуправление и на самоопределение при помощи совета, свободно выбранного и автономного в границах заведывания им полицией, финансами, общественной благотворительностью, образованием и в сфере осуществления свободы совести.

«Охрана Парижа поручается исключительно национальной гвардии, составленной из всех способных к военной службе избирателей.

«Защите этой программы члены Лиги и желают посвятить все свои усилия и приглашают всех граждан помочь им в этом, присоединяясь к Лиге, дабы члены ее, опираясь на это согласие, могли предпринять энергичную попытку к примирению, которая способна была бы повести к восстановлению мира и к сохранению республики».

Параллельно с Лигой Республиканского Союза те же идеи и подобные же намерения сгруппировали еще других лиц, вышедших к тому же из среды весьма близкой Лиге, а именно—ученых, художников, учителей, публицистов. В их числе были: Андре Лефевр, Летурно, Луи Асселин, Кудро, Ив Гюйо, доктора Онимусы, Мерсье, Бургуань, Даньон и еще двадцать других, которые в опубликованной ими декларации от «Республиканского Согласия» формулировали свою программу в следующих тезисах: I. Неоспоримость республики, демократической и светской; II. Автономная Коммуна, свободно избранная и часто возобновляемая, как муниципальное, социальное и политическое выражение интересов города; III. Федерация коммун, взаимная гарантия их автономии.

Затем, помимо всего этого, профессор медицинского факультета Ш. Пажоль, врач больниц Деласиов, адвокаты, врачи, инженеры, художники—писали Тьеру: «Милостивый Государь... Вы предполагаете, что имеете дело с возмущением. Вы находитесь лицом к лицу с определенными и общераспространенными убеждениями. Громадное большинство столицы стоит за республику, за фактический образ правления данного времени,

который нельзя изменить без революции, как высшее право, стоящее вне решения... Париж, справедливо или нет, видел во всем поведении Собрания затаенное желание восстановить монархию, источник всех наших ужасных бедствий. Многие из граждан были не согласны в вопросе о своевременности материального сопротивления, но выводили из этого заключение о несогласии и во взглядах на преимущества республиканского правления значило бы с Вашей стороны впасть в грубую ошибку».

Эти цитаты и подписи показывают те чувства и тенденции, которые господствовали в это время среди состоятельной и просвещенной буржуазии. Последняя еще не перестала склоняться, в принципе, по крайней мере, на сторону Коммуны, поскольку последняя символизировала идею приверженности к республиканскому образу правления и защиты муниципальных вольностей; но эта тенденция носила исключительно платнический характер: чувствовалось, что за нею не последует никакого согласного действия. Буржуазия готова была утверждать, наравне с Коммуной, что необходимо сохранить республиканский режим и ввести широкие муниципальные вольности, но она твердо решила не присоединяться к пролетариату для совместного совершения какого-либо насильственного действия. Она надеялась на добрую волю Версаля. Она искала защиты от плохо осведомленного будто-бы Тьера у Тьера-же, но лучше осведомленного. В этом видна была, без сомнения, трусость, но был также и расчет. Дело в том, что одна мысль беспокоила и смущала эту буржуазию, хотя это и не проявлялось открыто в ее декларациях, и эта мысль заставляла ее даже опасаться скорее успеха Коммуны, чем ее поражения; это была боязнь той социалистической основы, которая проглядывала и разгадывалась в движении, которое увлекло за собою рабочий Париж. Лучшим из буржуазных республиканцев: эти новые хозяева Ратуши, эти рабочие, эти последователи Интернационала или бланкизма, внезапно выплывшие на первый план, ничего путного не сулили, потому что они черезчур открыто олицетворяли собою доктрины и интересы другого класса, который уже восставал вчера при империи, покровительствуемый ими, но который обнаруживал теперь тенденцию все более и более обособляться в особый класс с противоположными им интересами.

В виду этого доброе намерение и демократическое рвение самых решительных и непоколебимых сторонников примирения состояло в том, чтобы осуществить, с одобрения Версаля, но против Коммуны, лишь некоторые из ее идей: до этого предела буржуазия согласна была идти, но не дальше.

Такое и так обусловливаемое вмешательство было уже заранее обречено на неуспех. Правая сторона Национального Собрания, сознавая свое всемогущество, не имела никакой нужды соглашаться и мириться с революцией, она предпочитала победить, так как имела для этого в руках верные средства. Из за каких соображений должны были правые элементы соглашаться на переговоры, которые придали бы совершенно иной вид их победе и поставили бы их в необходимость делить плоды ее с партией, которая ничего еще серьезного из себя не представляла в то время и которую было выгодно держать тоже в подчиненном положении? Что же касается Тьера, который допускал только консервативную республику, т. е. такую, которая управлялась бы людьми и правительственными приемами старых режимов, то он менее, чем кто либо, расположен был видеть что либо серьезное в этих посредниках и в их переговорах; и он им ясно дал понять это при первом же представившемся случае.

8-го апреля Тьер принял делегатов **Н а ц и о н а л ь н о г о** **С о ю з а С и н д и к а л ь н ы х П а л а т**; это были Роль, Левалуа, Марестэн, Люилье, Жюль Амиг, которых представил ему его верный Бартеlemi Сент-Илер. Эти делегаты предварительно носили свой плохой федералистско-автономный товар на рынок, т. е. к г.г. представителям правых и левых групп версальского Собрания, которые горячо обсуждали с ними сравнительные достоинства централизации и децентрализации. Тьер, однако, не пошел в эти извилистые закоулки. Он прямо перешел к фактам. «Он поклялся своей честью, что, пока он жив и у власти, республика никогда не падет». На второй пункт о вольностях Парижа он заявил, что «Париж должен ждать от правительства применения общего муниципального закона, того самого, который будет вотирован Собранием. и ничего больше». Что же касается прекращения военных действий, вооружения и организации национальной гвардии и общей амнистии, т. е. тех пунктов, на которые делегация тоже обратила его внимание и которые были во всяком случае настолько же важны, потому что их решение вынуждало правительство стать на почву фактов, то Тьер не дал себе труда даже ответить на них, и делегация вынуждена была удовольствоваться одним его красноречивым молчанием.

12-го произошел визит делегатов **Л и г и Р е с п у б л и к а н с к о г о С о ю з а П р а в П а р и ж а**—А. Адама, Бонвале и Дезонна. Лига перед отправкой своих уполномоченных выпустила новое, возбуждающее воззвание, в котором говори-

лось: «Если версальское правительство останется глухим к этим законным требованиям, пусть оно знает, что весь Париж подыметься на их защиту». Это было ясно, но Тьер не испугался этого ультиматума; он был осведомлен и знал, что за словом дела не последует. 12-го он ответил то же самое, что и говорил и 8-го, но еще более кратко и с еще меньшими умолчаниями. «Пока я у власти, я гарантирую существование республики. Муниципальные вольности Парижа будут те же, что и всех других городов, и именно такие, какими их определит закон, выработанный Собранием. Париж подчинится общему праву, не больше и не меньше. Армия войдет в Париж. Жалованье, назначенное национальной гвардии, будет выплачиваться еще несколько недель». По поводу амнистии он сказал, что «тот, кто откажется от борьбы, будет освобожден от всяких преследований, за исключением, впрочем, убийц генералов Клемана Тома и Леконта».

Таким образом, Лига потерпела поражение по всем пунктам. Она получила лишь уверение Тьера, что, пока он у власти, он гарантирует республику. Никто и не сомневался в том, что Тьер предпочтет режим, предоставлявший ему полновластие, режиму монархии, при которой он во всяком случае мог быть только вторым, пользуясь при этом неверной и случайной властью. Да и о какой республике он говорил! О республике только по имени, без республиканских агентов, как он в этом вскоре и сам признается, в особенности же без республиканских принципов. Во всем остальном Тьер попрежнему был непреклонен и высказал даже мрачную угрозу, очень ясно все пояснявшую: «Армия войдет в Париж»...

После этих переговоров, если бы парижские буржуа имели какиенибудь убеждения и мужество, они взялись бы за оружие, как они это обещали, они присоединились бы к пролетариату ради общей борьбы. Но они не двинулись и продолжали свои тайные переговоры, прогуливаясь из Парижа в Версаль и обратно, причем их принимали и выслушивали все неохотнее. Но с этого момента они уже не могли оправдать власть ее неведением. Если Тьер ясно высказался в их присутствии, то еще более ясным языком он говорил, обращаясь к Франции. В телеграммах к своим префектам он ясно указывает, что примирение и переговоры не занимают места в его мыслях, что это все чушь, на которой честном и серьезному человеку не стоит и останавливаться.

11-го апреля, после свидания с делегатами Синдикальных Палат, он пишет: «Ничего нового... Против республики конспи-

рируют только парижские инсургенты; но против них подготовляются непреодолимые силы, и их стараются сделать таковыми именно вследствие желания избежать пролития крови. 13-го апреля, после посещения делегатов Республиканского Союза, он воспользовался этим посещением для следующего заявления: «Инсurreкция проявляет много признаков усталости и истощения. В Версаль являлось много посредников для переговоров, не от имени Коммуны, конечно, так как они понимали, что, если бы они явились от этого имени, их даже не приняли бы, но от имени искренних республиканцев, требующих сохранения республики и желающих, чтобы к побежденным инсургентам применены были более умеренные меры. Ответ был прежний. «Никто не угрожает республике, кроме самих инсургентов; глава Исполнительной власти лояльно исполнит то, что уже многократно заявлялось им в его декларациях. Что же касается инсургентов, то, за исключением убийц, все, положившие оружие, сохранят свою жизнь. Бедствующие рабочие сохранят в течение нескольких недель субсидию, дававшую им возможность существовать. Париж, как Лион, как Марсель, получит выборное муниципальное представительство и, как и другие города Франции, свободно будет заведывать городскими делами, но для всех городов, как и для отдельных личностей, будет существовать только один закон, единый, и пользоваться привилегиями никто не будет. Всякая попытка к отделению, предпринятая на любой части территории, будет энергично подавлена во Франции, так же точно, как она была подавлена в Америке».

Одно обстоятельство всего более помогло Тьеру приобрести подобную самоуверенность и такое высокомерие: это та позиция, которую заняли республиканские и радикальные депутаты, представлявшие Париж в Национальном Собрании. За вычетом Делеклюза, Курне, Пиа, Малона, Разуа, Мильера, которые более или менее открыто перешли к Коммуне, и Клемансо, Флоке и Локруа, только что отказавшихся от звания депутатов, чтобы иметь возможность более свободно действовать, как они полагали нужным, все остальные депутаты имели такой вид, как будто бы они даже и не знают, что их город и их избиратели подвергаются бомбардировке. Эти депутаты назывались: Луи Блан, Эдгар Кине, Пейра, Эдмон Адам, Дориан, Бриссон. Они были известны всей французской демократии и пользовались у нее авторитетом. Достаточно бы о-бы, чтобы, даже не присоединяясь к коммунальному движению, они дали только свои имена и оказали поддержку Республиканской Лиге, чтобы придать

вес и значение этому буржуазному вмешательству в пользу прав столицы и вынудить этим центральную власть выслушать делегатов и начать переговоры. Их присоединение неизбежно повлекло-бы за собою и участие всех больших городов, взоры которых обращены были именно на них, т. к. в них города видели естественных вождей демократии, и от них ждали совета и руководства. Эти лица могли вызвать умиротворяющее и сильно импонирующее течение, которому пришлось-бы, может быть, уступить. Тьер хорошо понимал это. Поэтому, когда он увидел, что они умыкают руки в уже начавшемся кровопролитии и заботятся только о том, чтобы заверить всякого встречного, что в Версале имеется налицо еще достаточная доза верности республике и что парижане уже чрезчур требовательны, он облегченно вздохнул, решив, что спокойно может заняться расправой.

Лежал-ли в основе поведения этих депутатов формальный договор или оно явилось результатом простого молчаливого соглашения? Это безразлично. Но следует, во всяком случае, заметить, что после 28-го или 30-го марта представители Парижа уже не появлялись на парламентской трибуне. Храня молчание на своих скамьях, они невозбранно позволяли правым вопить во всю мочь о «разбойниках-парижанах», т. е. о своих избирателях; они не препятствовали Тьеру и его министрам сеять яд их клевет, позволяли им обманывать департаменты и лгать сколько влезет. Своим друзьям парижанам, которые или протестовали против них, или настаивали и умоляли их, они коррестно заявляли, что Тьер переменялся, что само Собрание присоединялось к новому режиму. Единственный раз, когда они еще раз выступили публично, они сделали это, чтобы повторить и засвидетельствовать пред своими избирателями посредством документа, под которым подписались-бы одновременно и Жокрисс и Тартюф, что все в Версале, или почти все—республиканцы.

«Обращаясь к парижскому населению, мы ему скажем, что в конце концов республика существует фактически, что она имеет в Собрании энергичных и бдительных защитников; что еще ни один член большинства не поставил открыто вопроса о республиканском принципе». И после этих прекрасных заверений они убеждали своих сограждан сложить оружие. «Что же касается нас», прибавляли они, и это следует в особенности отметить во всем этом позорном факте, «мы останемся на посту, на который послало нас голосование наших сограждан, как ни трагично положение, созданное для нас событиями. Мы

останемся, пока не иссякнут наши силы. Если республике будут угрожать опасности, то это обстоятельство явилось-бы для нас еще лишним поводом защищать ее там, где она всего больше нуждается в защите и где это возможно сделать с помощью действительно плодотворного оружия: свободного обсуждения и разума»<sup>1)</sup>).

После этого ничем неприкрытого заявления, контр-революции нечего уже было стесняться. Она получила оправдание, и глава исполнительной власти мог, исполняя свое желание, досыта напоить ложью и алкоголем ту армию, которая превратит избирателей Луи Блана и ему подобных в трупы, для удобрения ими земли, или в каторжников, для транспортировки их в тюрьмы Новой Каледонии.

Поэтому надо-ли удивляться в настоящее время, что миротворцы Республиканской Лиги могли добиться, и то только однажды, а именно 25-го апреля, всего на всего перемирия на 16 часов, которое позволило жителям несчастного местечка Нейльи покинуть погреб, где они спасались от бомбардировки уже целые недели, и удалиться, смотря по желанию, или в Париж или в Версаль?

Масонские логи, равным образом старавшиеся о миролюбивом соглашении между сражающимися, не достигли даже и этого. Представители логи пытались также дойти до Тьера и смягчить его; но они приписывали себе влияние и значение, которыми не пользовались. Глава исполнительной власти ознакомил их с этим: он их принял на ходу и отвтил одними угрозами. Это произошло в конце апреля, когда время разговоров и ораторских выступлений уже миновало, а армия Порядка была готова к атаке и боине. «Что же вы намерены делать?»—спросила масонская депутация.—«Защищать Собрание против всех и вся!» ответил Тьер. «И для этого мы будем разрушать дома и убивать людей, пока право не останется за силой».

Но масонские умиротворители были во всяком случае настолько честны и мужественны, что после этой неудавшейся попытки примирения они исполнили данное ими обещание и предписали всем своим «братьям» присоединиться к Коммуне. 26-го апреля они явились в Ратушу и заявили: «Исчерпав все средства примирения с версальским правительством, франкмасонство решило поднять свои знамена на укреплениях Парижа

<sup>1)</sup> Документ этот появился 8-го апреля и его подписали: представители Парижа, находящиеся в Версале—Луи Блан, Анри Брессон, Эдмон Адам, Ж. Тирар, Э. Фарси, А. Пейра, Эдгар Кинэ, Ланглуа, Дориан.

и, если их коснется хотя-бы одна пуля, франк-масоны пойдут единодушно против общего врага».

И действительно 29-го, с белыми и красными знаменами, они направились за десять миль к воротам Майльо, под предводительством брата Тирифока, торжественной процессией, в сопровождении многочисленных членов Коммуны. Масонские знамена были водружены на укреплениях, и вслед за эгим на целые 28 часов наступил период отдыха и иллюзий. Но 30-го апреля вечером пушки вновь затянули свою хриплую песню и расстреляли в клочья полотнища символических хоругвей. Верные своему обещанию масоны призвали братьев к оружию. «Братья масоны и братья товарищи, говорили они в своем воззвании от 5-го мая, мы не можем предпринять никакого иного решения, кроме решения сражаться и прикрыть нашим священным щитом сторону права. Вооружимся же для защиты! Спасем Париж! Спасем Францию! Спасем человечество!»

Но они преувеличивали свои силы. Из числа 10.000 масонов, ходивших на укрепления, все, которые способны были сражаться на стороне пролетариата, уже раньше пристали к нему и не нуждались в новом призыве. Что-же касается провинциальных масонов, то время было уже упущено для того, чтобы увлечь их на этот рискованный шаг.

Победа Версаля уже являлась черезчур несомненной, чтобы они могли рискнуть на ее полезную жертву. Они присоединятся— и это все, что они способны будут сделать,—к последней попытке; предпринятый муниципальными советами больших городов с целью добиться примирения, и во многих отношениях будут направлять это движение. Но этим все и ограничится.

## XV. Политика Коммуны.

Таким образом, с течением времени изолированность Коммуны все более и более увеличивалась. С середины апреля между различными классами населения замечался уже непоправимый разрыв. С этого времени за дело революции сражались и боролись только одни пролетарии, одни социалисты. Сторонники буржуазных партий окончательно покинули поле действия. Одни из них еще некоторое время продолжали работать над примирением борющихся сторон, но делали они это без всякой веры и страсти, чувствуя бесполезность своих усилий, другие—прямо клонули наживку и пошли на приманку Версаля, по примеру своих вождей, старых бородачей демократии, этой

«славы» и «полуславы» выборов 8-го февраля. Левая пресса, начиная от *Siècle* и кончая *Temps*, точно отмечает эту регрессивную эволюцию состоятельного класса и «интеллигенции», как удачно выражаются на некоторых иностранных языках.

Не совершала ли Коммуна в данный момент ошибки, не порвав своими мерами и своей общей политикой с теми, кто сам рвал с нею отщепенца? Это возможно; но практически осуществить это было не так-то легко, как это может показаться. Фактически грани между классами в парижской среде в то время были выражены не резче, чем в настоящее время; может быть даже они не были такими резкими. Поэтому затруднительно было в полной мере помочь экономическим интересам различных категорий работников, живущих на заработную плату, не затрагивая при этом одновременно обихода и интересов целого сословия мелких производителей, еще владевших орудиями своего труда. С другой стороны систематическая экспроприаторская политика была невозможна и потому еще, что сами наемные рабочие, в общей их массе, с трудом способны были усвоить самую возможность функционирования общества на иных началах, чем традиционные, и еще не имели, как мы уже выше указывали на это, ни одного синдикального или кооперативного учреждения, которое способно было-бы обеспечить нормальное функционирование производства и обмена при условии уничтожения всех капиталистических учреждений. Новый порядок вещей, особенно социальный порядок, нельзя вводить при помощи декретов; декреты и законы должны только санкционировать уже существующие отношения. Пытаясь на этой почве опередить время, Коммуна, по всей вероятности, достигла бы только того результата, что обратила-бы против себя часть своих собственных сил, и притом лучших, не вызвав притом в среде наемных рабочих более энергичного под'ема и более горячей преданности. Таким образом, Коммуне оставалось только одно: работать под видом демократизации политических учреждений над подготовкой общего социального преобразования; она этим и занялась.

Были-ли предпринятые ею в этом направлении шаги удачны или нет? Скорее они были неудачны и недостаточны; но причина этого лежала в людях и зависела от состава самой Коммуны. Мы уже указали на это и не будем возвращаться к этому вопросу. Та-же неуверенность, то-же смущение, то-же отсутствие определенного решения и смелости, которые мы видели в комиссиях и особенно в Комиссии Труда и Обмена, мы встречаем, но в еще более сгущенном виде, в самой Коммуне. Ее меро-

приятия и решения никогда не переходят высоты добрых пожеланий и намерений.

Вопрос о квартирах был довольно радикально урегулирован, начиная с 29-го марта. Декрет этот, правда, мог-бы быть лучше формулирован во многих пунктах и мог-бы обратить внимание на некоторые частности положения, но он этого не сделал; во всяком случае, каков-бы он ни был, он действовал, а так как при этом на рабочий класс, в его целом, он действовал благотворительно, то и привлек к революции многочисленные симпатии. Но окончательный декрет о сроках платежей появился черезчур поздно. Его обсуждали в Коммуне около 1-го апреля, но в *Officiel* он появился только 16-го. Декрет этот устанавливал, что уплата по всякого рода срочным долгам должна быть произведена в течение трех лет, считая с 15-го июля 1871 г., без начисления процентов и по третям <sup>1)</sup>. Если-бы этот декрет издан был месяцем ранее, он, вероятно, удержал-бы на стороне Коммуны значительное число торговцев и промышленников, которых Версаль, настаивая на немедленном погашении долгов, толкал в банкротство и разорение. Но 16-го апреля у торговой буржуазии Парижа было уже достаточно времени, чтобы потерять веру в жизнеспособность правительства Коммуны...

Черезчур поздно вышел и декрет, касавшийся операций по залогам (*Mont-de-Piété*). Без сомнения, вопрос был сложный; он непосредственно затрагивал городские финансы, и можно до известной степени понять оппозицию Журда. Но разве нищета может ждать? Декрет 29-го марта, просто отменявший продажу заложенных вещей, не возвращал одежды ни женам, ни детям солдат Коммуны. Поэтому на него в рабочих семьях смотрели как на несущественный и с нетерпением ожидали следующего декрета, который вернул-бы наиболее необходимые вещи их несчастным собственникам. Но этот декрет, после бесконечных и тяжелых прений, появился в *Officiel* только 6-го мая. Но и он разрешал безвозмездную выдачу залогов, совершенных до 25-го апреля, только на сумму до 20 франков, и касался предметов одежды, домашней утвари, белья, постельных принадлежностей и орудий труда. Операция эта касалась около 2 миллионов предметов и их подразделили на 48 серий, которые должны были определяться по жребью. Первый тираж происходил 12-го мая, второй—20-го, а 21-го версальцы были уже в Париже! Коммуна, конечно, вполне могла отнестись с большим вниманием в этих

вопросах к своим защитникам. Не задерживая обнаружение секретов и поступая более решительно, Ратуша, без сомнения, могла-бы колеблящимся и инертным элементам национальной гвардии новый и хороший повод сложить головы на фортах и на аванпостах; она придавала-бы великой битве, начавшейся между капиталом и трудом, более ясный характер, более осязаемый и популярный. Хороший декрет, появившийся около 5-го или даже 10-го апреля, стоил-бы победы, одержанной над версальцами.

События выдвинули еще один вопрос того же порядка, что и предыдущие, хотя и не столь общего интереса, но имевший тем не менее важное значение потому, что от решения его отчасти зависело возобновление работ, которое несло с собою и ежедневный хлеб для значительного числа рабочих семей. Дело идет о фабриках (мастерских), брошенных их хозяевами и, конечно, закрытых, причем их рабочие выкинуты были на мостовую. Об этих мастерских, по докладу Авьяля, руководившегося советами Вильяна, и с одобрения Комиссии Труда и Обмена, Коммуна издала декрет с тенденциями чисто экспроприаторскими и социалистическими, единственный декрет, или почти единственный, который обнаружен ею в этом направлении.

Декрет этот уполномочивал синдикальные палаты составить статистические данные о покинутых мастерских, а также и об их инвентаре, о состоянии находящихся в них орудий труда, и представить доклад о «практических условиях, при которых возможно было-бы быстро пустить в ход и в эксплуатацию эти мастерские, по уже не покинувшим их хозяевами, а кооперативной ассоциацией рабочих, работающих в них». Помимо этого синдикальным палатам предложено было разработать проект учрежденя подобных новых обществ и обзавестя триетским суд, который должен был определять, где и ввозвращении хозяев мастерских, «условия окончательной уступки мастерских рабочим обществам и сумму вознаграждения, которое обязано будет выплатить общество прежним хозяевам» <sup>1)</sup>. К сожалению, этот декрет почти целиком остался мертвой буквой. Все заботы его авторов, а также и тех синдикалистов, которые могли-бы провести его в жизнь, были в это время направлены в другое место—на поле битвы. Кто может кинуть им за это упрек?

Коммуну упрекали также и за то, что она не определила в каком либо документе, который остался-бы и указывал ее про-

<sup>1)</sup> Т. е. уплата частей долга должна была производиться через каждые три месяца. Пер.

<sup>1)</sup> Запрещение ночного труда в булочных, декретированное по предложению Тридона, относится к тому же разряду распоряжений.

грамму, не выгравировала для потомства того, что составляло ее сущность, тех целей, к которым она стремилась, того нового мира, который она несла в своих недрах. Здесь уместно будет рассмотреть этот упрек. Коммуна ничего не говорит в этом отношении, или говорит мало, потому что ей нечего было сказать, или она могла сказать очень мало.

Следует ли повторять, что Коммуна представляла собою собрание чрезвычайно смешанного состава, в котором авторитарно якобинские элементы заседали рядом с элементами интернационально-федералистическими и прудонистскими, в котором было мало лиц, ясно сознававших существовавшее положение, и еще менее таких, которые обладали-бы интуицией будущих событий, подготовлявшихся и возмещавшихся революцией 18-го марта. Из дебатов Коммуны не мог создаться документ, являющийся истинной характеристикой эпохи и направления, а тем более не могла создаться учредительная хартия общества завтрашнего дня. К тому-же те из лиц, заседавших в Ратуше, которые обладали наиболее живым представлением о действительности, отрицали необходимость обнародования какого-бы то ни было доктринерского credo. Они сознавали, что ни время, ни место были не подходящи для того, чтобы объяснять направление и значение движения, что к движению этому следовало лишь пристать, стараясь внести в него больше активности и углубить его. В их глазах всякая прокламация, всякое воззвание имели значение лишь как простое объяснение событий, которое давало-бы массам простое и краткое объединяющее и всем понятное слово.

Таким образом, этот пробел очевиден, и, конечно, не «Декларация Коммуны к французскому народу» заполнит его. Действительно, надо смотреть исключительно глазами веры, чтобы видеть в этом стилистическом упражнении, как это удавалось кое-кому, ясное и сознательное изложение того смутного желания, которое воодушевляло на битву восставших парижских рабочих. Авторы этого стилистического упражнения почти и сами не рассчитывали на подобное значение его, а тем менее сама Коммуна, когда она одобряла его. Во всяком случае, так как эта декларация занимает в большинстве историй революции 18-го марта три страницы, а то и больше, неудобно будет обойти ее полным молчанием.

Мы не будем приводить ее дословно, напомним только, что составление ее поручено было трем, весьма несогласным в своих мнениях лицам,—Делеклюзу, Тейсу и Жюлю Валлесу. Валлес рассказал по поводу этой совместной работы очень сантименталь-

ный маленький анекдот, в котором фигурирует совершенно большой Делеклюз, с трясущимися пальцами и бледный, который, выйдя на заседание этой комиссии, глухим и печальным голосом сказал ему и Тейсу: «Старикам должны ступать перед молодежью. Составьте декларацию без меня, не считаясь со мной. Я уверен, что вы вложите в нее все ваше убеждение, всю вашу душу... Только, слушайте, постарайтесь втиснуть в вашу редакцию кое-что из того, что я набросал на этой бумажке. Найдите мою мысль в этом черновике... Вы, может быть, правы, говоря, что я представляю идеи другого века. Но, верьте мне, не следует, во всяком случае, ломать в данный момент душу отечеству. Это было-бы все равно, что сломить мою собственную!» Анекдот прелестен, но, фактически, если и не Делеклюз составил эту декларацию, то написал ее не Тейс и даже не сам Валлес. Последний, ленивый, как артист, поручил написать ее четвертому лицу, своему соредктору по *Cré du Peuple*, Пьеру Дени, который без усталости копался в различных программах, конституциях и хартиях. Пьер Дени, влюбленный в автономизм и в федерализм, набросал их полными пригорьнями в это свое произведение.

Если-бы Коммуна думала, что она должна полемизировать, то можно предположить, что документ этот подвергнут был-бы значительным исправлениям; но Коммуна уже не находилась в таком положении, когда спорят и разглаголяются. Предложенная редакция принята была почти без обсуждения, как принята была-бы, вероятно, всякая иная, даже противоположного направления. Только Лефрансэ, привыкший к ювелирной работе, немного придирался к нему. Для тех, кому был понятен весь трагизм положения, эта прокламация стоила столько-же, сколько и всякая другая; сущность состояла не в том, чтобы научно определить движение, а чтобы дать ему возможность продолжаться и развиваться. Повторяем, декларация прошла в Коммуне, как какое-нибудь отправляемое по почте письмо, причем никто не думал, что толковники будущего сочтут этот документ за завещание революции и будут усиливаться прочесть между его строками социалистическую тенденцию, которая почти отсутствует в нем <sup>1)</sup>. Напрасно было-бы также искать социализма Коммуны и в дебатах ее членов в Ратуше, в их

<sup>1)</sup> При буквальном понимании ее можно найти выраженной, но зато как осторожно, в следующих местах: «Париж оставляет за собою право создать учреждения, которые могли-бы .... сделать общим достоянием власть и собственность, согласно потребностям момента, желаниям заинтересованных и данным, доставленным практикой»

заявлениях и даже в их действиях, когда его можно найти только в ее вооруженной борьбе; эта борьба, которую вскоре поддерживали единственно только одни пролетарии, вследствие удаления всех других элементов, становилась неизбежно рабочей борьбой и не могла-бы, следовательно, завершиться нечем иным, как только социалистическим изменением всех старинных отношений капитала и труда и радикальным их обновлением.

Без сомнения, люди, осуждающие Коммуну за то, что она не говорила о социализме, не ошибаются. Упрек согласуется с истиной. Остается оценить этот упрек и его стоимость. Может быть, в результате окажется, что настоящим революционером приходится иной раз делать и иное дело, чем издавать свое credo, приходится жить скромнее своих программ. Им прежде всего следует действовать, и только по их деятельности надлежит судить о них. Рассматривая вопрос с этой точки зрения, и я полагаю—она будет самой верной, существенная ошибка Коммуны заключалась не в том языке, с которым она должна была обратиться к стране и не обратилась к ней, а в той деятельности, которую она должна была проявить, но не проявила. Если Коммуну и можно в чем упрекнуть по праву, то именно в неумении воспользоваться на деле удивительной энергией сорока или пятидесяти тысяч пролетариев, которые пристали к ней и до конца прошли весь путь самопожертвования; можно упрекнуть ее в том, что она была слаба, непредусмотрительна, несплочена и в политическом отношении стояла ниже обстоятельств, над которыми должна была-бы господствовать, но которые, наоборот, управляли ею самою.

Мы уже указывали на причины этой слабости и несплоченности, из-за чего будет еще более подробно останавливаться на этом пункте. Теперь мы идем к дальнейшему ходу событий и посмотрим, как развивались те печальные и неоправданные последствия, которые неизбежно вытекают из создавшегося положения.

## XVI. На пути к гибели.

Со времени неудачной вылазки 3-го и 4-го апреля версальская армия непрерывно овладевала все новыми и новыми пунктами, суживая с каждым днем все теснее круг блокады. На северо-западе, несмотря на отчаянное сопротивление храбрецов, которыми командовал Домбровский, уже с 20-го апреля воиска Порядка овладели всем берегом Сены до Женевилье и все

настойчивее атаковывали Нейльи, представлявшее из себя уже одни груды развалин. На юге форты Ванв и Исси, и особенно последний, подвергались непрерывной и ужасной бомбардировке.

К концу апреля Версаль мобилизовал 120.000 человек, разделенных на три корпуса, находившихся под командой генералов Ладмиро, Сессэ и Дю-Барайля. Первые два корпуса состояли каждый из трех пехотных дивизий, бригады легкой кавалерии, шести батарей и трех саперных батальонов. Третий корпус составлен был исключительно из кавалерии, поддержанной тремя конными батареями. Главное начальство над всей армией поручено было маршалу Мак-Магону. Сначала Тьер подумывал было поручить этот ответственный пост маршалу Канроберу, но последний показался Национальному Собранию черезчур ярым бонапартистом, и этот план был оставлен. Канроберу предпочли более тусклого и нейтрального Мак-Магона. Мак-Магон или Канробер—это в сущности было одно и то-же, первый стоил второго и обратно; имя как того, так и другого одинаково напоминало об измене и неспособности противостоять внешнему неприятелю и о неумолимой жестокости по отношению к внутреннему врагу—к народу. Войска по своему строению почти могли соответствовать своим генералам и офицерам; они были доведены до белого каления, одурманены ложью и алкоголем в казармах, где их дрессировали для предстоявшей им тяжелой работы.

«Офицеры и солдаты!—говорил генерал Дюкро в своей прокламации к войскам, стоявшим в Шербурге,—отечество ждет от нас нового усилия... сброд негодяев пылается на развалинах нашей несчастной страны доставить торжество лени, разврату, разбою и убийству. Благодаря моральному падению, не имеющему примеров в истории, Париж стал добычей этих людей, являющихся накипью несчастной войны. Солдаты! идем и прогоним их!.. Идем, чтобы навсегда выбросить из нашей столицы этих безумцев и злодеев». Эти плоские подстрекательства, к сожалению, падали на подготовленную почву. Они обращены были к солдатам, сражавшимся при Седане и Меце, вернувшимся из немецкого плена и рассчитывавшим после тяжелой неволи на немедленный отпуск и на возвращение домой; солдаты были страшно озлоблены, решив своим простым пониманием, что Париж и парижане виновны в этой новой кампании, которую приходилось им совершать, виновны в тех новых лишениях и опасностях, которые им предстояло испытать вместо страшно ожидавшегося отдыха.



Таково было настроение нападавших. Посмотрим теперь на взаимное положение сражавшихся. Вот, что говорит на этот счет один из высших офицеров версальской армии в Guette des Combattants, которую мы уже неоднократно цитировали:

«В то время, как собирались наши войска, а инженерное искусство делало свое дело, наша артиллерия тоже не бездействовала. Умело воспользовавшись счастливыми и печальными случаями войны, артиллерия расположила свои силы по большей части за земляными насыпями, воздвигнутыми незадолго до этого пруссаками, и с этой стороны (с юга) более 150 орудий выставлено было против орудий обороны парижской инсurreкции... В то-же время, когда пущен был в дело весь этот материал (на позициях между Мулен де-Пьер, Медонской террасой, Севрским мостом и террасой Сен-Клу), в Монтрету заложена была батарея на 70 орудий крупного калибра, и разрабатывался план сооружения батарей в парке Исси на 20 орудий 24 калибра.

«С открытием огня, 25-го апреля, наши батареи стреляли главным образом в форт Исси и тотчас-же вынудили его замолчать... На следующий день, 26-го апреля, форт буквально засыпан был нашими снарядами. Но, несмотря на это, наши противники старались изе всех сил. Монруж и Ванв энергично поддерживали Исси. Пуан-дю-Жур, не переставая, беспокоил нас. Бастион 65, куртина 65—66, бастион 68 и батарея Октруа состязался в соревновании с Трокадеро, стреляя в Мян-Валерьерн. Орудия Октруа громили одновременно Медон и Фонарь Демосфена. Четыре блиндированных локомотива, помещенные на мосту, непрерывно стреляли в нашу батарею в Бретелье. Наконец, канонерка Гэгсу, поддерживаемая четырьмя другими канонерками и пловучей батареей, непрерывно осыпала снарядами Севр, Бретелье и Бримборион. Пловучая батарея, спустившись до Билланкура, однажды смелилась даже остановиться там для бомбардировки Медона. На северо-западе огонь поддерживался с таким же оживлением. Аньер подвергался обстрелу снарядами с батареи, установленной в типографии Поля Дюпона, и с блиндированного локомотива, непрерывно двигавшегося по путям. Бекон бомбардировался из Левалуа и с вокзала Сент-Уэна, Курбевау—фронтальным огнем укреплений 50—53 крепостной стены. Инсургенты снова стали вооружать Монмартр, чтобы защитить артиллерийским огнем полуостров Женневилье.

«Несмотря на эту ожесточенную защиту и на значительное количество угрожающих пунктов, наши артиллеристы разрушили Исси, и саперные работы энергично подвигались к форту...

В ночь с 26-го на 27-е, когда наши траншеи подвинулись настолько вперед, что уже не позволяли врагу перейти в наступление, решено было произвести атаку на Мулино».

Принятый общий план, приписываемый себе Тьером, который ежедневно по утрам председательствовал в военном совете и играл в сущности роль генералиссимуса, состоял в том, чтобы немедленно начать траншейные работы и подступить обычными приемами к самому рву; но вместе с тем решено было направить, по примеру пруссаков, усиленный огонь на юго-западный, наиболее уязвимый угол укреплений. Тьер был уверен, что под защитой этого огня траншейные работы можно будет вести скорее и что, может быть, доведя бомбардировкой укреплений гарнизон до невозможности держаться в них, возможно будет совсем остановить эти работы. Таким образом, бомбардировка прежде всего должна была заставить замолчать бастионы Пуан-дю-Жур, огонь которых весьма невыгодно скрещивался с огнем форта Исси, а затем заставить очистить равнину Биланкур; после этого возможно было-бы разрушить и самый форт Исси, а также форты Ванв и Монруж, и взять самые укрепления, пробив в них одновременно несколько брешей.

Как мы видели, уже 25-го апреля план этот начал широко осуществляться. С этого числа операции продолжались, все усиливаясь и достигая все больших результатов. 26-го вечером бригада генерала Фарона взяла карьеры, возведенные перед кладбищем Исси, и продвинулась до местечка Мулино. Ночью генерал Фарон возобновил наступление и взял самое местечко. Немедленно-же была заложена траншея в парке Исси. 27-го и 28-го артиллерия с высот Медона и Севра усилила огонь против форта Исси. В этот день в нем командовал Межи, пламенный революционер, без сомнения, но очень неопытный военачальник и притом человек, лишенный всяких военных способностей. Перед этой надвинувшейся опасностью Межи потерял голову. Появление в течение дня 28-го Кюзере придало несколько более устойчивости защите; но все же день 28-го окончательно привел осажденных в расстройство. Версальцы, артиллерия которых действовала без перерывов, довели свои траншеи направо от форта почти до в'езда в местечко Исси, а налево — почти до станции Клармар. Ночью 29-го три атакующие колонны бросились на кладбище, заняли его, а также и парк. При этом столкновении погибло много федералистов убитыми и ранеными, а сто из них попали в плен к победителю; взято было также восемь пушек. В то же время 80 федералистов взяты были в

плен на форте Бонами, около форта Ванва, в расстоянии нескольких ружейных выстрелов от Исси.

Утром, когда защитники форта увидели вокруг себя траншеи, занятые неприятелем, их охватило беспокойство. Версальские снаряды продолжали падать, разрушая казематы, подбивая орудия и покрывая платформу убитыми и ранеными. Межи собрал совет и, несмотря на приказы, полученные от Кюзере, решил оставить форт. Орудия были заклепаны, и триста человек гарнизона отступили в Париж. Остался один только юноша 16—17 лет—Дюфур, решительно отказавшийся покинуть форт и оставшийся в пороховом погребе, заявив, что он взорвет его, если неприятель займет форт.

Этот юноша один оказался правым. Бялись-ли версальцы хитрости, или-же они опасались взрыва, но они не показались, и когда через несколько часов явился Кюзере во главе батальона XI округа с намерением вновь занять форт, он нашел его во власти героя-юноши, который после этого вновь скромно занял свое место в рядах нового гарнизона.

Форт Исси попал в руки версальцев только на следующей неделе, но волнение, вызванное в столице очищением форта и его виновниками, не улеглось. Этот инцидент открыл всем глаза на беспечность Коммуны, обнаружил неспособность ее военачальников, указал ту бездну, куда стремился Париж и которая должна была поглотить его вместе с революцией. Первой жертвой всеобщего возбуждения оказался Кюзере. Обвиненный в измене, он арестован был в Ратуше в тот самый момент, когда вернулся из Исси, впрочем вновь занятого его стараниями. Кюзере препровожден был в Мазас. Второю жертвою была сама исполнительная комиссия.

Когда корабль, лишившись мачт и руля, несется прямо на скалы, роковые силуэты которых выступают на горизонте, все взоры инстинктивно обращаются к капитану; индивидуальная воля подавляется и отдается в руки того, кто руководит всеми действиями; необходимость в одном едином и всевластном руководстве обнаруживается ясно и признается всеми. Коммуна дождала до такого трагического момента. Избранники народа в Ратуше в начале своего правления могли предаваться федералистским мечтаньям, увлекаться автономизмом и провозглашать прудонизм, уступая Пьеру Дени, но события, более сильные, чем мечты и системы, привели их в конце апреля к необходимости оглянуться на самих себя, задать себе боязливый вопрос о причинах непрерывных неудач, испытываемых ими на своем пути и с каждым днем все более приближавших их к

конечной катастрофе, неизбежность которой уже выступала с этого времени с очевидностью. Самые взбалмошные и самые тупоумные спрашивали себя, какою ценою и как предупредить опасность, как избежать водоворота, который собирался поглотить их утлый челн? Кто предупредит бедствие? Кто спасет их? Власть сильная, без сомнения, власть-диктатура, которая сломит всякое противодействие, подчинит себе все энергии, воздвигнет в 1871 г. революционное чудо 1793 г. Благодаря такому настроению умов и народился Комитет Общественного Спасения.

Мы говорили уже о второй исполнительной комиссии, учрежденной 20-го апреля, что она не являлась правительством и не могла даже им и быть в силу самого своего функционирования. Фактически у Коммуны было только одно правительство—это ее первая Исполнительная Комиссия, которую она уничтожила или, вернее, которую уничтожили события. Членами второй исполнительной комиссии были главы отдельных служб; они ни в каком отношении не являлись руководителями, которые могли бы столкнуться и действовать на свою ответственность, имея в виду общие цели. Зародившаяся анархия, на мгновение было подавленная, но не побежденная, только еще сильнее развилась и распространилась под сенью этой власти, которая никогда и не была властью. В этот момент анархия захватила все и проникала всюду. Не установив постоянного органа координации и контроля, Коммуна потеряла всякое влияние на группы и отдельные личности, которые боролись или должны были бороться за дело революции.

Необходима была полная реорганизация всей системы, усиление или скорее восстановление центральной власти, которая, прекратив усиливавшийся беспорядок и увеличивавшееся замешательство, должна была-бы придать сопротивлению единство единого импульса. Эта переделка и реставрация были законны и настолько-же спасительны.

Но, даже допуская, что такая задача вообще была для Коммуны когда-либо по силам, в данное время было уже чрезчур поздно залечивать недостатки положения. То, чего Коммуна не могла выполнить на заре своего существования, на другой день после победы и бегства неприятеля, она не могла рассчитывать исполнить в дни своего заката, когда реакция, перейдя в наступление, оцепила ее в Париже и держала под огнем своих непрерывно грохотавших орудий. А, кроме того, одни слова никогда не вызывали событий, разве только в волшебных сказках. Коммуна могла сколько угодно вспоминать о героических делах прошлого века и прошлой революции, но эти воспоминания

могли привести лишь к неуместным анахронизмам, которые, вместо того, чтобы придать движению новый толчок, только извращали его дух, компрометировали его характер и разрушали те остатки жизненности, которые еще сохранились в нем.

Повидимому, в этот момент сама Коммуна хорошо понимала, что она зашла в тупик и даже не обладает достаточными средствами, чтобы выдвинуть из своей собственной среды эту высшую диктатуру, перед которой она могла-бы сложить свои полномочия ради общего спасения. Это видно из того колебания, которое заставило ее посвятить три заседания обсуждению предложения Мио учредить диктатуру; если бы это предложение вполне и точно соответствовало всеми сознаваемой необходимостью, его обсуждение могло продолжиться разве четверть часа. Это заметно также и по голосованию, почти поровну разбившему сторонников и противников, а еще более по специальным оговоркам как меньшинства, в рядах которого мы встречаем людей в роде Тридона, так и членов большинства, в роде Вальяна.

Последний очень верно определил положение, когда, мотивируя свою подачу голоса, как это сделало большинство в этом случае, сказал: «Я не разделяю иллюзий собрания, которое думает, что создало новый руководящий политический Комитет, Комитет Общественного Спасения, тогда как фактически оно подновило лишь новым названием свою исполнительную комиссию первых дней. Если бы собрание желало иметь истинный Исполнительный Комитет, который действительно мог бы взять в свои руки руководство положением, парировать политические случайности, то оно должно было-бы начать с преобразования самого себя, оно должно было-бы перестать быть говорливым парламентом, разрушающим на завтра, по случайной фантазии, то, что оно создало накануне, и препятствующим всем решениям исполнительной комиссии. Коммуна должна была-бы быть только собранием комиссий для обсуждения решений и докладов, представляемых каждой из них, для выслушивания политического доклада своего Исполнительного Комитета и для суждения о том, выполняет ли Комитет свой долг, обладает-ли он единством действия и директивы, энергичен-ли он и существуют ли в нем необходимые свойства, нужные для блага Коммуны... Одним словом, надо организовать Коммуну и ее деятельность, надо делать дело революции, а не заниматься агитацией и подражанием».

В конце концов предложение Мио, поддержанное только Феликсом Пиа, Режером, Урбэном, Везинье и некоторыми другими людьми того-же закала, было принято 45 голосами против 23.

За название «Комитет Общественного Спасения» голосовало всего 34 члена, против—28, вотировавших за название «Исполнительный Комитет»<sup>1)</sup>. Большинство было, очевидно, черезчур слабым, чтобы оно могло придать новому учреждению ту силу и помочь заслужить то доверие, которые необходимы были ему при его функционировании. Черезчур недостаточны были также и те мотивы, которые выставлены были в пользу его необходимости.

Инициатор этого предложения—Жюль Мио—прекрасная голова с почтенной бородой, но недостаточным количеством мозга, ограничился только заявлением: «Необходим комитет, который вдохновил-бы новым духом защиту и имел бы мужество при надобности рубить головы изменникам».

Это воззвание к террору могло, конечно, приятно порадовать тех, которые совместно с Мио питались тщетными надеждами на слова и на формулы, но оно ничем не обуславливалось и не вызвало даже и тени содрогания у буржуа-реакционеров Парижа, которые только получили лишний повод кричать о тирании и еще более склоняться на сторону Версаля. Действительно, террор без террористов—пустой звук, а как до 1-го мая, так и после него террористов не было. Пять членов нового диктаторского Комитета не годились для того, чтобы пустить его в ход. Только один из них, может быть, обладал темпераментом—Антуан Арно, а второй—Ранье, был человеком увлечения; трое остальных были Лео Мелье, Шарль Жерарден, Феликс

<sup>1)</sup> Текст декрета следующий:

«В виду серьезности обстоятельств и необходимости немедленного принятия самых радикальных и энергичных мер, Коммуна постановляет: Статья первая.—Комитет Общественного Спасения организуется немедленно.

Статья вторая.—Он составлен будет из пяти членов, избранных Коммуной.

Статья третья.—Этому Комитету даны самые широкие полномочия по отношению ко всем комиссиям; ответствен Комитет только перед Коммуной».

Голосование первой статьи дало следующие результаты:

За образование Комитета Общественного Спасения голосовали: Амуру, Ант. Арно, Бержерс, Бильорэ, Бланше, Шампи, Шардон, Э. Клеман, Ж. Б. Клеман, Демэ, Дюпон, Дюран, Ферре, А. Фортюне, Гамбон, Жерезм, Груссе, Жоганнар, Ледруа, Лонкла, Л. Мелье, Мио, Уде, Паризель, Пильо, Филипп, Ф. Пиа, Ранье, Режер, Риго, Тренке, Урбэн, Везинье, Виар, Вердюр—всего 34 голоса.

За Исполнительный Комитет: Андрие, Арт. Арну, Авриаль, Алликс, Бабик, Беслэй, Клеманс, В. Клеман, Курбе, Френкель, Жерарден, Журд, Ланжвен, Лефрансэ, Лонге, Осген, Пинди, Потье, Растуль, Сералье, Сикар, Тридон, Тейс, Вальян, Валлес, Варлен, Вермюрель—всего 28 голосов

Пиа. Но один Пиа способен был все спутать и скомпрометировать, если бы его коллеги и обнаружили даже хотя какое нибудь покушение на активность. В довершение всего все они получили только незначительное количество голосов, что доказывает отсутствие как доверия, так и энтузиазма. Значительная часть членов Коммуны воздержалась от голосования, и голосовало всего 37 членов; Агно получил 33 голоса, Мелье—27, столько же Ранвье, Феликс Пиа—24 и Ж. Жерарден—21 голос. 23 неголосовавшие члена Коммуны, вскоре образовавшие ядро фракции, известной под названием меньшинства Коммуны, были: Артур Агну, Андрие, Лефрансэ, Лонге, Остен, Журд, Малон, Сералье, Беслэй, Бабик, Клеманс, Курбе, Э. Жерарден, Ланжвен, Раствуль, Валлес, Варлен, Авриаль, В. Клеман, Верморель, Тейс, Тридон, Пинди; они мотивировали свое воздержание от голосования в почти оскорбительных выражениях. Таким образом, Комитет Общественного Спасения был дискредитирован во всех отношениях уже с самого момента своего возникновения; он был отмечен печатью бессилия и осужден на плачевный успех. Он и не будет в силах рубить головы, не примет никаких революционных мер, даже более, он не предпримет вообще никаких мер. Он не попытается даже схватить руль, чтобы избежать скал и достигнуть более спокойных вод; с самого начала подавленный чрезмерной ответственностью призванный исполнить задачу, значительно превышавшую решимость и способности его членов, он пустит свой корабль более чем когда-либо, плыть по поизволу ветра, как игрушку стихии и как жертву слепого случая.

В то время, когда мншурные «террористы», вызванные на сцену действия Миг-Мефистофелем, делали вид, что берут в свои крепкие руки общее руководство делами революции, в военном министерстве распоряжалась новая личность—Россель.

Арест Кюзере и его отрешение от должности были последними актами исполнительной комиссии. Почему она не сделала этого еще ранее? Этим, казалось-бы, могли быть предупреждены многие ошибки и заблуждения. Намечая кандидатов для замещения Кюзере, комиссия тотчас-же подумала об офицере, который исполнял обязанности начальника главного штаба и за которого говорило его хладнокровное и пуританское поведение. Россель известен был многим членам Коммуны, которые выдвигали его вперед, особенно-же Малону и Ш. Жерардену, а также и Делеклюзу. Исполнительная комиссия призвала его в свое заседание, происходившее вечером 30-го апреля. Он явился

и изложил свои планы. Журд задал ему вопрос: что вы будете делать, если вас поставят на место Кюзере? Журд даже красноречиво излагавший свои мысли, объяснил свой план; он говорил о неиспользованных еще гражданских средствах, о неприступности Парижа, о необходимости революции. Дело Росселя было выиграно, а кто мог отнестись к нему враждебно,— тот промолчал.

Россель во всяком случае представлял собою известную ценность. Не подлежит сомнению, что, получив власть месяцем ранее, он систематически и активно поставил бы дело организации защиты и вооружил бы Коммуны, если и не для победоносного наступления, то, по крайней мере, для долгой обороны, которая, может быть, могла бы утомить нападающего.

Мы, однако, не хотим сказать этим, что молодой офицер не имел своих слабостей и недостатков. Он был вполне подчинен своему прошлому. Он непосредственно перешел из регулярной армии, которую покинул при известии о событии 18-го марта, чтобы явиться в столицу; в своем патриотическом возбуждении он принял своеобразно смешанную и сложную пролетарскую парижскую инсurreкцию за простое национальное восстание, за возобновление войны против иностранного врага. Будучи инженерным капитаном в Меце, при Базене, он бежал из немецкого плена и, получив чин полковника, назначен был Гамбеттой начальником лагеря в Невере; он был солдат и только солдат, в узком значении этого слова, весь пропитанный предрассудками своей профессии и касты. Как Кюзере, и настолько же, как и Кюзере, он был убежден, что армия в руках своего начальника должна быть нерассуждающим орудием, которое должно ограничиваться одним действием, не вникая в его смысл. Он даже и не подозревал, что именно это желание сознательно действовать и способность понимания одни только и могут придать революционным войскам порыв и энтузиазм. Россель по самому существу своему неспособен был, следовательно, управлять мыслящей силой и был бессилён установить между своими подчиненными и собою то духовное общение, которое стоит больше, чем всякие дисциплины, потому что именно оно вызывает ту самоотверженность, порождает ту инициативу и создает то взаимное доверие, которые являются матерью победы. Прибавьте, что по своей природе Россель был резок, высокомерен и мало доступен.

При самом начале враждебных действий, при первом воодушевлении, эти недостатки могли бы еще быть не замечены. Но в разбираемое нами время они должны были тотчас же пре-

явиться без прикрас и вызвать резкое разногласие между начальником и солдатами. Первым же его поступком была неловкость, которая вполне его характеризует. Начальник версальской траншеи перед фортом Исси послал к коменданту этого форта требование о сдаче, в котором говорилось, что если в течение четверти часа не получится ответа, то весь гарнизон будет расстрелян. Россель ответил следующим заявлением: «Гражданину Лепершу, начальнику траншеи перед фортом Исси. Дорогой товарищ, следующий раз, когда вы позволите себе послать нам такое же наглое требование, как то, которое содержалось в вашем вчерашнем письме, я расстреляю вашего парламентаря согласно обычаям войны. Преданный вам товарищ Россель, делегат Парижской Коммуны». Наделяя названием «дорогого и преданного товарища» одного из исполнителей нижних версальских дел, новый делегат ясно обнаруживал, что он ничего не понимал в этой войне, руководство в которой он только что на себя принял, и что он был совершенно чужд как чувствам, так и идеалу парижского народа, предводительствовать которым лежало на его обязанности. Могли ли Дюваль, Эд и даже Клузере написать нечто подобное?

Единственной и главной мыслью Росселя было превращение коммунальной армии в такую армию, которая бы во всех отношениях была подобна профессиональной армии, которую он знал, к которой принадлежал ранее и которой и в данное время принадлежали еще все его симпатии и мысли. Муниципальную организацию национальной гвардии по батальонам и по легионам, которые непосредственно сами избирали своих начальников, Россель хотел заменить организацией по полкам, командиров которых он желал назначать своей личной властью. С этой целью 1-го мая он преписал своим генералам выбрать из числа их войск пять лучших батальонов, численностью от 300—400 человек в каждом, которые он и собирался наделить пушкой или мигральезой, взамен их знамен или флагов кварталов. Эти батальоны должны были вслед затем образовать полки, по 2.000 человек в каждом, всего в общем восемь полков, которые образовали бы все вместе подвижной корпус в 16 т. человек. Россель рассчитывал в очень скором будущем дать с этой армией битву под Парижем.

Как и следовало ожидать, военный делегат натолкнулся при этой попытке на инстинктивное сопротивление самой национальной гвардии, которая ясно почувствовала, что новое устройство коренным образом противоречит самому создавшему ее духу, сделавшему ее милицией, а не армией.

Он встретил также сознательное и намеренное противодействие и со стороны Центрального Комитета национальной гвардии, который не переставал бороться за восстановление своего прошлого влияния и так же мало склонен был подняться Росселю, как ранее Клузере. Россель встретит, наконец, сопротивление и со стороны Комитета Общественного Спасения, опасавшегося военной диктатуры и сильно подозревавшего молодого полковника в жетании совершить в свою пользу нечто в роде нового 18-го брюмера. Известно было, что к этому смелому шагу Росселя побуждали многие беспокойные головы, и, повидимому, он лично не прочь был бы разыграть роль Бонапарта. Но по своей натуре он был черезчур нерешителен, несмотря на всю показную его внешность и поведение, чтобы оказаться способным твердо вступить на такой смелый путь.

К тому же события тоже не благоприятствовали такому шагу, и иначе не могло и быть. На укреплениях неудача следовала за неудачей. Федералисты, теснимые по всему фронту, отступали на всех пунктах, всюду теряя свои позиции. В ночь с 1-го на 2-е мая версальцы атакой в штыки взяли станцию Кламар и после кровопролитного сражения заняли также и замок Исси. Двести пятьдесят национальных гвардейцев остались на месте, четыреста попали в плен. 3-го мая вечером 55-й и 120-й батальоны были врасплох атакованы в Мулен-Саке, впереди Вильжьюфа, колонной дивизии Лакретеля. Это была попросту бойня. Федералисты спали в палатках. Преданные, по всей вероятности, одним из своих офицеров, который сообщил неприятелю пароль, они не имели даже времени броситься к оружию для защиты. Немногие избежали смерти или плена; их пушки и знамена также попали в руки победителя.

Форты Исси и Ванв держались с большим трудом, несмотря на чудеса энергии и храбрости их гарнизонов и их комендантов и начальников: Брюнеля, Ветцеля, Лисбонна, Жюльена и инженеров: Риста—в Исси, Дюрасье—в Ванве. Позицию уже нельзя было дольше удерживать. Под градом снарядов и бомб, непрерывно падавших, как дождь, стены фортов рушились и обваливались в рвы; в образовавшиеся бреши можно было в'ехать в экипаже. Коммунары-канониры должны были стрелять без прикрытия, представляя собою верную цель для неприятельских стрелков. Трупы, наваленные в подвалах и корридорах, составляли груды высотой до двух метров. Роковой исход был несомненен. 4-го мая Дюрасье мог еще отбить жестокою атакой на Ванв; но в ночь на 5-е его сообщение с Исси было окончательно отрезано. Наконец 8-го мая, под выстрелами грозных

батарей в Монтрету, присоединивших и свой огонь к огню более чем 200 орудий, гремевших с высот Севра, Бельвю и Медона, пал форт Исси. Одна из бомб, брошенных из Мулет-де-Пьер, убила сразу шестнадцать человек. Собравшиеся офицеры признали, что дальнейшее сопротивление невозможно, и под выстрелами версальцев отступление совершенно было под начальством Лисбонна.

В тот самый вечер, когда пал форт Исси, Россель имел бурное объяснение с представителями Центрального Комитета национальной гвардии. Разбитый генерал, который мог отмечать с того момента, как встал у власти, одни только бедствия, преследуемый в Коммуне желчной злобой Пиа, которого он уличил во лжи, к тому же подозреваемый многими, Россель сознавал, что его песня спета. Решив открыто порвать с Центральным Комитетом, он явился с намерением расстрелять его делегатов и собрал уже в военном министерстве отряд солдат с заряженными ружьями,—но, внезапно, он передумал, и объяснение, начавшееся бурно, закончилось добродушно. «Хотите ли вы и можете ли,—спросил Россель в заключение,—собрать завтра на площади Согласия 12.000 вооруженных людей?»—Обещав это сделать, делегаты Центрального Комитета удалились.

Что рассчитывал предпринять с этими силами Россель? Он говорил, конечно, о вылазке на Версаль через Кламар. Но не было ли это только предлогом и не имел ли он другой цели, приписываемой ему некоторыми, а именно пойти во главе этих 12.000 штыков на Ратушу, прогнать Коммуну и объявить в Париже военную диктатуру, а себя диктатором, чтобы продолжать борьбу, или чтобы попытаться вступить в переговоры с Версалем? Вопрос этот до сих пор еще не ясен. И трудно сказать, выяснится ли он вообще когда нибудь...

Как бы там ни было, но на следующий день, в полдень, Россель явился на площадь Согласия. Он об'ехал верхом фронт войск, прокричал начальникам: «по моему счету не выходите!»—и уехал обратно. Он вернулся после этого в военное министерство, где узнал об очищении форта Исси. Россель взял перо и написал следующие строки: «Трехцветное знамя развевается на форте Исси, оставленном вчера его гарнизоном». И не сообщая ничего ни Коммуне, ни Комитету Общественного Спасения, он приказал немедленно отпечатать это странное сообщение в 10.000 экземплярах. После этого он написал мотивированный отказ от должности, являвшийся настоящим обвинительным актом против Коммуны, Комитета Общественного Спасения,

Центрального Комитета, комитета артиллерии, национальной гвардии, одним словом, против всех, кроме только себя самого.

«Граждане, члены Коммуны»,—писал он,—«будучи уполномочен вами временно заведывать военной делегацией, я считаю себя неспособным нести далее ответственность за командование там, где все уклоняется и никто не желает повиноваться. Когда необходимо было организовать артиллерию, центральный комитет артиллерии уклонился и ничего не предпринял... Коммуна уклонилась и не пришла ни к какому решению... Центральный Комитет уклоняется и не сумел до сих пор еще ничего сделать... В течение этого времени неприятель предпринял на форт Исси ряд рискованных и неблагоприятных атак, за которые я наказал бы его, если бы имел в своем распоряжении хотя бы незначительные военные силы». Россель рассказывал затем, как очищен был форт, потом он указал, что утром на площади Согласия вместо обещанных ему 12.000 людей он нашел всего 7 тысяч, и кончал так: «Таким образом, ничтожество артиллерийского комитета мешало организации артиллерии, неуверенность Центрального Комитета федерации мешает администрации; жалкие предубеждения начальников легионов парализуют мобилизацию войск... Мой предшественник напрасно старался бороться с этим нелепым положением. Наученный его опытом, я знаю, что сила революционера заключается только в ясности положения; для меня существуют лишь две линии поведения: мне остается или уничтожить препятствия, мешающие моей деятельности, или удалиться. Я не уничтожу этих препятствий, т. к. они в вас и в вашей слабости; я не хочу покушаться на народное верховенство. Я удаляюсь и имею честь просить вас дать мне камеру в Мазасе».

Кому же он послал этот обвинительный акт? Коммуне? Нет. Он послал его в газеты, знакомя таким образом Париж, Версаль, врага с этими злобными выходками и с закулисной слабостью восстания.

Коммуна поступила под впечатлением оскорбления. Пиа торжествовал: «Я вам говорил, что это изменник, восклицал он, но вы не хотели мне верить. Вы еще молоды, вы не научились, как наши учителя в Конвенте, не доверять военной власти». Единодушно всеми, кроме Малона и Жерардена, постановлено было арестовать Росселя и поручено было военной комиссии привести это в исполнение. Затем Коммуна занялась переизбранием своего Комитета Общественного Спасения, который вследствие того же инцидента потерял доверие. На этот раз в голосовании участвовало и меньшинство, но, несмотря на это, ни один

из его кандидатов не прошел. Большинство провело весь свой список, в который вошли Арно, Делеклюз, Эд, Гамбон и Ранвье.

Оставалось арестовать Росселя. Делеклюз и другие члены военной комиссии—Арнольд, Авриаль, Жоганнар, Тридон и Варлен—отправились с этой целью в военное министерство. Старый якобинец чувствовал некоторую нежность к молодому делегату. После длинного разговора он оставил его на свободе, под честное слово, и поручил его надзору двух своих товарищей Авриалья и Жоганнара.

На следующий день Россель явился в Ратушу, в сопровождении обоих своих телохранителей, как раз в тот момент, когда собравшаяся Коммуна выбрала 42 голосами из 46 заместителем ему Делеклюза и заменила последнего в Комитете Общественного Спасения, назначив туда Бильорэ. Предложено было ввести Росселя в заседание, но 26 голосами против 16 это было отвергнуто, и решено немедленно заключить его в Мазас. В Мазас! Арестованный в тот момент, когда Коммуна решала его судьбу, Россель успел уже улизнуть. Воспользовавшись минутным отсутствием Авриалья, которому он, впрочем, «дал слово солдата не бежать», и оставшись один на один с своим приятелем Шарлем Жерарденом, Россель уступил просьбам последнего, покинул квестуру, вскочил в фиакр и исчез.

О нем не слышно было больше в течение нескольких недель, когда, наконец, сыщики Версаля открыли его убежище и отправили его в тюрьму. Затем, после тяжелого заключения он предстал перед комиссией торжествующей реакции и очень доблестно заплатил своей жизнью за участие в революции, в которую он замешался (хотя он и играл в ней первую роль лишь по недоразумению), как человек, искавший совершенно иного. Истинный политик-фанатик, он не воспринял ничего от того движения, в которое бросился из-за отворачивания к генералам-изменникам и негодьям, приведшим Францию к потере территории и к гибели; он надеялся, что война против завоевателя возобновится вместе с восставшим Парижем и при его посредстве и что из этой войны он, Россель, может выйти вторым Бонапартом. Только уже на опыте он убедился, что фантазировал; в своих попытках организовать военную силу он натолкнулся на нечто более сильное, чем он сам, потому что в Коммуне живыми элементами были только те, которые были коммунарами; тогда он удалился, в самый момент битвы, убогая и отрекаясь от среды и от деятельности, которые, как он убедился, были ему чужды.

Падение Росселя произошло 10 мая. С этого момента Коммуне суждено было существовать всего 10 дней. Начиналась ее агония.

Второй Комитет Общественного Спасения, хотя и более удачно составленный, чем первый—в нем отсутствовал Пиа,—точно также ничем не проявил себя и тоже оказался неспособным. Настал, действительно, такой момент, когда всякое усилие оказывалось уже заранее осужденным на неуспех. Комитету, конечно, удалось раскрыть кое какие заговоры, направленные против Коммуны; он арестовал многих виновных, задержал, между прочим, вдохновителей заговора «трехцветных нарукавников», которые, впрочем, действовали почти открыто, захватил шпиона Вэйссе<sup>1)</sup> и некоторых других. Комитет положил также предел деятельности полусумасшедших, в роде Люллье, или авантюристов, в роде Биссона и Ганье д'Абена, которые рассчитывали спасти революцию, конфисковав ее в свою пользу при содействии и с помощью денег Версаля. Но зато он не сумел и не мог победить другой заговор неизмеримо более опасный, разнородный и распространенный, который гнезвился во всех редакциях буржуазных газет, за столами всех бульварных кафе и без усталости создавал вокруг Коммуны атмосферу подозрнич и неприязни. Меры, предпринимавшиеся против газет, которые ежедневно оскорбляли федеральные батальоны и извращали прения, происходившие в Ратуше, не достигали цели; не помог и декрет 15 мая, предписывавший гражданам иметь при себе удостоверение о личности (carte civique), которое они должны были лично получать от полицейского комиссара своего квартала по удостоверении их личности двумя свидетелями. Запрещенные газеты переселились в Версаль, откуда ежедневно пересылали в Париж свои номера, переполненные теми же самыми грязными, желчными и яростными нападениями. Удостоверения личности сделались темами для остроумных шуток и шансонеток, и никто не запялся ими. Для того, чтобы эти меры и декреты оказались осуществимыми, Комитет Общественного Спасения должен был бы обладать исполнительной властью, которая опиралась бы на решительную и активную волю всех революционных элементов, т. е. такую властью, которою Коммуна никогда не располагала, а еще менее в этот момент агонии и замешательства, когда все, друзья и недруги, уже чувствовали приближение ее конца.

Беспорядок и беспечность, царившие повсюду, достигли своего максимума в военном министерстве, куда только что

<sup>1)</sup> Вэйссе получил поручение подкупить Домбровского. Героический конец польского офицера черезчур ясно доказал, что Версаль попал в данном случае впросак. Что же касается Вэйссе, то, попав в руки Коммуны, он был расстрелян в течение кровавой недели на площадке Пон-Неф.

назначен был Делеклюз. Старый якобинец принес с собою свой стоицизм, свою самоотверженность и веру, но все это ни к чему не привело, а ему дало лишь возможность умереть героем. Ему, более чем другим, недоставало технических знаний, здоровья, юношеской силы, которая позволяет пренебрегать усталостью и увлекает других, подымая их до себя. Он не был тем человеком, который мог наэлектризовать остатки тех военных сил, которыми еще располагала Коммуна, и принять меры, необходимые в виду последней битвы. Ему приходилось непрерывно бороться против захватов со стороны Центрального Комитета, ставшего таким же надменным, как и в первые дни; а в главном штабе, наполненном ставленниками Клузере или старыми товарищами Росселя, никто не помогал ему. Бессильный что либо сделать, Делеклюз присутствовал при постоянных успехах версальской армии, все более приближавшейся к укреплениям, а во многих местах подошедшей к ним вплотную. 13 мая форт Ванв был обойден, и в течение ночи гарнизон очистил его, отступив по казематам, соединявшимся с каменоломнями, выходившими на Шатильонскую дорогу. 14-го утром солдаты Порядка водрузили трехцветное знамя на разрушенном форте и перевооружили его со стороны Парижа. В этот же несчастный день, 13 мая, флотилия, весьма энергично поддерживавшая своими демонстрациями на реке военные операции федералистов, потерпела значительный урон; одна из ее канонерок Estok была пущена ко дну, и вся флотилия вынуждена была отступить ниже моста Согласия. На западе Домбровский принужден был также отойти назад. Часть Левалуа и Клиши были оставлены. Орудия с Монмартра, на которые так сильно рассчитывали, плохо установленные благодаря неопытности или намеренно осыпали ядрами самих парижских милиционеров, вместо того, чтобы вредить осаждавшим. В Булонском лесу версальцы перейдя Сену по понтонному мосту, прочно укрепились под защитой деревьев, окопались и заюжили позади озер параллель, которая доходила до высот ворот Мюетт.

Таким образом, положение все более и более осложнялось и из критического, каким оно было еще вчера, превратилось в безнадежное.

Но, несмотря на все это, в Коммуне происходили прежние раздоры. Конфликт принял чрезвычайно острую форму. Большинство своей нелепой и узкой злобой преследовало меньшинство, сменило в Комиссии Общей Безопасности Вермореля изгнало из Officiel'я Лонге, заменив его Везинье, а в Военной Комиссии заменило Авриалья, Тридона, Варлена, Жоганнар

вздорными неспособностями. Меньшинство, оскорбленное этими увольнениями и еще более общим остракизмом, которому оно подвергалось со стороны большинства, с своей стороны также потеряло благоразумие. Оно решило прочесть в заседании 15 мая свой мотивированный протест, но большинство своим отсутствием на заседании, как это вошло в его обыкновение, помешало этому намерению. Тогда, повторяя ошибку Росселя, меньшинство решило перенести вопрос прямо на суд народа. 16-го парижские газеты обнародовали документ, в котором указывалось, что Коммуна отказалась от власти и попала в руки диктатуры Комитета Общественного Спасения, которую, как заявляло меньшинство, оно не может ни признать, ни принять. «Преданные нашему великому делу Коммуны, за которое столько граждан кладут ежедневно свои головы,—говорилось в заявлении,—мы возвращаемся в наши округа, которыми до сих пор, может быть, мы черезчур пренебрегали. Убежденные, кроме того, что вопрос военный имеет в данный момент первенствующее значение над всеми остальными, мы будем проводить все время, которое останется в нашем распоряжении от муниципальных функций, в среде наших братьев—национальной гвардии и примем участие в этой решительной борьбе, предпринятой во имя прав народа». Под заявлением подписались 22 члена Коммуны: Беслэй, Журд, Тейс, Лефрансэ, Эж. Жерарден, Верморель, Клеманс, Андрие, Серралье, Лонге, Артур Арну, В. Клеман, Авриаль, Остен, Френкель, Пинди, Арнольд, Жюль Валлес, Тридон, Варлен, Курбе и Малон.

Это был открытый и бесповоротный разрыв, несмотря на предосторожности, соблюденные со стороны его формы. Отказ участвовать в заседаниях равнозначущ был прямому расколу. Но дело было еще хуже: этим нанесен был удар Коммуне, как направляющему организму, теми самыми людьми, которые хорошо понимали, что только враг, и только он один, использует плоды их гнева и оппозиции, и что они рискуют, если бы их послушались, расколоть на-двое рабочий и революционный Париж, как раз накануне решительного штурма, к которому готовился Версаль.

Правда, меньшинство не удержалось на своем решении <sup>1)</sup>. Уже на другой день оно увидело свою ошибку и вернулось; но удар все же был нанесен. Вопреки стараниям Делеклюза, не-

<sup>1)</sup> Оно получило тайное, но решительное указание со стороны своих друзей, игравших руководящие роли. Федеральный Совет Интернационала, вполне признавая лояльность своих членов, составлявших часть меньшинства, «пригласил их соблюдать единство Коммуны».



уклонно проповедовавшего примирение, Гамбона, который также горячо восставал против братоубийственных интриг, Вальяна, не допускавшего, чтобы можно было отстраниться от товарищей в тот момент, когда они сами отказывались от своих намерений,— «как будто бы для того, как он говорил, чтобы они укрепились в своем заблуждении»,—большинство отказалось от примирения. Предложение о примирении, внесенное в заседание 17 мая, на котором присутствовало 66 членов Коммуны, все большинство и все меньшинство, было отвергнуто, и якобинцы и федералисты братьями-врагами пошли на последнюю битву, на баррикады, на смерть.

В тот момент, который мы теперь описываем, дело было, действительно, окончательно проиграно. Спасение не явится со стороны Парижа, где Коммуна терзает себя собственными руками, где Центральный Комитет пытается и будет пытаться до последнего дня утолить свою жажду былой власти, где генералы, предоставленные самим себе, не имея никакого общего плана, который объединял бы и усиливал бы их действия, отбиваются от врага, как всякий считал удобным, с теми людьми, которые случайно оказываются в их распоряжении; где крупная, средняя и мелкая буржуазия окончательно отступилась, предоставив одному пролетариату, уже истекавшему кровью, сводить последние счета с Версалем. Спасение не явится и извне,— со стороны Франции.

Правда, был момент, когда появилась было на это надежда. Муниципальные выборы 30 апреля торжественно подтвердили преданность страны порядку вещей, вытекшему из революции 4 сентября. В больших городах, в промышленных и торговых центрах, на севере и на юге, прошли без исключения чисто демократические и республиканские списки кандидатов. Это было настолько ясно, что тотчас же после своего избрания новые муниципалитеты решили сговориться и созвать общий конгресс, который должен был бы вмешаться в борьбу между Национальным Собранием и Коммуной для заключения мира на условиях признания республики и широких коммунальных вольностей. Конгресс должен был собраться в Бордо в течение первой половины мая.

При известии об этих намерениях Национальное Собрание и Тьер пришли в ужас, и министр внутренних дел Пикар немедленно обнародовал в *Officiel'e* категорическое и самое угрожающее запрещение этого конгресса.

«Заявления и программа, обнародованные комитетом департаментов,—говорила нота министра,—показывают, что цель

Союза состоит в том, чтобы явиться судьей между восстанием с одной стороны и правительством с другой и заменить таким образом авторитетом Лиги авторитет Национального Собрания. Долг правительства состоит в том, чтобы воспользоваться властью, предоставленной ему законом. Можно быть уверенным, что правительство воспользуется ею. Оно изменило бы Собранию, Франции и цивилизации, если бы позволило учредиться, наряду с законной властью, вышедшей из всеобщего избирательного права, с'езду коммунизма и возмущения».

Это грубое нападение заставило примирителей отступить. Конгресс муниципалитетов не состоялся, он видоизменился в с'езд отдельных граждан, собравшийся в Лионе 15 мая, на котором присутствовали делегаты 16-ти департаментов юга, юго-востока и центра. Собрание это не могло иметь никакого авторитета, потому что участники с'езда представляли только самих себя, а республиканцы Собрания, во главе с самими избранныками Парижа, которых участники с'езда тщетно умоляли присоединиться к ним, открыто отказались от них.

Таким образом, у Версаля руки оказались развязанными особенно благодаря отказу парламентской левой Собрания, и Тьер получил полную возможность завершить свое дело репрессии и бойни.

Что же касается Парижа, то ему оставалось только готовиться к смерти; но перед этим он, все же, совершил еще один из тех актов, которые обнаруживают глубокий смысл революции 18 марта и неизгладимы, как и многие другие славные этапы того пути, который пройден был в эти дни, предварявшие будущее, парижским пролетариатом, авангардом международного пролетариата.

16 мая Коммуна разрушила при аплодисментах громадной толпы бронзовую статую «Человека Вантомской площади», Наполеона Аустерлица и Иены, Ваграма и Эйлау, который в течение пятнадцати лет топтал нации, растирая их в порошок. Гордая колонна пала и разбилась в куски, на глазах с одной стороны французской армии, осаждавшей Париж, под начальством бонапартистских генералов, а с другой—пруссских армий, которые два месяца тому назад блокировали и взяли этот самый Париж. Коммуну гнусно обвиняли в том, что в этом случае она, сознательно или бессознательно, уступила бисмарковским и немецким внушениям. На эту низость не стоит даже отвечать. В действительности Коммуна—выразительница всемирной солидарности—не различала между прежними победителями и победителями вчерашнего дня, между национальными завоевателями и иностранными порабощателями; тех и других она объединяла

в одном осуждении, в одном отвращении, низвергая на одну и ту же соломенную подстилку славу Вильгельма вместе славой Бонапарта и со всякой иной военной славой. Если кто сомневается в этом, то ему достаточно прочитать ту страницу *Journal Officiel*, на которой, на следующий день, помещена была статья об этой грандиозной и символической манифестации.

«Декрет Парижской Коммуны, предписывавший уничтожение Вандомской колонны, приведен был вчера в исполнение при приветственных криках громадной толпы, которая серьезно и сознательно присутствовала при крушении ненавистного памятника, созданного в честь ложной славы честолюбивого чудовища».

«Число 26 флореаля будет славным в истории, потому что оно знаменует собою наш разрыв с милитаризмом, этим кровавым отрицанием всяких прав человека».

«Первый Бонапарт принес в жертву своей ненасытной жажде господства миллионы детей народа; он задушил республику, поклявшись защищать ее. Сын революции, он окружил себя привилегиями и смешной высокопарностью королевской власти; своею мстостью он преследовал всех, кто еще решался мыслить или рассчитывать быть свободным; он хотел заклепать ошейник на шею народа, чтобы тщеславно царствовать одному среди всеобщего принижения. Вот его дела в течение пятнадцати лет».

«Дела эти начались 18 брюмера нарушением присяги, поддерживались бойней, завершились двумя нашествиями, после них остались лишь развалины, долговременный духовный упадок, уменьшение территории Франции, наследство, в виде второй империи, начавшейся 2 декабря, чтобы дойти до позора Седана».

«На обязанности Коммуны лежал долг свергнуть этот символ деспотизма: она исполнила его. Она доказывает этим, что ставит право выше силы и предпочитает справедливость убийству, даже когда последнее приводит к торжеству».

«Пусть каждый твердо знает: колонны, которые Коммуна может воздвигнуть, никогда не прославят кого-нибудь исторического разбойника, но запечатлеют в памяти потомства какие-либо славные победы в науке, в достижении свободы».

«С этого времени Вандомская Площадь носит название *Международной Площади*»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Декрет об уничтожении колонны, изданный 12 апреля, говорил еще более ясно, что колонну следует разрушить «т. к. она является исключительно памятником варварства, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права, постоянным оскорблением победителями побежденных, вечным покушением на один из трех великих принципов Французской революции—на братство».

Последняя черта особенно характерна. Ищут социализма в Коммуне; просеивают сквозь сито ее прокламации и декреты, чтобы найти его; нам кажется, что он проявился именно в этом акте; если только в этом антимилитаристском его виде и вследствие этой именно его формы не пожелают усмотреть простое отклонение от нормы без всякой этикетки. Во всяком случае, ни Верасль, ни Берлин не ошиблись в значении этого акта, и доказали это.

11 мая, в заседании Национального Собрания Тьер, вынужденный легкой кавалерией легитимизма дать объяснения о своих сношениях с миротворцами республиканских муниципалитетов—а мы знаем, что эти попытки делались уже не в первый раз!—воскликнул: «Среди вас есть неблагоразумные люди, которые чересчур торопятся. Пусть подождут еще восемь дней. Через восемь дней опасности уже не будет, и дело будет стоять так, как этого желают их рвение и мужество». После этого напутственного замечания, которым сказано было очень много, как об отвратительных планах главы исполнительной власти, так и о прирожденной глупости его противников правой стороны, палата 490 голосами из 499 вновь выразила доверие тому, кто господствовал над нею своим неоспоримым превосходством в ясности предвидения и в злодейских замыслах. И со стороны внешней уже три или четыре дня, как у Тьера были развязаны руки, так как мирный трактат был подписан во Франкфурте, и на основании его победитель получал две провинции и пять миллиардов. Таким образом, Тьеру нечего уже было опасаться встретить в своем великом предприятии какую-либо помеху со стороны дипломатических проделок Бисмарка, который еще 7 мая требовал у него посредством ультиматума отозвания версальской армии за Луару, с тем, чтобы прусские войска могли действовать против Парижа».

В виду всего этого президент деревенщиков никогда еще не был так силен, так свободен, не имел такой полной возможности жонглировать по своему усмотрению событиями и людьми. В этот момент он уже был уверен в своем успехе. Еще восемь дней, и Париж будет его; он свалит задыхающуюся революцию, на целые годы раздавит пролетарское и социалистическое движение. Как он войдет в Париж? Хитростью или силой? Это ему было безразлично; в течение этих дней он пустил в ход все приемы и все средства!

В его распоряжении были соумышленники в Париже, многочисленные и дорогостоящие, хотя и не пользовавшиеся весом; это были бывшие военные или лавочники, жаждавшие придать

себе значение: Домалэн, Шарпантье, Дюрошу, Демэ, Галвимар, которые добивались приказа (и получили его!) сгруппировать в различных округах «людей порядка» с целью изнутри помочь в решительный момент версальской атаке; к тому же разряду лиц относились и гражданские или военные чиновники Коммуны, в роде Бараля де-Монто, командовавшего VII легионом, который, благодаря поблажке недалёковидного Урбэна, играл весьма пагубную роль. Затем в распоряжении Тьера были целые дюжины шпионов и полицейских, которые более или менее ловко проникали в различные службы с целью дезорганизовать их или же, как Арансон или Вэйссе, о котором мы уже упоминали, пытались подкупить начальников национальной гвардии. Тьер не пренебрегал также собирать сведения при посредстве интриганов из высшего общества у таких союзников или таких кондотьеров, как Люллье, Дю-Биссон, Ганье д'Абен и др. Особенно же он старался подкупить тех из начальников федералистов, которые командовали на укреплениях, расположенных против Булонского леса, в двух шагах от подземных галлерей версальских войск. Подобная же попытка сделана была и по отношению к Домбровскому, но оказалась неудачной. Повидимому, он был счастливее с его подчиненными. У ворот Дофин командовал некий Лапорт, по чину полковник, который несомненно пытался два или три раза сдать ворота, которые охранял. Первая попытка произошла в ночь со 2-го на 3-е мая. Несколько дивизий, собранных за лесом, готовы были ринуться в Париж, а сам Тьер лично наблюдал из Севра; но условленных сигналов дано не было. Вторая попытка произошла в ночь с 12-го на 13-е. Все было готово для штурма, но и на этот раз не удалось, потому что, если Лапорт и был изменником, то он вместе с тем был и глупцом. Он и в третий раз повторил свою попытку, но также безуспешно.

Таким образом, способ действия открытой силой все таки оказывался наилучшим, в чем в сущности и уверен был генералиссимус Тьер. Вследствие этого он непрерывно усиливал огонь, направленный на столицу. Он ежедневно посещал грозные батареи Монтрету, вооруженные морскими орудиями, проводил там многие часы среди канониров, с подозрительной трубой в руках, следя за действием снарядов, фамильярно беседуя с офицерами и солдатами и повторяя: «В ваших руках ключи от Парижа». Рассказывают, что однажды флотский лейтенант спросил его: «Этот грохот должен утомлять вас, г-н президент?» «Нет,—ответил тщеславный карлик,—я отдыхаю здесь от шума Собранин».

В Версале этот зловещий старик подогревал энтузиазм. Бывало великое веселие—«патриотический праздник»—всякий раз, когда после удачной схватки или взятия форта, возвращался какой нибудь полк, ведя с собою, как скот на убой, запленных, оборванных, угрюмых пленных, которых Винуа или Галлифе не успели расстрелять в пути или на месте сражения. Товарищ председателя Национального Собрания, председатель, а и иногда и сам «Маленький буржуа» приветствовали полк речью, и, под звуки веселой музыки и при виватах сбегавшей на зрелище раззолоченной сволочи, праздновалась победа эксплоатирующей и владеющей буржуазии над низкой чернью, разыгрывался пролог ожидавшейся великой гекатомбы, которая была уже не за горами.

Тьер обещал: «через восемь дней». Может быть, он несколько поторопился, обещав это. Мак-Магон на основании результатов бомбардировки назначил после совещания решительный штурм на 23-е мая. На укреплениях Парижа уже невозможно было держаться; федералистов уже не видно было на них; час пробил, когда можно было отважиться штурмовать, не подвергаясь большому риску. Случай помог армии войти в Париж на 48 часов раньше назначенного срока и начать свою позорную бойню.

Мы уже сказали, что для федералистов было выше человеческих сил занимать укрепления, непрерывно осыпаемые ураганом снарядов на всем протяжении от Вожирара до Нейльи. Батальоны, расположенные на этом пространстве, вынуждены были, чтобы укрыться от снарядов, отступить за железнодорожный виадук окружной дороги, приблизительно на триста метров от линии укреплений.

В воскресенье, 21-го, около 3-х часов дня, в тот момент, когда версальские батареи сконцентрировали весь свой огонь на воротах Сен-Клу, почти уже обращенных в развалины, на бастиионе № 64 появился человек с белым платком и закричал солдатам Порядка, засевшим на некотором расстоянии в своих траншеях: «Входите, никого нет!». Этот человек был Жюль Дюкагель; он был служащим общественного управления и предавал Париж ради забавы. Его сигнал вскоре был замечен на аванпостах.

На мгновение, как говорится в официальном рапорте, возникла мысль, не следует ли опасаться одной из тех ловушек, от которых уже неоднократно страдали версальцы; однако, сейчас же флотский капитан Трев, запретив солдатам следовать за собою, один пошел к укреплениям и убедился, что Дюкагель

говорил правду. Капитан вернулся в траншеи и отдал приказ двигаться вперед. Без всякого сопротивления версальцы заняли ворота Сен-Клу и два соседних бастиона. Между тем, генерал Дуэ, предупрежденный по телеграфу, явился в свою очередь с более значительными силами, захватил местность между укреплениями и виадуком и после довольно горячей схватки завладел воротами Отейль. В то же время сильные колонны пехоты, минуя виадук Пуань-дю-Жур, беглым шагом направились через ворота Сен-Клу к южным воротам и открыли их войскам дивизии Сиссэ. Таким образом к вечеру воскресенья, 21-го мая, в город уже вошли четыре корпуса генералов Дуэ, Сиссэ, Ладмиро и Винуа. Версальских войск оказалось достаточно для общего движения вперед.

Федералисты, захваченные врасплох и обойденные, не оказали почти никакого сопротивления. В предшествующие дни много говорилось о необходимости устроить вторую передвижную линию укреплений, центр которой должен был находиться в треугольнике, образуемом Трокадеро, площадью Эйлау, Триумфальной Аркой и Ваграмской площадью. Если бы эти важные работы были исполнены согласно этому плану, вторгнувшиеся войска были бы, без сомнения, остановлены и вынуждены были бы начать новую осаду. К несчастью, ничего не было сделано, или же очень мало. Город, зияющий и безоружный, открывался перед капитулянтами и побежденными при Меце и Седане, которые на нем отомстят за свое унижение и за свой стыд!

Без сомнения, в этот прекрасный воскресный майский день, народный и революционный Париж даже и не подозревал, что настали его последние дни. После полудня в Тюльерийском саду давался концерт-монстр в пользу сирот и вдов Коммуны; на этом концерте Агар, артистка Французского театра, и Борда, любимая певица, заставили толпу плакать и растрогали слушателей. По окончании концерта офицер главного штаба взошел на эстраду и сказал: «Граждане! Тьер обещал войти завтра в Париж; он не вошел и не войдет. На следующее воскресенье я приглашаю вас сюда же, на наш большой концерт в пользу вдов и сирот!». Когда наступила ночь, обычная жизнь текла на бульварах, театры были полны зрителей.

В Ратуше заседала Коммуна; она судила Кюзере; в заседании присутствовали и большинство и меньшинство. Валлес председательствовал, а Мио подробно излагал роль, которую играл обвиняемый в Соединенных Штатах и в Ирландии. В 7 часов, когда явился Бильорэ, Коммуна еще ничего не знала.

Он прервал оратора Вермореля, потребовал тайного заседания и прочел телеграмму, которая только что была получена в Комитете Общественного Спасения: «Домбровский—Военному Комитету и Комитету Общественного Спасения. Версальцы вошли через ворота Сен-Клу. Принимаю меры, чтобы отбросить их. Если можете прислать подкрепление, отвечаю за все».—«Подкрепления посланы, прибавил Бильорэ, Комитет Общественного Спасения бодрствует». Этим все и ограничилось, и вновь возобновились прения о великих и малых делах Кюзере в Соединенных Штатах и в Ирландии. В 8 часов Баллес закрыл заседание, как будто бы не случилось ничего особенного.

В сущности известие было так неожиданно, оно разразилось так внезапно, что никто ему не верил. К тому же все остальные сведения, полученные в военном министерстве, противоречили этой телеграмме Домбровского.

Командовавший в секции Пуань-дю Жур заявил Делеклюзу: «все по прежнему». Заведывавший обсерваторией на Триумфальной Арке Звезды утверждал то же самое и, основываясь на его свидетельстве, Делеклюз в 8 часов приказал расклеить более чем успокоительное извещение: «Обсерватория Триумфальной Арки отрицает вторжение версальцев. По крайней мере, она не заметила ничего похожего. Комендант той секции, Рено, только что бывший у меня, утверждает, что возникла лишь паника и что ворота Отейль не были взяты, что если и ворвалось несколько версальцев, то они были отброшены. Я послал одиннадцать офицеров главного штаба за одиннадцатью батальонами подкреплений, офицеры получили приказание не покидать батальоны, пока не доведут их до мест, которые они должны занять». Версальцы получили благодаря всему этому хорошие шансы в игре: в течение всей ночи они захватывали все новые позиции и укрепляли их за собою. Сначала были заняты Пасси и Отейль почти без выстрела. В улице Бетховена произошло короткое столкновение, причем взят в плен Асси. Затем, захватывая недостроенные баррикады, возведенные по набережной и в соседних улицах, войска Порядка направились к Трокадеро, которое было уже взято ранее, чем тревога успела распространиться в лагере федералистов. Национальные гвардейцы позволили войскам Порядка проникнуть в их позиции, даже не замечая этого. То же случилось и у Триумфальной Арки. Федералисты заняты были установкой батареи на парапете полукруглых баррикад, они работали, не спеша, методически, как люди уверенные, что им не грозит никакая опасность. Но вдруг мимо их ушей засвистали пули; у федера-

листов хватило времени только на то, чтобы галопом увезти орудия через Елисейские поля. Солдаты, следовавшие по их пятам, повернули оставленные орудия и направили их на террасу Тюльери. Орудия Трокадеро тоже были переставлены и дула их обращены в том же направлении.

С своей стороны генерал Сиссэ захватил на левом берегу весь XV округ и дошел до Монпарнасского вокзала. На самом рассвете он занял Марсово поле, Военную школу и завладел Гренельским и Альмским мостами, соединившись таким образом с войсками Винуа, которые двигались вдоль правого берега Сены.

## XVII. За баррикадами.

Нельзя было не признать очевидность. Укрепления взяты, неприятель в стенах Парижа. В город вошло уже более 50.000 войск, и они уже успели захватить пятую часть столицы. Лучезарное солнце заливает улицы, наполненные возбужденной и напуганной толпой. На всех колокольнях бьют в набат, барабаны бьют во всех кварталах, а пушечные выстрелы заглушают своим грозным ревом все эти звуки. Вновь настало время уличной борьбы. Парижанин привычен к ней уже давно. Может быть, последнее слово еще не сказано, несмотря на неурядицу первого момента, неизбежную в виду стремительности атаки?

Но куда же направляются все эти вооруженные национальные гвардейцы, готовые и решившиеся своею грудью защитить во что бы то ни стало революцию? Конечно, на линию огня, в кварталы, захваченные и занятые врагом, на Ваграмскую площадь, к Дворцу Промышленности, на Монпарнасский вокзал, навстречу бандам версальцев? Нисколько. Всякий, торопясь порвать связь с целым, которую, впрочем, он всегда переносил неохотно, стремился вернуться в свой квартал, в свою улицу, на свой перекресток с целью возвести там баррикаду из камней мостовой, которая бы преграждала подступ, не забываясь более об окружающем, особенно же о всем поле сражения. Тщетно более дальновидные офицеры умоляли и просили этих безумцев оставаться в рядах, держаться отрядами и массой встретить нападающих в тех пунктах, где они наступают или грозят наступлением. Просьбы эти были бессильны остановить всеобщее разложение, общее распадение частей.

При этом разложении лично присутствовал военный делегат Делеклюз. Но он не только присутствовал, он его санкциони-

ровал, он приказывал совершать его. Именно Делеклюзом; в-его известном воззвании, провозглашено было спасение в дезорганизации. В нем он восклицал: «Довольно милитаризма; не нужно более никакого главного штаба, обшитого по швам галунами и мишурой! Место народу! Борцам с обнаженными руками! Час революционной борьбы настал! Народ ничего не смыслит в ученых маневрированиях, но когда у него в руках ружье, а мостовая под ногами, он не боится стратегов монархической школы. К оружию, граждане! к оружию!.. Если вы хотите, чтобы великодушная кровь, пролитая как вода в течение шести недель, не оставалась бесплодной... вы встанете, как один человек, и перед вашим грозным сопротивлением неприятель, хвастающийся покорить вас, сам покорится под влиянием стыда за те преступления, которыми он запятнал себя в течение двух месяцев... Коммуна рассчитывает на вас, рассчитывайте и вы на Коммуну!»

Этим совершена была последняя и непоправимая ошибка. Делеклюз одним почерком пера уничтожил все то, что еще сохранилось у солдат революции в смысле дисциплины и взаимной связи. Он отменял вместе с дисциплиной и всякий общий план действия. Этот якобинец прославлял и предписывал, так сказать, федералистический метод действий и именно там, где его применение являлось более чем вредным,—где оно было убийственно. Заботы о защите города предоставлены были им инициативе, усмотрению, вдохновению групп и отдельных личностей. Не оставалось никакого высшего руководства для координирования и направления действий. Все это привело к роковому результату, и вместо систематического и по военному организованного сопротивления, которое, вне всякого сомнения, на долгое время задержало бы противника и несомненно причинило бы ему тяжелые потери, повсюду произошли лишь частные и безрезультатные стычки, в которых инсургенты маленькими группами были последовательно уничтожены и раздвинуты в неравных и безнадежных столкновениях. Коммуна кончила так же, как в июньское восстание,—безнадежной борьбой, тогда как централизованная и согласованная борьба была еще возможна и—кто знает?—неизвестно чем могла еще кончиться.

Коммуна, собравшись утром на заседание, еще и с своей стороны помогла этой нелепой тактике, постановив, чтобы ее члены отправились каждый в свой округ для ускорения постройки баррикад и для защиты кварталов. Этим она сама себя распускала, т. е. разрушала последний центр объединения, в ко-

тором борющаяся революция могла бы найти совет и поддержку. Комитет Общественного Спасения, все члены которого, за исключением Бильорэ, бежавшего ночью и уже потом не появлявшегося, были в линии огня, отдались тому же течению и ограничивались, как и Делеклюз, одними возгласами: «К оружию, на баррикады!» Никаких иных приказаний они не давали и не руководили никакой диспозицией сил.

В течение этого понедельника версальская армия, находясь еще в аристократических западных кварталах, встретила только слабое сопротивление; но и через несколько километров далее сопротивление не было более энергичным, и мы объясним причины этого. В настоящее время доказано, что если бы в этот день все пять уже вошедших в город дивизий прямо двинулись бы вперед, то они почти беспрепятственно завладели бы центром города, взяли бы, или обошли бы, баррикады, только еще воздвигавшиеся, и загнали бы тотчас же революцию в ее убежища на Монмартре, в Бельвиле и в Бюто-Кайль. Повидимому, это и советовали сделать более гуманные или менее трусливые генералы, например Клишан: но это не входило в намерения Тьера. Таким способом сдержанная победа не была бы кровавой победой, в особенности же она не давала бы повода к избиению и бойне, которые входили в программу наконец то восторжествовавшей реакции и составляли в сущности всю ее программу. Наоборот, надо было дать время коммунарам прийти в себя, организовать оборону в каждом квартале, чтобы повсюду была борьба, или кажущаяся борьба и чтобы повсюду возможно было в достаточной мере пустить кровь жителю-парижанину, безразлично—сражающемуся или несражающемуся. Согласно с этими гнусными намерениями Тьер и приказал, насколько это было вообще исполнимо, приостановить движение вперед, чтобы войска в своем замедленном движении не продвигались далее первых откосов Монмартра и Дворца Промышленности—на правом берегу и Монпарнасского вокзала—на левом.

Эти 24 часа посвящены были выработке окончательного плана действия или, точнее, бойни. Один из доверенных людей Тьера, сотрудник газеты «Temps» Луи Езерский, так объясняет эту задержку в движении армии: «Сена описывает в Париже полукруг, на обоих склонах берега расположен город в виде периметра; но левый берег значительно меньших размеров, чем правый; кроме того склон левого берега ниже, чем правого... Таким образом, с первого взгляда наступательные действия должны были бы совершаться параллельно гребням обоих берегов Сены; однако, атака левого берега, встретив меньшие

препятствия и меньший периметр, должна была совершиться скорее, чтобы участвующие в ней войска могли послужить резервом для главного наступления на правой стороне против самого центра противления. Что же касается центра армии, двигавшегося против ряда баррикад, то ему приходилось согласовать свое движение с успешностью движений боковых крыльев, которые, высылая вперед вспомогательные отряды, отрезали, изолировали баррикады и заходили с тыла всей их сети. Таким образом, все операции взаимно поддерживали друг друга и, отбрасывая инсurreкцию своими комбинированными и сходящимися в одну точку движениями, они имели целью общим и последним усилием подавить последний очаг сопротивления<sup>1)</sup>».

В виду этого армия разделена была на пять колонн; первая, под начальством генерала Сисез, действовала на левом берегу, имея целью Пантеон и Итальянскую заставу; в центре, на Сене, действовали две колонны, под командой Винуа и Дуэ; на правом берегу—две других колонны, под начальством Клишана и Ладмиро, имея целью прежде всего Монмартр. Каждая из этих колонн должна была двигаться на обоих берегах, вдоль кривых, образуемых внешними бульварами, по большим внутренним бульварам и по улице Риволи, с ее продолжениями до предместий.

Таким образом, охота на парижан организована была, как настоящая охота с загонщиками в какомнибудь Марли или Рамбуле. Приняты были малейшие предосторожности, чтобы никакая дичь не ускользнула, ни зверь, ни птица. Оставалось только зарегистрировать убитую дичь. К концу недели число ее уже превысило 50.000. Главный ловчий, Тьер, уже заранее наслаждался, предвкушая это ужасное улюлюканье. В заседании Национального Собрания, происходившем в тот-же день, Тьер, при бешеном реве правой и еще более отвратительных аплодисментах левой, произнес следующую речь: «Судя по тому сопротивлению, которое мы встречаем, можно думать, что вскоре Париж возвращен будет своему верховному владыке, т. е. Франции. Мы—честные люди; правосудие совершится, пользуясь со ми обычными путями. Мы прибегнем только к закону, но он будет применен во всей его строгости. При помощи закона необходимо поразить мерзавцев, которые разрушили частные имущества и, превзойдя дикарей, разрушили национальные памятники. Искупление будет полное; оно произойдет именем закона, при помощи закона и на основании закона».

<sup>1)</sup> Louis Iezierski.—La Bataille de sept jours, стр. 14 и 15.

Между тем версальская предусмотрительность оказала ожидаемое действие. В понедельник днем и на следующую ночь федералисты предместьев вновь спустились в центр Парижа, направившись к Ратуше, которая во время этой бури еще представлялась как-бы светочем революции. Брюнель, получив снова командование, взял на себя руководство защитой баррикад на площади Согласия. Он взвел здесь три сильных редута — на Тюльерийской террасе, при въезде в улицу Сен-Флорентен и при въезде в улицу Рояль. На этом самом месте он более 50 часов с гебреклонной твердостью выдерживал приступы целой армии и оставил позицию только после того, как она была уже обойдена и удерживать ее было безусловно невозможно.

За этим укрепленным районом, который казался неодолимым, возвышались другие баррикады по улице Риволи, в узких переулках квартала Сен-Жервэ, у подножия башни Сен-Жак. Над постройкой их с мрачной настойчивостью трудились мужчины, женщины, дети. Всякого прохожего, какого-нибудь тщеславного буржуа или разряженную даму, они пригlašали поместить несколько минут. «Поработайте, гражданин или гражданка, говорили импровизированные землекопы, за васшу, ведь, свободу мы идем на смерть!» Мостовые были взрыты и вскопаны вплоть до аристократических кварталов, и даже на враждебной почве у Оперы, у Биржи, в Сен-Жерменском предместье, где затем всюду происходили кровопролитные столкновения: в улице дю Бак, особенно на склонах Монмартра, на площади Бланш, на площади Пигаль, на Монмартре, который, как это предвиделось после взятия Багильоля, должен быть атакован на следующий же день. Сто тысяч пролетариев, работая и карауля, находились на ногах в эту ночь всеобщего ожидания, в эту ночь, когда неприятель остановился, с расчетом, конечно, но также и из опасения; в эту ночь надежда на победу еще теплилась в сердцах.

На рассвете, 23-го мая, началось жестокое сражение. Все версальские силы введены были в действие.

Накануне колонны Клиншана и Ладмиро произвели совместные подготовительные движения к атаке Монмартра, но батальоны XVIII округа, руководимые Малоном и Жакларом, решительно остановили их наступление. В 4 часа утра битва возобновилась в этой местности, и после пятичасовой перестрелки батальонцы вынуждены были отступить. Они отступили на Монмартр, рассчитывая собраться с силами под защитой его пушек. Но пушки молчали и, казалось, Монмартр уклонялся от битвы. В эту ночь многие делегаты Коммуны явились на

Монмартр с целью вывести из летаргии эту революционную цитадель — Лефрансэ, Верморель, Жоганнар, Ла-Цецилиа и Кюзере, но Кюзере исчез. Начальствование взял на себя Ла-Цецилиа, но он мог располагать всего лишь 200—300 человек. Монмартрцы, преданные Коммуне, сражались внизу, около Ратуши, остальные, которых, надо сознаться, было большинство, вследствие утомления и упадка энергии вернулись в свои дома. Начальник XVIII легиона Мильер <sup>1)</sup> оказался неспособным человеком, лишенным всякой энергии. Но самым худшим было то, что грозная артиллерия, поставленная на вершине, продолжала молчать. Среди артиллеристов были предатели, и это продолжалось уже многие недели — это несомненно; большинство орудий оказалось испорченными.

Таким образом, для версальцев путь был свободен, или вскоре оказался свободным. В 9 часов Клиншан захватил баррикаду на площади Клиши, и его солдаты взошли с западной стороны вверх по склонам к вершине, тогда как войска бригады Монтодона, которых пруссаки пропустили через нейтральную зону, направились туда-же с севера. К двум часам все было кончено; трехцветное знамя развевалось на Мулень де-ла-Галет; мэрия XVIII округа была также взята. Революционная цитадель, на которую рассчитывал весь Париж, сдалась почти без боя. Битва шла лишь ниже, за Монмартром и в окрестностях. На бульваре Орнано федералисты оспаривали позицию шаг за шагом. На авеню Триюэн регулярные войска тоже долгое время сдерживались кучкой храбрых людей. На улице Мира равным образом происходили кровавые стычки, во время которых Домбровский, находясь рядом с Верморелем, был смертельно ранен пулей в пах. На площади Бланш батальон женщин, под командой героической Луизы Мишель и русской Дмитриевой <sup>2)</sup>, уже накануне сражавшийся в Батиньоле, обнаружил чудеса храбрости.

<sup>1)</sup> Этот Мильер не имел ничего общего, кроме фамилии, с Мильером, который три дня спустя был расстрелян у Пантеона.

<sup>2)</sup> *Прим.* Дмитриева вернулась после Коммуны в Россию и вышла замуж за некоего Давыдова, осужденного затем по общеуголовному делу «червонных валетов» в ссылку, в Сибирь. Дмитриева добровольно последовала за мужем и в конце 80-х годов жила в г. Красноярске.

В борьбе на баррикадах 1871 г. принимали участие и другие русские: М. П. Сажин (Росс), по «процессу 193» (1877 г.) осужден на каторгу; поруч. Шевелев — сослан в Сибирь, где и умер; эмигрант Турский и др.

М. А. Бакунин принимал участие в восстании г. Лиона и организации его революционной Коммуны.

Известный математик С. В. Ковалевская, урожд. Корвин-Круконская (Жакляр), тоже принимала участие в Коммуне («За сто лет» В. Л. Бурцева, стр. 78, II часть). Пер.

Когда позицию уже невозможно было удерживать, батальон отбежал на несколько сотен метров далее, на площадь Пигаль, где вновь боролся с неприятелем; и так, отступая с одной баррикады, чтобы возобновить эту жестокую борьбу на следующей, батальон этот сражался до последнего дня.

Как бы там ни было, но взятием Монмартра революции нанесен был роковой удар. Владея самой высокой позицией Парижа, версальцы могли громить своей артиллерией высоты Шомона и Пер-Лашез, а моральное впечатление от этой потери было еще значительнее. С этого момента реакция могла считать себя победительницей. Об этом и известил Тьер провинцию торжествующей телеграммой.

За победой должны были следовать избиения. Конечно, уже накануне убивали в Батиньоле и на левом берегу и беспощадно расстреливали за взятыми баррикадами всех еще оставшихся в живых, на тротуарах тоже избивались, на авось, безобидные прохожие; бойня, однако, не приняла еще в этот день систематического характера, который указывал-бы на общий план, на руководящую волю. Войска, сопровождаемые и направляемые полицией, не обыскивали еще, дом за домом, завоеванных кварталов, не очищали их с подвалов до чердаков и не ставили к стене всех живущих в доме, потому только, что в одной из комнат этого дома найдены были штаны, куртка национального гвардейца или пара башмаков. Когда пал Монмартр, бойня систематизировалась так, что ни один парижанин-пролетарий не избежал ее, а «волчицы» и «вслчата», т. е. жены и дети, избивались вместе с «волками». Первая бойня устроена была поутру в гарке Монсо, вторая—в доме под № 6 улицы Розье, в том самом палисаднике, где два месяца тому назад толпой расстреляны были генералы Леконт и Клеман Тома.

«Когда явилась армия,—рассказывает Камиль Пельтан, который менее всего был коммунар,—она как-бы вообразила, в силу неизвестно какого секрета реакции, что самая улица преступна и что каждый из ее жителей забрызган кровью Клемана Тома и Леконта. Расстреливали без пощады и массами. Затем расположились в № 6; тенью обоих генералов принесены были ужасные жертвы, и сад был свидетелем сцен пыток и смерти, ухищрения которых были-бы вполне достойны даже варварской суеверной изобретательности XI века. Пленных сводили сюда со всех концов: но кто-же были эти пленные? Это были все те, которых подозрения или доносы отдавали в руки озверевших войск, все, арестованные за какуюнибудь куртку, штаны, пару башмаков, все жители тех домов, которые очищались с

подвала до чердака, все, которые из-за слепого гнева какому-нибудь унтера схвачены были за косой взгляд; все, на которых личная месть соседа указала, как на преступника, в такой момент, когда всевозможные доносы достигали своей цели. Пленные набиты были в этом саду, и тут они должны были просить о прощении за преступление, которого не совершали. Просить прощения, но у кого-же? У стен, у штукатурки, у сломанных деревьев, у выбоин от пуль!

«...Пленный, простершись на земле, должен был лежать лицом в пыли, и не одно мгновение, а целыми часами, целый день. Два ряда несчастных, среди которых были старики, дети и женщины, подвергнуты были этому мучению в виде публичного покаяния перед штукатуркой. Щебень резал их колени, пыль набивалась в их рты и глаза, их напряженные члены немели, нестерпимая жажда сжигала их пересохший рот и пустой желудок, майское жгучее солнце обжигало их обнаженные затылки, а если кто-либо из них плохо лежал, если приподымалась голова, если отекшее колено пробовало выправиться,—удары прикладами принуждали мятежника вновь принять приказанное положение. Когда наказание оканчивалось, то некоторая часть этих несчастных отделялась и их отводили на пригорок, где и расстреливали. Остальных отправляли в Сатори».

С некоторыми вариантами эти наказания и убийства повторялись в течение этого утра и этого дня во всем завоеванном Париже. Арестованный, или просто попавший в руки солдат человек мог считать себя человеком конченным. Как ищейки, солдаты охотились и выслеживали побежденных, они вырывали их из их жилищ, из объятий жен и детей, волочили на двор, на улицу, ставили к ближайшей стене, так как времени было мало и требовалось исполнять службу, и расстреливали их на глазах их семей. И это совершалось, когда еще не прошло и двух суток после вступления в город войск Тьера. Конечно, мы увидим еще и большие ужасы; бойня станет более грандиозной и ужасной, когда она распространится на всю задвленную столицу. Если мы уже теперь привели эту страницу потрясающей картины общего положения, написанную Пельтаном, то, конечно, потому, что она в нескольких живых штрихах воспроизводит один из худших ужасов, которые освещались этим майским солнцем, а в сущности еще и потому, что она доказывает, что с первых-же своих шагов версальская армия, когда еще ни одна экзекуция со стороны Коммуны, ни один пожар не подавали ей никакого повода к этому, и притом в кварталах, которые почти что не оказали никакого сопротивления, что эта армия начала



уничтожать парижское население. Очевидно, она руководилась высшим приказом и являлась лишь пассивным орудием намеченного жестокого плана

Тот, кто знаком с фактами, как мы знакомы с ними в настоящее время, кто констатировал эту холодную жестокость солдата, эту жажду убийства, тот может лишь с грустной усмешкой читать те воззвания Комитета Общественного Спасения и Центрального Комитета, которые расклеены были в этот же день.

«Солдаты версальской армии!—писал Комитет Общественного Спасения,—парижский народ никогда не поверит, чтобы вы могли обратить против него ваше оружие, когда его грудь встретится с вашей; ваши руки отступят перед актом, который был-бы истинным братоубийством. Как и мы, вы тоже пролетарии; как и у нас, у вас тот-же интерес: не давать больше заговорщикам монархистам пить вашу кровь так же, как они уже высасывают ваши труды. То, что вы сделали 18-го марта, вы сделаете и теперь... Придите к нам, братья, придите,—наши объятия открыты вам!»

А Центральный Комитет писал: «Мы—отцы семейств... Вы также когда нибудь будете ими. Если вы сегодня будете стрелять в народ, ваши сыновья проклянут вас, как мы проклинаем солдат, которые растерзали детей народа в июне 1848 г. и в декабре 1851 г. Два месяца тому назад 18-го марта, ваши братья побратались с народом; возьмите с них пример! Когда отданный приказ позорен, непослушание является долгом».

Упорная иллюзия, которая рассеется только тогда, когда сам человек очутится в присутствии ненавистной действительности и увидит, в каких беспощадных зверей дисциплина и казарма превращают детей народа, одетых в военные мундиры.

Мартовские дни, увы!—уже миновали. Из армии, братавшейся с восстанием, Тьер сделал новую армию или, вернее, превратил ее в старую традиционную армию, у которой нет ни сознания, ни сердца, которая является только послушным и гибким орудием в руках начальствующих лиц и власти. Отчаянным воззваниям Коммуны не поколебать и не удержать этой армии! Слепая и глухая ко всему, она не читает и ничего не слышит. Задушив уже в этот момент Батиньоль, Монмартр и Гренель, она последовательно захватит затем в свои смертельные объятия все рабочие кварталы столицы и исполнит до конца злобный приказ об их уничтожении.

Без содрагания невозможно следить за этим громадным спрутом, как он медленно, но верно ползет вперед по всему фронту

и, непрерывно забирая все далее своими щупальцами, подвигается к центру города... На правом фланге падение Монмартра отдало в руки армии многочисленные пути, которые ведут к Опере и к Мадлене; Дуэ завладел храмом Троицы. На левом фланге армия в 5 часов дня взяла Мон-арнаский вокзал, открыв себе этим путь к Пантеону. Она оттеснила федералистов и с большой баррикады на Орлеанском шоссе, опиравшейся на вокзал окружной железной дороги и на церковь Св. Петра, и открыла себе этим путь для движения на следующий день к Butte aux Cailles.

Правда, в центре армия встретила более упорное сопротивление со стороны Брюнеля, который энергично сопротивлялся на площади Согласия, несмотря на огонь шестидесяти орудий, громивших его редуты с набережной Орсэй, с Марсова поля и с Арки; такое же энергичное сопротивление оказал и Варлен, храбрец из храбрецов, воодушевлявший своей непоколебимой верой сражавшихся в VI округе, на баррикадах перекрестка улиц Круа-Руж, Ренн и Вавен. Но и здесь конечный результат был вне сомнения. Брюнель и Варлен, угрожаемые с флангов, чтобы не быть обойденными, вынуждены были очистить свои позиции в течение ночи, и на другой день, там где еще с вечера развевалось красное знамя, взвивалось трехцветное. В руках убийц была уже целая половина Парижа.

В Ратуше собралось все, что еще оставалось от Коммуны, и уже решено было перебраться в мэрию XI округа. Телеги и omnibusы, нагруженные военными запасами, начали перевозку. Неприятель находился уже не дальше, как на два или на три ружейных выстрела. Завтра утром он, может быть, появится и здесь. После того, как по приказанию военной делегации, но вопреки советам Брюнеля, рассчитывавшего держаться еще долее, были очищены баррикады Тюльери, ничто уже серьезно не могло задержать наступления нападающих, ничто, кроме пожаров, охвативших всю эту часть города, находившуюся между обеими армиями. Пожар министерства финансов, начавшийся накануне, еще продолжался. Горело также вдоль всего берега Сены; гигантские языки пламени вздымались к черному небу, и снопы искр разносились повсюду; горели Тюльери, Почетный Легион, государственный совет, государственный контроль. Ослепительный свет от этого пожара отсвечивался в реке, казавшейся огненной. Улицы Рояль, Бак, Лилль, Круа-Руж тоже представляли из себя очаги пламени. Взрывы следовали за взрывами, наполняя воздух грохотом. Зрелище было фантастичное, грандиозное по красоте и ужасу. Казалось,

что весь город хочет, по примеру Москвы, скорее превратиться в огонь и пепел, чем сдать победителю.

Кто зажег эти пожары? Тьер и реакция впоследствии создали из них одно из наиболее тяжких обвинений против коммунаров, против этих варваров, которые не оставляли в покое даже камней и думали уничтожить вместе с собою и славные памятники прошлого. Но как возможно было определить, при непрерывном перекрестном огне с обеих сторон, какой снаряд принес с собою разрушительную искру, версальская граната или парижское ядро? И разве для бывших ранее у власти бонапартистов и даже для республиканцев не выгодно было уничтожить до тла, со всеми документами, здания министерства финансов, контроль, государственный совет, где находились свидетельства их позора, их продажности и хищений? Впрочем за один из этих пожаров Коммуна с гордостью приняла на себя ответственность, именно за сожженное по ее приказу Тюльери, с целью уничтожить до тла здание, в котором в течение 18 лет находила приют империя с ее сатурналиями; но кто скажет теперь, что в настоящее время недостает этого здания для украшения Парижа? Что же касается поджогов частных домов, то, как мы знаем, они совершались в стратегических целях, чтобы или прекратить или задержать движение неприятеля, или же, чтобы охранить защитников баррикад от обходного движения. Это обычный классический прием всякой войны, а между парижанами и версальцами велась настоящая война.

В этот-же вечер произошла и первая экзекуция заложников. Рауль Риго явился в тюрьму Сен-Пелажи и потребовал выдачи Шодэй, который 22 января расстреливал народ на площади Ратуши, и трех других заключенных жандармов. Эти четыре человека были расстреляны; Шодэй умер очень мужественно.

Сражение продолжалось всю ночь, хотя и не так энергично.

С рассветом оно приняло бешеный характер. Целью версальских сил являлась Ратуша, которая уже была окружена с трех сторон. С левой стороны корпус Сиссе, взяв баррикады Пон-Неф, дошел до набережной Нотр-Дам; справа корпус Дуэ вел наступление на баррикады у св. Евстафия; в центре колонна, под командой Винуа, поднялась по улице Риволи и уже прошла Лувр. Каждую минуту Ратуша и все централизованные в ней управления могли быть взяты; поэтому отдан был приказ о перемещении, несмотря на протест Делеклюза против этого отступления. Коммуна перешла в мэрию XI округа. Как только здание Ратуши было очищено, оно тотчас-же загорелось. Пламя поднялось со всех сторон и охватило все здание.

Поджог его был лично сделан комендантом Пинди. Было 10 часов утра, но версальцы, благодаря ряду баррикад, которые перерезали квартал и все оказали отчаянное сопротивление, могли добраться до разрушенной Ратуши только к утру следующего дня.

Занятие Ратуши и центральных кварталов положили предел детским и наивным переговорам, которые вели в это время Центральный Комитет и Лига Защиты Прав Парижа с целью предложить Версалию соглашение. Центральный Комитет просто-душно предлагал Национальному Собранию, чтобы оно сложило свои полномочия, Коммуна должна была сделать то-же самое; эти вновь избранные, с иголки так сказать, собрания должны были приступить после этого к общему умиротворению. Эти безумные проекты попали даже в печать, и соответствующие плакаты были расклеены по городу.

Коммуна, по крайней мере, не рождала этих фантазий. Она сделала, правда, ошибку, рассеяв и раздробив оборону вместо того, чтобы сконцентрировать ее под своим руководством, но она все-таки не настолько потеряла голову чтобы мечтать о том, что торжествующая реакция добровольно позволит лишиться себя добычи. Коммуна отдавала себе ясный отчет в обстоятельствах и фактическом положении дела, она знала, что враг будет беспощаден и что, следовательно, парижанам не остается ничего другого, как бороться за свою жизнь, глотать ее подороже и устроить уже осужденной с этого момента революции достойные ее похороны.

Действительно, всякая надежда была уже потеряна. С каждым часом новый квартал захватывался нападавшими. На левом берегу пал Пантеон, после взятия баррикад в улицах Суфло и Гей-Люссак, отважно защищавшихся кучкою инсургентов, которые все были перебиты на месте. На правом берегу—мы уже говорили о наступательном движении армии Порядка в течение утр; взяты были Вандомская площадь, Тюльери, площадь Согласия, Лувр, Биржа, Банк, Пале-Рояль, Рынок—они были «освобождены», выжкаясь языком Тьера. К концу дня на левом берегу у федералистов оставался только клочок—XIII округ и часть правого берега между Сеной, бульварами—Севастопольским и Страсбургским, линией Восточной железной дороги и укреплениями. Солдаты революции отброшены были из всех буржуазных и богатых кварталов и были загнаны в их собственные кварталы: здесь они и будут защищаться с мрачной энергией.

В XIII округе Дюваля, пролетарские когорты которого пролили уже столько крови за общее дело в течение последних

двух месяцев, несколько тысяч коммунаров сплотились на Butte aux Cailles. Командовал ими Врублевский. Польский эмигрант, соединивший в себе военные знания с холодным мужеством, укрепил артиллерией гребень своей позиции и на флангах ее расположил своих стрелков. Сообщения с правым берегом он обеспечил сильными баррикадами на площади Жан Дарк и у Аустерлицкого моста; командование ими поручено было надежным лицам. В этот вечер среды Врублевский был атакован целым армейским корпусом. Он отбил четыре атаки. Федералисты, мужественно перейдя в наступление, спустились даже до Бьевра, и Врублевский сохранил свои позиции в течение всей ночи. Если бы повсюду имелись такие же начальники, уличная борьба продолжалась бы не неделю, а месяц.

На правом берегу на следующий день ожидалась атака Шато-До и Бастилии. В виду этого спешно укреплялись подступы к этим важным стратегическим позициям, по соседству с которыми выходят главные пути, ведущие в самое сердце рабочих кварталов X, XI, XIX и XX округов, также и в ту мэрию XI округа, которая служила в этот момент убежищем для всего, что еще оставалось от Коммуны и ее служб.

К этому-то центру, к этой мэрии и приливали ежеминутно остатки батальонов, отбрасываемые версальцами со всех пунктов. С известиями об общем поражении они приносили с собою также и сведения о военных расправах, которые заливали в этот час кровью все кварталы, «освобожденные» войсками Порядка. Они рассказывали друг другу об ужасах и зверствах, которым нет имени и которым они были личными свидетелями, спасшись каким-то чудом. И вот среди побежденных вырастает и разражается чувство бешенства, они отступают с одних баррикад только для того, чтобы вновь занять следующую. Их мужество воспламеняется и становится жестоким. Они сознают, что все кончено, что они осуждены, что одна из пуль, непрерывно свистящих у их ушей, что одна из гранат, разрывающихся над их головами, принесет и им вечный покой. Они знают, что враг беспощаден, что у него не будет ни милости, ни пощады, что он избивает раненых, расстреливает пленных, убивает жену и ребенка рядом с мужем. В этих ужасных обстоятельствах федералисты не дрожат и не отступают, но желают, по крайней мере, перед гибелью воздать удар за удар, отомстить перед тем, как самим сойти со сцены.

Из этой возбужденной среды отделяется взвод; он под командой Жентона, старого инсургента с седой бородой, видевшего июньские дни 1848 г. и затем конспирировавшего против

всемогущей империи. Этот взвод направляется в Ла-Рокет с целью расстрелять некоторых из заложников, переведенных туда накануне. Жентон спрашивает: «Кто хочет идти?».—«Я, ответил один, я хочу отомстить за брата». «Я, сказал второй, я отомщу за отца». Третий: «Я тоже имею право, они расстреляли мою жену». Вызвалось таким образом сто человек; Жентон взял из них тридцать, и они отправились. Смотритель тюрьмы отказался выдать заключенных, не получив письменного приказа. Жентон вернулся в XI мэрию, нашел там Ферре и возвратился с приказом. В списке значились: архиепископ Дарбуа, председатель Бонжан, юре Мадлены Дегерри, отцы иезуиты—Аллар, Клерк, Дюкудрэ. Их вывели из камер и на дворе для прогулок заключенных поставили к стене. Сикар скомандовал «пли!», и пять человек тотчас же упали, на ногах остался один только архиепископ. Он упал после второго залпа.

Отвратительная усмешка, вероятно, искривила тонкие губы Тьера, когда он узнал об этом факте. Наконец-то, революция давала ему эти так долго ожидаемые трупы, увенчанные мученическими венками. Теперь он ими воспользуется! Он будет кричать—и целыми неделями, а вслед за ним будет повторять это и лицемерная буржуазия, что если в Париже льют кровь и давят, если в Сатори казнят и расстреливают из пушек, то делается это с целью отомстить за эти святые, благородные жертвы. Низкопоклонная шутка! Армия Порядка избивала уже в течение трех дней. Если бы не было этой экзекуции, а также и последующей в улице Гаксо, армия избивала бы столько же народа. Для правящего класса нужно было получить головы по своему собственному счету; ему нужны были головы всех революционеров и всех социалистов, которые на мгновение подвергли опасности его классовые привилегии.

Никто не станет отрицать, что в тот момент, когда пали эти шесть духовных или светских представителей реакции, которых к тому же сам Тьер обрек на смерть, отказавшись обменять их на Бланки, что в этот момент уже тысячи парижских рабочих покрывали землю своими застывшими телами. Кроме того, действовала уже не одна только армия. Ее возбуждали и ей помогали все родственные Дарбуа и Бонжану элементы, все буржуа, находившиеся до этого в бегах в Версале или притаившиеся в своих погребках, пока управляла Коммуна, а теперь вновь вынырнувшие на поверхность при виде трехцветного знамени; они изображали собою каких-то шакалов и гиен, с воем следующих за крупными хищными животными, во время их охоты. Происходила истинно беспощадная война.

классовая битва, перипетии которой разворачивались на улицах и на бульварах. Раззолоченная и посеребренная каналья в своей ничем не сдерживаемой теперь ненависти проклинала пролетарскую и социалистическую Коммуну в ее агонии, и тем сильнее она отдавалась этому чувству, чем сдержаннее она могла проявлять его в дни торжества и мощи Коммуны.

Кто же утверждает это? Писатели коммунары, историки, симпатизирующие задавленной Коммуне? Да, но также и те, которые, изо дня в день описывая события, не имели иной цели, кроме прославления реакции и ее армии. Вот, например, свидетельство об ужасах, отметивших эту среду, данное, ничто же сумняся, версальским публицистом Езерским, редактором газеты *Tem's* и другом Тьера:

«Несмотря на падающие снаряды, толпа направилась на площадь Французского театра; над Тюльери взвивались густые клубы дыма, своды уже рушились; из окон помещения бывшего министерства вылетали тяжелые и маслянистые языки пламени; несомненно, это было пламя петролеума... Тогда толпою овладела ярость; до этих пор она испытывала скорее чувство счастливого освобождения; но это чувство радости прошло и заменилось чувством непримиримой мести и жаждой репрессий... Эти пожары заволокли небо тучами черного дыма, а в сердцах они зажгли иной, не менее яростный пожар. «Расстреляйте пленных! Никого не щадить! Смерть петролейщикам!», кричали обезумевшие группы солдатом... Тогда то и организовалась охота на подозрительных, на мужчин и женщин; арестуют и расстреливают на месте; толпа аплодирует. В домах консьержи и лавочники старательно закрывали все выходы, даже люки в погребах и окна в подвальных помещениях.

«Новые пожары, непрерывно вспыхивавшие вплоть до субботы, вместе с расстрелом заложников в тюрьмах, дают новую пищу и до крайности усиливают эту беспорядочную и дикую расправу. Чем больше, и особенно ночами, с Бют-Шомон и с Пер-Лашеза посылались снарядов с петролеумом в кварталы центра, тем все более умножались и усиливались эти экзекуции по требованию общественного мнения, на перекрестках улиц и на набережных. У тех, которые были невольными свидетелями, как эти несчастные с помутившимися глазами и сведенными судорогой лицами падали под пулями, это воспоминание останется навсегда ужасным кошмаром»<sup>1)</sup>.

Доказательство—налицо. Не будем распространяться. Нужны были бы страницы и страницы, чтобы описать все преступления, в изобилии совершенные армией и буржуазией, которые обе впали в бешенство и взаимно помогали одна другой в эти ужасные дни.

Настала снова ночь со всеми ее ужасами. Для последней схватки, ненадолго прерванной наступившей тьмой, оба противника оттачивали оружие. Ружейная пальба прекратилась, но канонада все продолжалась и казалась еще более зловещей и звучной при наступившем общем затишьи. С высот Бют-Шомон, с Пер-Лашеза и с Бисетра, с Пантеона, Трокадеро и с Монмартра канониры—федералисты и версальцы—обменивались адским огнем, осыпавшим город железным дождем. Новые начавшиеся пожары своим красным заревом озаряли глубину небес. На ряду с Тюльери, Контролем, Почетным Легионом, все продолжавшими еще пылать, загорелись Ратуша, Пале-Рояль, Лирический театр, церковь Св. Евстафия, ворота Сен-Мартен, префектура полиции, Дворец юстиции и выбрасывали к небу, как вулканы при извержении, багряные языки пламени...

По меткому выражению Лиссагарэ, свидетеля всего происходившего, «Париж казался, как бы скручивающимся в громадную спираль пламени и дыма».

С 6 часов утра версальцы возобновили наступление по всей линии. На севере федералисты сами очистили в течение ночи большую часть X округа и отступили под командой Брюнеля на площадь Шато-До. В центре Ратуша была обойдена вследствие занятия Вогезской площади и Сен-Антоанской улицы, и вся эта местность была захвачена. Благодаря этому атака угрожала непосредственно площади Бастилии. На левом берегу Сены Сиссэ получил сильные подкрепления. Он в пятый раз атаковал двумя бригадами, поддержанными сильной артиллерией, Бют-о-Кайль и, наконец, взял эту позицию. Врублевский отбивал все атаки в течение 36 часов. Совершив удачное отступление, он перешел Сену по Аустерлицкому мосту с тысячько хребцов XIII округа, увозя с собою часть своих пушек. Все остальные федералисты остались на левом берегу и были убиты на месте, защищая баррикады. Сиссэ, завладев всем левым берегом, а также и фортами Бисетром и Иври, гарнизоны которых, чтобы не быть отрезанными, пробились в Гобелены,—Сиссэ двигался шаг за шагом за отступавшими побежденными героями и наткнулся при этом наступлении на сильные позиции Аустерлицкого моста, на которые с другой стороны наступали войска Винуа. Обоим генералам удалось взять мост только

<sup>1)</sup> L. Iezierski. La Bataille de sept jours, стр. 55—57—53.

после битвы, продолжавшейся несколько часов, и ценою значительных потерь. К концу дня они подошли к укреплениям площади Бастилии.

На площади Шато-До атака уже началась. Баррикады возведены были при выездах всех семи широких улиц, выходящих на эту обширную площадь, и битва приняла здесь чисто эпический характер. Сюда сошлись, в поисках защищенного пункта, самые горячие и решительные защитники революции, и здесь они искали скорее не защиты, а нового поля битвы, последнего, без сомнения. Решившись отдать свою жизнь, они сплотились вокруг Коммуны, вокруг того, что оставалось еще от нее и что заседало в мэрии XI округа, среди всего этого грохота, среди предсмертного хрипения умирающих, стонов раненых, свиста пуль и рева канонады. Делеклюз, удрученный годами и болезнью, потеряв голос и держась на ногах только силою воли, продолжал исполнять свою обязанность военного делегата. Рядом с ним находился Журд, положив руку на шкатулку, в которой находились последние 500.000 франков, которые он заставил Французский Банк выдать в среду; он проверял длинные ряды списков и выдавал жалованье, углубившись в свое дело и спокойный, как будто-бы он до сих пор еще находился в министерстве финансов. В соседней комнате Ферре невозмутимо допрашивал шпионов и изменников, которых непрерывно приводили к нему. Гамбон и Арно, члены Комитета Общественного Спасения, находились тут же. Раньше командовал на Бют-Шомон. Только один Бильорэ исчез с самого вечера воскресенья. Ни его, ни Феликса Пиа, его соперника по свирепости в те времена, когда версальцы находились еще по ту сторону валов, никто уже больше не видел. Как тот, так и другой сидели в это время, спрятавшись в укромных местах. Но надо громко заявить, к чести избранных 26 марта, что этому печальному примеру никто из них не последовал.

Из их товарищей, которые не были взяты в плен или убиты, как Рауль Риго, расстрелянный накануне в улице Гей-Люссак после взятия баррикад Пантеона, почти все находились налицо, на посту опасности и долга, как из меньшинства, так и из большинства. Тут были Курне, Мортье, Вегдюр, Мартле, Шампи, Ж. Б. Клеман, Вальян, Жоганнар, Виар, Шардон, Жерезм, Дерер, Тренке, Потье, Алликс, Эд. Бгюнель; и тут же были Валлес, Лонге, Арнольд, Френкель, Пинди, Серралье, Авриаль, Э. Жирарден, Лефрансе, Верморель, Тейс, Остен, Варлен, Малон. Уже четверо суток на ногах, не отдыхая ни минуты, они переходили от баррикады к баррикаде, подвозя подкрепления,

доставляя орудия, снаряды, стараясь укрепить защиту; многие из них, сами взяв ружья, стреляли наравне и бок о бок с национальными гвардейцами, некоторые обнаружили выдающуюся храбрость, как, например, Верморель: верхом на коне, когда до этого он никогда и не садился на лошадь, опоясанный красным шарфом, он подставлял грудь всякой пуле.

В четверг, в полдень, они все собрались на общее заседание. Созыва этого заседания потребовал Арнольд. Он объяснил, что секретарь посланника Соединенных Штатов Вашберна явился к нему предложить от имени посланника посредничество немцев. Делеклюз и Вальян указали на невозможность этого предложения и протестовали против него. Разве же неизвестно, что уже с понедельника между версальским правительством и принцем саксонским заключена конвенция, в силу которой войска Порядка могут пользоваться нейтральной зоной? Разве все парижане, безразлично мужчины и женщины, пытавшиеся оставлять город, укрыться за прусскими линиями, не были беспощадно расстреляны? Однако, несмотря на эти возражения, большинство высказалось сочувственно в пользу этого предложения, и решено было, что Арнольд вместе с Делеклюзом, Верморелем и Вальяном отправятся в Венсен для пререговоров с так называемыми посредниками.

Делегация отправилась. В 3 часа она достигла Венсенских ворот, но занимавшие караулы федералисты отказались пустить ее: они потребовали пропуска от Комиссии Безопасности. Один из делегатов вернулся в мэрию XI участка и привез приказ, подписанный Ферре. Но, несмотря на это, караул уперся на своем отказе. Федералисты боялись измены, бегства, и делегация, не будучи в состоянии убедить этих раздраженных и упорных людей, принуждена была вернуться в Париж.

Положение в XI округе делегация нашла еще более ухудшившимся. Баррикады улицы Маньян были взяты, и оттуда принесли Бгюнеля, тяжело раненого в бедро. Консерватория Искусств и Ремесл была окружена, и вся верхняя часть III округа попала в руки неприятеля, который подошел уже к баррикадам театра Дежазе и бульвара Вольтера. Вести с площади Бастилии были нелучшие. Оттуда привозили и приводили раненых, и между ними была Дмитриева; она поддерживала Френкеля, который был ранен еще тяжелее ее.

Тогда Делеклюз принял решение. «Прощайте,—сказал он, покидая мэрию XI округа,—пойду, пусть меня убьют!» И он пошел вниз по бульвару Вольтера; его сопровождали несколько федералистов, несколько друзей—Журд, Лиссагарэ. На площади

Шато-До смерть неистовствовала. По дороге, пройдя немного церковь Св. Амвросия, они встретили раненого Лисбонна, которого поддерживали Тейс, Верморель и Жаклар. В этот момент упал тяжело раненый Верморель; от этой раны он и умер. Его подняли Журд и Тейс и унесли на носилках. Делеклюз пожал руку раненому и продолжал свой путь к выходу с бульвара; его компаньоны отстали, он—один. Здесь мы передаем слова Лиссагарэ, так хорошо описавшего эти дни кровавой недели, которую он пережил, как очевидец, пренебрегая всеми опасностями, чтобы лично все видеть.

«Солнце садилось за площадью. Делеклюз, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, следует-ли кто за ним, подвигался вперед тем же шагом; он был единственным живым существом на всей улице. Подойдя к баррикаде, он с левой ее стороны взошел на нее. В последний раз появилось перед нами, обращенным к смерти, это строгое лицо, обрамленное короткою белою бородою. Внезапно Делеклюз пропал, он упал, пронизанный пулями, на площади Шато До» <sup>1)</sup>.

Федералисты не могли взять его тела; версальцы на следующий день келейно похоронили его. На мертвом найдено было следующее письмо, в котором отразилась его великая и стоическая душа. «Дорогая сестра, я не хочу и не могу быть игрушкой и жертвой торжествующей реакции. Прости, что я удаляюсь ранее тебя, посвятившей мне всю свою жизнь, но я не чувствую в себе мужества еще раз перенести новое поражение после стольких уже бывших ранее. Целую тебя тысячекратно, как и люблю. Воспоминание о тебе будет моей последней мыслью перед тем, как я найду покой. Благословляю тебя, горячо любимая сестра, тебя, которая была всей моей семьей после смерти нашей бедной матери. Прощай, прощай! Целую еще раз. Твой брат, любящий тебя до своего последнего момента».

В течение ночи Коммуна решила перенести свою главную квартиру в мэрию XX округа. С наступлением дня обнаружались новые значительные успехи, достигнутые версальцами. Федералисты занимали уже только едва пятую часть столицы, да и эта часть утрачивалась ими ежеминутно, по кускам. Винуа, двигаясь вдоль Сены, зашел в тыл XII округу с целью от Тронной площади подойти к Бастилии. Последняя капитулировала около двух часов дня, после геройского сопротивления. Груды трупов навалены были у подножия баррикад, которыми федералисты усеяли все выходы с площади. На одной только баррикаде улицы

Шаронн поднято было 105 трупов. Предместье Сен-Антуан тоже было окружено; версальцы бросились в него и произвели ужасающую бойню. В это время уже давно замолчали баррикады Шато-До, оставленные их защитниками, которые отступили до Канала, еще открытого в то время на всем его протяжении и представлявшего таким образом естественную линию обороны. На севере корпус Ладмиро, захватив Шапель, дошел до Вилетт. Таким образом, кольцо смерти все более и более стягивалось вокруг федералистов. На востоке, в единственном пункте, где федералисты еще опирались на укрепления, они могли наблюдать пруссаков, построенных в боевой порядок на равнине и готовых расстрелять их, если бы они рискнули отступить в этом направлении.

Выхода более не было, не было и надежды; всюду смерть! Реакция поклялась, что не останется камня на камне в этих проклятых кварталах, в Бельвиле и в Менильмонтане, в этой колыбели мартовской инсurreкции, где усиленно билась душа революции, где она билась всего еще несколько часов тому назад. Коммунары, жившие там или явившиеся туда для последнего привала, хорошо знали это, они знали также, что все они погибнут там под развалинами. Можно ли после этого удивляться, что перед своим исчезновением они постарались отомстить тем способом, который еще был в их распоряжении, и ответить беспощадному Версало расстрелом бывших в их руках заложников, всего 48 человек, из которых 36 были ранее жандармами, полицейскими агентами или сыщиками, а 12 принадлежали к духовенству? Кто-же убивал! Анонимная толпа, кровь которой буржуазия и армия уже в течение пяти дней лила, как простую воду. Кто убивал? Сбежавшиеся, сражавшиеся люди, которых трехцветная пресса следующими словами приговаривала к смерти в этот самый день: «Например, федералистам нечего уже рассчитывать на пощадку: простой гвардеец или офицер в гаунах, все захваченные будут расстреляны. Возбужденные солдаты не хотят более брать в плен. Гражданское население озлоблено, может быть, даже еще в большей степени. Подавленное игом Коммуны и ее тайными убийцами, это население обнаруживает по отношению к ним такое ожесточение, которое можно было-бы даже назвать жестокостью, но возможно-ли вообще говорить о жестокости, когда вопрос касается злодеев, на которых обрушивается эта ненависть?» <sup>1)</sup>. И, что-же? Не у этих-ли людей, которых реакция осуждала прямо на смерть, они рассчитывали встре-

<sup>1)</sup> Lissagaray—Histoire de la Commune, стр. 365.

<sup>1)</sup> Petite Presse, № 26 мая 1871 г.

тить гуманность и хладнокровие! Пусть всякий, кто пожелает, возмущается царапиной, нанесенной руке палача осужденным на смерть. Но нам кажется, что пролетариат должен оплакивать только своих и интересоваться только ими.

Сколько погибло в эти дни со стороны народа? Мы знаем имена только знаменитых и известных людей. Мильер был расстрелян на ступенях Пантеона, поставленным на колени, «чтобы попросить прощения у Бога и людей», Треилар, неподкупный директор Общественной Благотворительности. Но остальные, просто люди, неизвестные, женщины, дети, старики, раненые, схваченные с больничных коек, такие-же великие, такие-же герои, умиравшие молча, без криков... Кто может знать их имена, кто вызовет их кровавые призраки?...

Ночь еще не пришла. Беспорывная канонада вызвала свой обычный эффект: она образовала и сгустила тучи. Льет дождь. Но вот темное небо освещается багровым заревом. Это загорелись доки в Ла-Вилет с их складами горючих материалов, минерального масла, смолы и петролеума.

В эту ночь в Версале подумали, что пылает весь Париж. Мрачное и отчаянное затишье битвы! На высотах XIX и XX округов все храбрцы, которые еще хотят бороться перед смертью, нашли свое последнее пристанище. Остатки батальонов расположились под открытым небом, на улицах, прямо на размокшей почве. Настал грязный и пасмурный день. Положение сражавшихся было следующее: федералисты, скучившиеся главным образом на высотах Бельвиля и Пер-Лашеза, занимали полукруг, оба крыла которого опирались на укрепления около ворот Ла-Вилетт и Баньоле, а фронт шел по Вилетскому каналу к Бастилии и терялся в сети улиц, направо от предместья Сен-Антуан и квартала Шаронн, захваченного уже накануне.

Версальцы вновь начали наступление. В 9 часов утра Винуа завладел всеми укреплениями Тронной площади и зашел в тыл бульвара Вольтера. Дуэ подвигался вперед по предместью Тампль, встречая всюду отчаянное сопротивление, по Клиншану и бульвару принца Евгения. Не будучи в состоянии взять с фронта грозную баррикаду на бульваре Ришар-Ленуар, он зашел ей в тыл через площадь Бастилии. Кольцо смерти сжалось еще более. Коммунары были окончательно оттеснены к Шомонским высотам на кладбище Пер-Лашез, где еще продолжали греметь их орудия. Официально Делеклюза заместил некто Ипполит Паран, но фактически командовали Ранвье и Пассдье: они были душою этого последнего сопротивления. В улице

Гаксо еще находилось около пятнадцати членов Коммуны: Журд, Вальян, Варлен, Валлес и другие.

Но эпилог великой драмы был уже близок. В Бельвиле ежeminутно падала сотня снарядов; все не сражающиеся жители его попрятались в погребах. Три четверти армии Порядка, 100,000 человек, были тут, чтобы покончить одним ударом и раздавить горсть героев, предпочитавших смерть сдаче. Оба крыла армии почти что уже сошлись. В 8 часов вечера Винуа взял приступом кладбище Пер-Лашез, здесь сражались даже в склепах и на памятниках. Ладмиро, несмотря на наступившую ночь, продолжал свое охватывающее движение; он занял скотобойню в Вилетте, перешел канал и дошел до подножия Шомонских высот, орудия которых должны были, наконец, замолчать вследствие отсутствия снарядов. Атаккой в штyki он взял эти высоты и после шестичасового сражения выбил находившихся на них последних федералистов.

4 часа ночи. Наступило дождливое утро. Это воскресенье, 28-го мая, увидело последние судороги задавленной и затоптанной ногами революции. Сражаются еще в верхней части улицы Ангулем и в предместьи Тампль; Гамбон, Ж. Б. Клеман, Варлен, Ферре, Жерезм еще продолжают распоряжаться на баррикадах. Однако стрельба становится все более редкой и прерывистой. Патронов не стало хватать раньше, чем людей. В два часа дня в улице Рампонно прозвучал последний выстрел... Все было кончено. Революция умерла!

## XVIII. Трехцветный террор.

\* В былые годы, когда варвар-победитель вривался через пролом в осаждаемый город, он, не смотря на возраст и пол, рубил своим мечом всех жителей, которые в эти первые моменты попадались под его удары. Оставшиеся в живых, в цепях и под градом оскорблений и ударов, длинными вереницами прогонялись в далекие страны, в рабство. Горькая насмешка! Столица Франции, взятая французами «во имя закона и в силу закона», должна была испытать ту-же судьбу.

Мы не можем сказать, что репрессии начались только после прекращения революции, потому что уже целую неделю шаспо<sup>1)</sup> действовали в руках солдат-убийц. Но теперь, когда репрессии

<sup>1)</sup> Шаспо—система скорострельных винтовок, которыми снабжена была в эти годы французская армия. Пер.

ничего уже не могло ни противиться, ни мешать, она усилилась еще больше, она раздулась и систематизировалась с целью все перемолоть своими тяжелыми жерновами. Париж разделен был на четыре участка, и заведывание ими поручено было генералам Винуа, Дуэ, Сиссэ и Ламиро. Провозглашено было осадное положение. Армия, расположившись прямо на улицах, поставив ружья в козла, правит всем, как верховный владыка. Жандарм, судья и палач, она одновременно арестует, производит дознание, выносит решение и казнит. Против ее решений не существует ни апелляции, ни защиты. Вся процедура состоит только из этих четырех моментов. В стенах города солдатчина явилась единственным правительством, и никакого другого не существует. Гражданская власть отсутствует, она стерлась и улетучилась. И для этого у нее были свои причины.

Причины низкие! Тьер передал возжи военным начальникам, предоставил Париж в их полное распоряжение, потому что был уверен, что их слепая и животная ненависть достигнет лучших результатов, чем его собственная ненависть—сознательная и обдуманная, и более верно исполнит операцию политического хирурга, которая, по его мнению, была необходима для оздоровления социального организма. Он был черезчур опытен, чтобы не знать, что широкое кровопролитие возможно было только при общем замешательстве, в азарте атаки, что с прекращением военных действий страсти постепенно улягутся, и он вскоре вынужден будет услышать голоса милосердия и успокоения! Но этого кровопускания он желал теперь всеми своими помыслами. Он ведь и раньше стремился к нему и приложил для достижения этого все свои способности! Он желал этого потому, что для него дело шло не о господстве и не о принижении рабочего класса, но о его децимировании, об уничтожении в нем всего, что внушало подозрение в смысле идеи и ее проведения, и это с тою целью, чтобы в результате господство буржуазного режима явилось неоспоримым и не могло-бы быть даже оспариваемо. Случай был подходящий, и он счел бы себя безумным, если-бы упустил теперь из рук практически результаты, барыши его долгой, терпеливой и умелой стратегии в течение четырех месяцев.

Несомненно, случай был очень подходящий; он был даже единственный в своем роде. Действительно, может быть никогда еще не обнаруживалось у победителей подобной разнузданной ярости и бешенства, такой жажды убийства, такой страсти к мщению. Чувства сострадания и элементарной гуманности совершенно испарились, и проявились самые низкие инстинкты;

они получили преобладающее значение и, не стесняясь, вышли откровенно на свет. Казалось, что общество вернулось к чисто животному состоянию. И кто-же задавал всему этому тон? «Честные люди», образованные заправилы, просвещенные и утонченные, те, которые говорили именем Бога о милосердии и идеале будущей жизни и чванились, что они представляли собою, в противоположность разбойникам умирающей Коммуны, нравственность и цивилизацию. Все это произошло от того, что эти «честные люди» испытали страх; тонкая политура, покрывавшая у них, как и у всех других, грубую природу, слезла, и они мстят, едко и сладострастно, за свой вчерашний страх, за то, что на мгновение они затрепетали перед пролетарским пробуждением и испугались за свои барыши и блага жизни. Трусливый буржуа, сидевший целые недели, притаившись, у себя дома, появился теперь среди солдат со всею своею наглостью; он царит на улицах, с трехцветною кокардою в петлице, с этим значком союза сторонников Порядка. За ним идут: его клиентура, его прислужники, все те, кто живет крошками, падающими с капиталистического стола, еще более низкие и бесчестные, чем их господа. По сторонам его его пасынки, вернувшиеся из Версаля с своими кокотками в «рыжих шиньонах», все они вновь располагаются в кафе на бульварах и возобновляют свои кутежи в ночных ресторанах. Здесь вся эта истинная сволочь, вся жизнерадостная каналья, каналья добычи, все паразиты и эксплуататоры. Эти жалкие синьоры являются указателями и поставщиками для взводов солдат, занятых расстреливанием. По их мнению, армия черезчур мягка и великодушна. Они руководят расследованиями и направляют их, они доносят на редких подозрительных, которым как-то удалось проскользнуть через ячейки версальской сети, они создают в своих кварталах «комитеты чистки», предварительные приемные воен-военных судов. Пресса также являлась зеркалом всей этой низости и всего этого позора. Она старалась поддержать это бешенство и эту буржуазную панику. Если она не изобретает сама разных низких басен, то служит эхом этих легенд, созданных для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение, чтобы вызвать негодование, обмануть Францию и Европу, чтобы к мертвым и умирающим не проявлялось даже чувства простой жалости. Со столбцов газет слетела басня о петролейщиках, которая стоила жизни стольким несчастным, а также и басня о батальонах поджигателей, о наклеенных записках с надписями: «подлежит сожжению»; о водосточных каналах, водопроводах и катакомбах, начиненных минами и соединенных электрическими проводами,



об отравленных напитках для солдат. Одна газета описывает специальный прибор, которым пользовались коммунары для выбрасывания петролеума. Другая рассказывает историю поджигателя, на котором нашли «сто сорок метров зажигательного фитиля». Эти нелепые и чудовищные выдумки служат пищей для армии и для всего города, они ежедневно все сильнее подогревают ярость солдат-расстреливателей и ненависть реакционеров, которые доносят, ругают и мучают.

В эти дни всеобщей подлости, самую большую подлость совершила, может быть, пресса, и вас охватывает отвращение и стыд при мысли, что вы—человек и умеете читать, когда вы просматриваете статьи этих литераторов-убийц, которые называются иной раз Александром Дюма-сыном, Франциском Сарсе или Гектором Пессаром, статьи сентиментальные или зверские, смотря по темпераменту авторов. Все эти статьи являются одним длинным рядом подстрекательств к бойне. В первое время тема была одна и та же во всех газетах, начиная с газет клерикальных, полицейских, бонапартистских и кончая более степенными и доктринерскими газетами профессионального либерализма хорошего тона, в том числе и *Officiel*. У некоторых из них только тогда проснутся проблески стыда, когда главная часть работы будет уже исполнена, да и то они постараются замаскировать свое рабское вмешательство ссылками на гигиену и на санитарные требования. Пока-же, когда одна газета кричит: «на колени!», другая поддерживает ее ревом: «пли!»,—и обе вместе требуют усиления расстрелов и еще большего числа трупов! Но почему же не процитировать подлинников? Обзор этот будет поучителен, он объединит одною преступной провокацией все органы различных политических фракций господствующего класса, уже и без того самостоятельно объединившихся своим участием в величайшем избиении пролетариата, которое когда-либо происходило.

*Vie n P u b l i c*: «На коммунаров надо устроить охоту... Нам не улыбаются оскорблять победленных врагов, но, по правде говоря, разве эти негодяи—враги? Это—бандиты, которые сами себя поставили вне законов гуманности».

*O p i n i o n N a t i o n a l*: «Царство злодеев окончилось. Нам никогда не удастся узнать, какими ухищрениями зверства и дикости они завершили эту оргию преступления и варварства... Два месяца варварства, грабежа, убойств и поджогов!»

*P a t r i e*: «Если Париж хочет сохранить за собою привилегию быть сборным пунктом честного и фешенебельного бомонда, то это зависит от него самого; он обязан доставить своим гостям, которых он приглашает на свои празднества, безопасность,

которой ничто не могло бы угрожать... Примеры неизбежны. Роковая необходимость, но—необходимость! Этим людям, которые убивали, чтобы убивать и грабить, а теперь схваченным, можно ли ответить за их деяния словом: «пощада!» Эти гнусные женщины, которые ударами ножей распарывали груди умиравших офицеров, теперь взяты, и им-ли сказать: «пощада!»

*M o n i t e u r U n i v e r s e l*: «Ни один из злодеев, в руках которых в течение двух месяцев находился Париж, не будет рассматриваться как политический преступник; к ним отнесется как к разбойникам, каковыми они и являются, как к самым ужасным чудовищам, которых когда-либо видела история человечества. Многие газеты говорят о восстановлении эшафота, уничтоженного ими, чтобы не предоставлять им даже чести быть расстрелянными».

*G a u l o i s*, статья подписана—Сарсе: «Смерть—не наказание... Она—предосторожность. Мы видим тысячи людей, охваченных припадком ужасного бешенства. Они грабят, убивают, поджигают. Это—умопомешательство, я допускаю. Но безумные этого рода и в таком громадном количестве, сговорившиеся друг с другом, представляют такую чрезмерную опасность для того общества, к которому они принадлежат, что не существует иных карательных мер, кроме радикального их уничтожения».

*F i g a r o*: «Мы должны обложить, как диких зверей, тех, которые попрятались: беспощадно, без гнева, но с твердостью, которую порядочный человек вкладывает в исполнение своего долга».

И в другом номере: «На г. Тьере лежит еще важная задача: очистить Париж... Никогда еще не представлялось подобного случая для излечения Парижа от моральной гангрены, которая раз'едает его уже в течение двадцати лет. Армия вошла через брешь, по баррикадам и по дымившимся развалинам; следовательно, парижане должны подлежать действию законов войны, как бы ужасны они ни были. Пощада была-бы в данное время безумием».

*I n d e p e n d e n c e F r a n ç a i s e*: «Наконец-то! Наконец! Париж освобожден от банды разбойников, грабителей, поджигателей, воров, которые заражали его в течение двух месяцев... В момент, когда мы можем свободно вздохнуть, когда свежий воздух вновь проникает в наши легкия, спавшиеся вследствие грязного дыхания этих гнусных чудовищ, только один крик может сорваться с наших губ, и крик этот будет криком всех французов: никакой пощады этим подлецам! Только одна кара может искупить подобные преступления: смерть!»

Казалось, что дальше этих низостей некуда уже было и идти. Однако, одна из газет пошла и дальше. Какая же это газета? Сам правительственный орган, Journal Officiel, который писал и высказывал эти кровожадные пожелания, конечно, в виде последнего напутствия главы исполнительной власти своей армии: «Поступите так, как в подобном случае поступили бы великие энергичные народы: не берите в плен! Если в толпе окажется честный человек, действительно увлеченный силой, вы его легко отличите. Среди этого народа честный человек выделяется своим величием. Предоставьте храбрым солдатам свободу отомстить за своих товарищей; пусть они совершат на театре действия и в пылу битвы то, что на завтра, когда вернется хладнокровие, они не пожелают уже совершить: пли!» Армия, однако, едва ли уже нуждалась в этой провокации и в подуськиваниях. Стадо еще, может быть, но не начальники. Командовавшие генералы твердо знали свое ремесло, заслужив первые свои галуны во время июньских расстрелов и декабрьских залпов. Они, а, также, конечно, и все подчиненные им офицеры низших чинов, были креатурами империи, рубаками по призванию и традиции, они были настолько же полицейскими, насколько и солдатами. Благодаря этому, Париж в их глазах был вдвойне винсвен. Париж, будучи коммунальным, произвел 18-е марта, но так как он был также и республиканским городом, то он еще раньше произвел 4-е сентября, а ретрограды-бонапартисты скорее прощали ему изгнание Тьера и его банды, чем свержение трона Наполеона и Евгении. Таким образом, они шли и действовали настолько-же ради павшей империи, на скорое восстановление которой они питали надежду, насколько и во имя версальского парламентского правительства.

Глава исполнительной власти имел, следовательно, полное основание рассчитывать на этих профессиональных палачей. Несомненно, их не посетят сомнения о какой-то пустой законности. Тем более, что их злоба имела еще и другие источники: они должны были покататься с парижанами за личную обиду, за то, что парижане заклеили их в дни Седана и Меца кличкой трусов и капитулянтов, какими они фактически и являлись, а затем доказали им примером в течение героической пяти-месячной осады, чем могут и должны быть перед лицом неприятеля смелые и честные люди. Таких вещей не забывают, когда носят имена Мак-Магона, Сиссе, Винуа или более простые, в роде Галлифе, Лавокупе или Гарсена. Зато и бойня будет на славу, она будет в своем роде образцовая! Армия и буржуазия пьются кровью и останутся только тогда, когда этот при-

торный напиток будет грозить задушить их самих, когда мертвые, мстя самой своей смертью, пригрозят чумой лагерю победителей.

Мы не будем касаться подробностей избиения. Это уже сделано другими лицами, посвятившими этой бойне целые страницы и страницы, не успев, впрочем, исчерпать предмета. Достаточно сказать, что около 2.500 мужчин и женщин убито было за баррикадами, тогда как после битвы умерщвлено было в десять раз больше, по меньшей мере. Мак-Магон признался в 14.000 трупах; разрешений хоронить на парижских кладбищах дано было 17.000; но сколько было зарыто без всяких формальностей около тех самых стен, где падали расстрелянные федералисты, сколько было зарыто в казематах укреплений, сколько было расстреляно на дороге из Парижа в Версаль и закопано там-же, на месте!

Приведем несколько цифр. В Ла-Рокет, с воскресенья 28-го по утро понедельника 29-го мая, убито было 1.907 жертв, по свидетельству очевидца, который чудесным образом спасся и вместе с пятьюдесятью другими товарищами нагружал трупы после экзекуций на телеги, употребляемые обыкновенно для перевозки мебели. 400 человек расстреляно было в Мазасе, по утверждению Дюма, прикомандированного правительством Порядка в мэрию XII округа; этот Дюма, не позаботясь несколько о том, чтобы установить личность убитых, разрешил бросать трупы в общую яму на кладбище Берси. Такого-же рода избиения происходили в Военной школе, в парке Монсо, в улице Розье, где они начались еще со вторника, 23-го мая, и продолжались безостановочно, в Политехнической школе, на Восточном и Северном вокзалах, в казарме Дюпле, в Ботаническом саду, в мэрии Пантеона и в двадцати других местах. Всякий начальник корпуса, подчинив и захватив квартал, оставлял позади себя двоих или троих офицеров, к которым тотчас-же присоединялось несколько добровольцев из национальной гвардии, и, таким образом, образовывался военный суд, который немедленно и приступал к работе.

Из этих судов главным образом два отмечены в летописях преступлений, именно суды, заседавшие в Люксембурге и в Шатле. В первом орудовал Гарсен. Перед этим судом предстали: в среду Мильер, Тони Моален—в воскресенье, а также и Улисс Паран, и вместе с ними многие тысячи обвиненных, из которых очень немногим удалось избежать расстрела. В концертном зале Шатле заседал профос, печальной памяти полковник национальной гвардии Вабр. Бойня, которою он руководил, пре-

взошла все другие. Сами палачи признались, что здесь произнесено более трех тысяч смертных приговоров. Обвиняемые дефилировали перед судилищем рядами; допрос каждого продолжался разве  $\frac{1}{4}$  минуты. «Сражались-ли вы? Служили-ли Коммуне? Покажите ваши руки». На этом все и оканчивалось. Не дожидаясь ответов, судья по лицу обвиняемого, по своему впечатлению и капризу произносил приговор. Какой-же приговор? Gaulois знакомит нас с ним: «После решения судьи направляет их в правую или в левую дверь, в зависимости от степени их виновности. Выходящих из правой двери направляют в Версаль, под конвоем солдат для заключения в Сатори. Выходящих из левой двери волокут в казармы Лобау и немедленно расстреливают»<sup>1)</sup>.

Вабр говорил также: «Препроводить в бригаду!»—«В этом случае—говорит Nation Française—осужденному оставалось лишь поручить свою душу Господу». В Люксембурге осужденные разделялись на «обыкновенных» и на «классифицированных». «Обыкновенные»—это значило Сатори, «классифицированные»—расстрел. Таким образом, как мы видим, палачи избегали называть смерть ее именем, как будто-бы у них смутно шевелилась мысль о позорности их дела. «Классифицированные» Шатле приводились толпами в Лобау, связанные и осыпаемые проклятиями и свистками «порядочных» людей; здесь их передавали жандармам, которые загоняли их во двор и, не выстраивая даже у стен, начинали стрелять в них прямо в кучу, как на какой-нибудь охоте. Многие, будучи только ранены, подымались и бегали около стен до тех пор, пока какая-нибудь пуля не укладывала их. Тут-же постоянно присутствовал священник и провозжал всякую приводимую толпу религиозными напутствиями, «как-бы освящая эту низкую бойню Евангелием». В одной из этих поставок находились Эдуард Моро из Центрального Комитета и Жак Дюран—член Коммуны. Проходили женщины, молодые девушки, юноши и даже маленькие дети. «Я видел, говорит очевидец, которого приводит Камилл Пельтан, как вышли из военного суда (в воскресенье, 28-го мая, в 2 часа дня) шесть детей, которых вели четыре городских. Старшему было едва-ли 12 лет, а самому меньшему не более 6. Бедные дети плакали, проходя через толпу, образуемую этими негодями (зрителями)... «На казнь! на казнь! кричали эти дикие звери, из них потом вырастат инсургенты». Самы́ маленький был босо́й—в сабо, на нем были только шталоны и рубашка, и он

заливался горькими слезами. Я видел, как они вошли в казарму Лобау. В момент, когда ворота за ними захлопнулись, я произнес: «преступно убивать детей». После этого я едва-едва успел спастись, в противном случае я попал бы в Шатле, как и все другие»<sup>1)</sup>. После каждой экзекуции двор казармы очищался от трупов; их временно хоронили в сквере Сен-Жак. По сведениям газеты Siècle от 29-го мая на этом небольшом пространстве похоронено было в это время уже более тысячи человек.

А теперь, когда мы видели, как их убивали, не следует-ли рассказать вкратце, как они умирали? Без сомнения! И это будет только справедливостью. Эти мужчины, эти женщины и эти юноши, которых армия принесла в жертву торжествующим реакции и капиталу, умерли героями, умирая вместе с тем, как мученики. В последние их моменты сияние социалистического идеала осветило их сознание и возбудило их мужество. Они сознавали, хотя многие из них, может быть, смутно, но все они сознавали превосходство и возвышенность того дела, за которое они погибли; они чувствовали, что кровь их проливается не напрасно, что она впитается в глубокие вены земли и оплодотворит будущее, и поэтому они стояли перед дулами ружей спокойно и тьердо, почти радостно. Те, которые противились,—те отбивались, как малодушные Валлеса или Бильборэ, но эти люди не были борцами революции, они стояли нейтрально, часто даже симпатизировали победителям, и зойско и толпа в своем слепом раздражении только по ошибке бросали их в толпу расстреливаемых. Истинные коммунары, наоборот, отличались именно тем, что не бледнели и бестрепетно смотрели в глаза смерти. Все свидетельства вполне сходятся в этом пункте.

Petit Moniteur от 29-го мая сообщает: «осужденные держат себя настолько-же беззаботно, насколько и энергично. Когда им приходится переходить через трупы расстрелянных ранее их, они перепрыгивают через них и, обернувшись к солдатам, сами командуют: «пли».—В Gaulois, от 13 июля, Сарсэ, говоря главным образом о женщинах, писал: «Все женщины, которых казнили раздраженные солдаты, умерли с проклятиями на устах, с презрительной усмешкой, как мученицы, которые, принося себя в жертву, выполняют этим высший долг».—Etoile, одна из бельгийских газет, наиболее восстановленная против Коммуны: «Большинство не боялось смерти; как арабы после битвы, оно встретило ее спокойно, с пренебрежением, без ненависти и гнева, не оскорбляя расстреливавших солдат. Солдаты, при-

<sup>1)</sup> Gaulois от 29-го мая.

<sup>1)</sup> Camille Pelletan. La Semaine de Mai, стр. 224.

нимавшие участие в этих экзекуциях, которых я расспрашивал, единодушны в своих рассказах. Один из них сказал мне: «В Пасси мы расстреляли человек сорок этих каналов. Все они умерли как солдаты. Некоторые скрещивали руки на груди и высоко держали свои головы. Другие расстегивали свои мундиры и кричали нам: «стреляйте! Мы не боимся смерти!».

Смущенная реакция боязливо задавала себе вопрос, откуда у побежденных это высокомерие, бьющее ее по щекам? Следы этого недоумения мы находим даже и в показаниях, данных год спустя следственной комиссии 18 марта. Граф де-Мюн, стараясь отыскать в своей совести благочестивого католика какое-нибудь позорящее объяснение этого явления, но успев только подчеркнуть свое собственное недоумение и недоумение своей касты, утверждал, что «их твердым намерением было отказаться работать. Этим, — по мнению графа, — объясняется тот цинизм, с которым эти люди встретили расстрелы: не то, чтобы они оказывали энергичное сопротивление, оно могло быть еще большим, но все они умерли с известного рода заносчивостью, а так как ее нельзя приписать какому-нибудь моральному чувству, то ее следует объяснить только одним желанием скорее разделаться с жизнью, чем жить трудясь». Труды благородного графа пропали даром, но констатированный им факт остался налицо. Он указывает, на чьей стороне, в каком лагере была деятельная и казуальная вера, та вера, которая покорит весь мир.

Рассказать конец каждой из этих благородных жертв невозможно, а их было тридцать тысяч, может быть, даже больше! О большинстве не сохранилось никаких сведений, даже имен, т. е. убийца довел свое пренебрежение до такой степени, что не установил даже имен убитых. По поводу одной из этих жертв, которая показалась ему более заслуживающей внимания, победитель оказался, впрочем, менее молчаливым. Расскажем и мы эту историю; рассказ стоит всех остальных, тем более, что дело касается Варлена, т. е. человека, который всего вернее, может быть, олицетворял в себе все, что в это время в рабочем классе, из которого он вышел, было сильного, здорового и великодушного.

Эжен Варлен до последней минуты сражался на баррикадах. В воскресенье, в полдень, он еще стрелял в улице Фонтен-о-Руа. В 4 часа, когда он сидел на террасе кафе на площади Каде, он был узан переодетым в штатское платье попом, который указал на него проходившему мимо лейтенанту 67-го пехотного полка—Сикру. Сикр схватил заподозренного и с помощью нескольких буржуа-добровольцев связал ему за спиной руки;

затем он повел его на Монмартр. Здесь мы предоставим слово роялистской газете Tricolore, которую никто не заподозрит в сочувствии и рассказ которой во всех своих деталях был впоследствии подтвержден и даже превзойден в течение судебных разбирательств, происходивших в Версале.

«Толпа все прибывала и с большим трудом удалось добраться до подножия Монмартрских высот, где задержанного привели к генералу, имени которого не удалось узнать (это был Лавокупе). Дежурный офицер приблизился к генералу и несколько мгновений говорил с ним. Генерал тихо, но твердо ответил: «здесь, за этой стеной».

«Мы слышали только эти четыре слова, и хотя не сомневались в их значении, но хотели все-таки видеть конец одного из авторов той ужасной драмы, которая развертывалась перед нашими глазами в течение более чем двух месяцев; но приговор толпы решил иначе. Когда мы пришли на указанное место, раздался голос (неизвестно, кто закричал), тотчас-же подхваченный многими другими: «надо еще его поводить, черезчур рано!» Кто-то прибавил: «правосудие должно совершиться в улице Розье, где эти негодяи убили генералов Клеман Тома и Леконта». Тогда печальное шествие направилось в путь в сопровождении толпы приблизительно в 2000 человек, из которых большинство принадлежало к населению Монмартра.

«Когда толпа достигла улицы Розье, то штаб войск, имевший свою главную квартиру в этой улице, воспротивился экзекуции. Таким образом, шествию пришлось обратно вернуться к высотам Монмартра, все в сопровождении той же громадной толпы, все увеличивавшейся с каждой минутой. Шествие принимало все более зловещий характер, потому что, несмотря на все преступления, совершенные этим человеком, он шел так спокойно, зная уже более часа ожидавшую его судьбу, что невольно такая долгая агония заставляла вас страдать. Но, наконец, пришли. Его приставили к стене. В то время, как офицер выстраивал своих людей, собираясь скомандовать «пли», один из солдат нечаянно выстрелил в воздух. Тотчас же раздались выстрелы других солдат, и Варлен уже не существовал. Солдаты бросились было к нему, чтобы докончить его ударами прикладов, если-бы оказалось, что он еще был жив, но офицер остановил их, сказав: «Оставьте его, вы видите, что он мертв».

Tricolore позабыл упомянуть об одном обстоятельстве которое, однако, не следует предавать забвению Лейтенант Сикр взял часы убитого и оставил их у себя. Убийство сопровождалось воровством.

Вот, следовательно, какими приемами Версаль осуществлял правосудие, порядок, гуманность и цивилизацию. Вот каким образом, «во имя законов, законами и при помощи законов», он производил «очищение от грехов». Пусть читатель помножит на многие тысячи ту каннибальскую сцену, которую мы только что описали, и тогда он получит некоторое представление об агонии умиравшего города в эту неделю, которую народ окрестил ужасным именем «Кровавой недели».

Париж превращен был в бойню. Убивали повсюду, во дворах военных и профосных судов и вне их—у баррикад, в траншеях, под мостами, в домах, у водосточных канав, в катакомбах. Всякий офицер—унтер или солдат—имел право судить собственною властью и убить парижанина или парижанку. Убивали за слово, за жест, за имя, за сходство, даже ни за что, просто по указанию обезумевшей толпы. Убивали тех, кто сражался, и тех, кто не сражался; тех, которые прятали свое оружие, и тех, кто отдавал его; тех, наконец, у которых оставались еще от первой осады форменные штаны, пара штиблет; прохожих, у которых руки оказывались черными, или лоснилось то место на одежде, куда прикладывается ложе ружья. Женщин убивали, потому, что они петролеищицы и кугоросницы, детей,—потому что они—семья коммунаров, а следовало, конечно, уничтожить и приплод вместе с производителями. Убивали с наслаждением, играючи, все то, что имело рабочую внешность, что казалось республиканским.

И эта бойня вызвала, наконец, необходимость в устройстве складов для трупов. Фургонов, беспрестанно двигавшихся по улицам, телег, мебельных платформ, перегруженных кровавым мясом, оказалось недостаточно для вывозки ямы всех трупов, разбросанных на тротуарах, в тюремных дворах, в казармах, в школах, в мэриях. Сами ямы оказались недостаточно многочисленными, глубокими и широкими, чтобы вместить в себя всю эту человеческую говядину, которую старались впихнуть в них. Между тем этих ям понарыли повсюду, в скверах, на откосах, на склонах укреплений, а когда не доставало земли, то переходили к помощи даже воды. Сена уносила десятки расстрелянных из ружей и митральез. Многие сотни гнили в тине озера на Бют-Шомон. Но ничто не помогало, все еще оставалось много неприбранных трупов, и всегда не хватало могил. В садах Политехнической школы можно было видеть насыпь из трупов длиной в 100 метров и высотой в 3 метра. В Люксембурге зеленеющие аллеи были завалены трупами. «В Сен-Антуанском предместьи, по словам газет «Порядка», трупы встреча-

лись повсюду, наваленные кучами, как навоз». Тьер прежде всего потребовал, чтобы ради примера их не убирали. Что сказать о кладбище Пер-Лашез, о тюрьме Ла-Рокет и ее окрестностях, об улицах Бельвиля и Менильмонтана, об этом театре последней битвы?

В тех местах, где, как в парке Монсо, на лугу Трокадеро, в сквере у башни Сен-Жак, хоронили с большой поспешностью, недостаточно глубоко вырытые ямы не вмещали всего содержимого. Кто говорит об этом? Пресса, сочувствующая Коммуне? Ее уже более не существует. Об этом рассказывают буржуазные газеты, органы наиболее благонамеренные и осторожные: *S'ècle, Temps, Moniteur Universel*. Вот что писали в последней газете, в номере от 1-го июня: «Что особенно поражало—это зрелище, представляемое башней Сен-Жак. Ворота сквера были заперты, и в сквере расхаживали часовые. Сломанные ветви свешивались с деревьев; громадные ямы всюду пестрели на газоне, углубляясь в почву. Из этих влажных заплат, только что закопанных лопатами, кое где высывались то головы и руки, то ноги и руки. На уровне почвы вырисовывались профили трупов, одетых в форму национальной гвардии: зрелище было ужасно... отвратительный запах несся из этого сада; минутами и на иных местах сад насыщался зловонием». Газеты прибавляли даже, что ночью глухие стоны и мучительные крики вырывались из этих гниющих нагромождений. Черезчур поспешно очищали телеги, и не один, похороненный заживо, еще бился и хрипел в общей могиле!

Тьер, ликуя по поводу такого полного осуществления своего желания, сообщал своим префектам: «Земля усеена их трупами; это ужасное зрелище да послужит уроком». Однако, самое буржуазии охватил страх перед головокружительным нагромождением всех этих ужасов. Отвратительные мясные мухи заражали воздух, и улицы покрылись стрижами, умершими вследствие укусов этих мух. Заправились испугались заразы и газеты забили тревогу. «Не следует допускать, писала одна из них, чтобы эти мерзавцы, причинившие нам столько бед живыми, могли-бы еще повредить нам и после своей смерти». Груды гниющего мяса, которые представляли собою все, что осталось от этих «мерзавцев», обсыпаны были хлором, но и от этого заразные испарения не уменьшались. Попробовали тогда залить эти трупы негашеной известью и сжечь их при помощи петролеума. Но все было напрасно, потому что убийства продолжались попрежнему. Трупы все прибывали. Нужно было остановиться, или, по крайней мере, сделать «передышку», как это требовал

перебитых во вторник, 30 мая, у ворот Майльо при аналогичных условиях.

Когда колонны достигали Версаля, их встречал весь бомонд, сбегавшийся, как на спектакль, все распутники и распутницы «хорошего общества». Господа в перчатках и дамы в платьях с оборками набрасывались на обезумевшее и мрачное стадо, которое держала в повиновении солдатчина с обнаженными саблями и заряженными ружьями. Они ругали и гнусно оскорбляли несчастных, лишенных возможности сопротивляться; господа своими тросточками, а дамы своими зонтиками били, по чему попало, стараясь, впрочем, попасть в глаза. Жены жандармов и городских, смешавшись с людьми из высшего общества, плевали пленным в лицо, давали им пощечины, вырывали у них бороды и голоса, и не одна кумушка, не одна кокотка подражали им... Эти безобразные сцены вызвали негодование очевидцев их, корреспондентов иностранных газет, даже самых консервативных, как Times и Standard. «Какая-же разница после этого существует, писал Times, между партизанами Коммуны и сторонниками версальского правительства?» После Версаля—конечным пунктом, т. е. временным пунктом в ожидании понтонов, каторжных работ или поля экзекуции,—был Сатори, им завершалось это шествие, в сто раз более мучительное и скорбное, чем легендарное шествие Христа на Голгофу. В Сатори или в Оранжерее уляжется, наконец, под дулами пушек и заряженных митральез это печальное стадо, отданное под надзор еще худших палачей, чем его прежние конвойные. Счастливы мертвецы!—как говорит Андре Лео,—они, по крайней мере, не испытываю больше мучений.

Пережившие и избежавшие этого ада и теперь еще, спустя тридцать пять лет, говорят о нем с чувством непреодолимого отвращения, ужаса и почти страха. Сатори не было тюрьмой, это был хлев, в котором кишели облепленные червями, а вскоре и покрытые гнойными язвами тысячи мужчин, женщин и детей; пищей им служила корка хлеба, и питье—изредка вода, загрязненная притом испражнениями.

В этот хлев палач спускался во все часы дня и ночи и отмечал по своему выбору жертвы для казни, которых тотчас же и казнили.

Кто желает более точно познакомиться с судьбой, уготованной Версалем для своих военнопленных, с тем, что Тьер и его сотрудники по репрессии называли «искуплением», тот пусть прочтет следующий рассказ. Рассказ этот, независимо от того, что он знакомит с сущностью положения, отличается еще и тем

достоинством, что он был напечатан в самой реакционной газете того времени—в Gaulois и написан рабочим, наборщиком в типографии Gaulois, который сам не без гордости заявляет, что он был противником Коммуны, и хвастает, что с 18-го марта по 21-ое мая он прятался, чтобы не служить революционному правительству. Бедняга!—в тот самый момент, когда он считал себя «освобожденным», он был схвачен в типографии Gaulois патрулем версальцев, отведен в парк Монсо, а оттуда препровожден в Сатори. Мы опускаем начало рассказа, где весьма трогательно описывается, как автора раз'единили с его юным сыном, и переходим прямо к нашей теме. Вот, как рассказывает этот несчастный о том, что он видел и вытерпел, а с ним и тысячи других.

«Нас загнали в огороженное пространство; перед нами были зубчатые стены, а за ними вооруженные солдаты. С другой стороны на нас направлены были митральезы; их я никогда ранее не видал. Сосед спросил: «что это такое?» Жандарм, зевая, ответил: «Это? это—кофейные мельницы! ими завтра очистят все место»... Жандармы приказали нам лечь, мы повиновались. Те, которые было замешкались, тоже упали, но чтобы уже не вставать: их расстреляли...

...Следующий день не принес нам никакой перемены. Мы продолжали лежать. Как только кто-либо из нас приподымался, пули свистели над нашими головами. Днем еще было сносно, но ночью полил крупный дождь и лил не прекращаясь. Скоро земля размокла, положение наше стало невыносимым. Наша одежда, прилипшая сначала к телу, уходила в почву: грязь и люди составляли теперь как-бы одно целое. Наиболее смелые пытались было встать, но при каждом движении смертоносные орудия изрыгали свинец и раздавались проклятия пьяных солдат; и пули, пущенные наугад, попадали «в кучу», как выразился один из офицеров.

...Когда рассвело, представившаяся нашим глазам картина была ужасна: среди всей этой грязи видны были кровавые лужи; мертвые и раненые лежали вперемежку, последние без всякой помощи; это было страшно! Меня вывел из моего оцепенения какой-то сильный шум, он все усиливался, а ему вторил какой-то другой шум. Вскоре я поступил как и другие: я смотрел... Приближалась под конвоем толпа женщин и детей. Детей!

Женщины шли всю ночь и благодаря дождю, лившему с промежутками, через тонкие ткани их платьев разорвались, многие женщины были почти обнажены до пояса, что же касается до их обуви, то дорожная грязь с'ела ее; женщины шли босыми.

Таких можно было отличить от других, потому что они хромали.

...Это повторялось пять раз в течение суток. Наконец, очередь по алфавиту дошла до меня и я предстал перед офицером. Я не помню, что я ему сказал: я говорил о холоде, о голоде, о дожде и особенно о ребенке... Он отправил меня обратно. На следующий день меня втолкнули в скотский вагон и везли в течение 22 часов! Я потерял всякое представление о дне и ночи. Когда я вышел из вагона, то не знал, рассвет-ли это или закат<sup>1)</sup>.

Эта картина перенесенных страданий, нарисованная мужчиной, позволяет представить себе, какова была судьба женщин и детей, из которых некоторые должны были провести в этом аду целые месяцы. Но какое дело было палачам до этих женщин и до их детей? Figaro, забегая вперед в виду возможного проявления чувства жалости, говорил: «Пусть успокоятся, вспомнив, что все дома терпимости столицы открыты были протежировавшими им национальными гвардейцами, и что большинство из этих дам были ранее обитательницами этих учреждений». А Дюма-сын, патентованный моралист театра и алькова, заявлял, утапывая ногами трупы: «Мы ничего не скажем о их самках (подругах федералистов) из-за уважения к женщинам, на которых они походят, когда мертвы». Вспомните при этом, в виде контраста, свободный от всяких притеснений и дурного отношения арест, практиковавшийся с соблюдением уважения к личности и ее достоинству, которому Коммуна подвергала своих собственных заключенных, даже и самих заложников, и скажите: на чьей стороне были варвары и на какой—цивилизованные люди?

Сколько же было этих несчастных, страдания которых мы только что пытались описать? В данном случае Версаль дает все-таки некоторые цифры; только мертвецы лишены были статистики. По официальным документам значилось: арестовано мужчин—36.859, женщин—1.058, детей—651. Но эти цифры несомненно ниже действительных, так как генерал Аппер и его сотоварищи, военные статистики, не поместили в это число 5 или 6.000 арестованных, которым удалось доказать свою полную непричастность к движению и которые содержались только незначительное время. 45.000 арестованных — вот та цифра, которая, на основании различных заслуживающих доверия данных, кажется более точной и несколько не преувеличенной. 20.000 с

21-го по 29-ое мая, 25.000 в течение следующих двух месяцев. В начале главная масса арестована была прямо на улицах и во время обысков, произведенных в домах под видом отобрания оружия. Отсюда происходили неизбежные недоразумения, в роде, например, того, жертвою которого стал наборщик газеты Gaulois, печальные похождения которого мы только что рассказали. Некоторое число переодетых в штатское платье священников и типичных реакционеров также были благодаря такому способу арестов захвачены в первые этапы пленных, туда-же попадали и дамы «из лучшего общества», которые на улицах Парижа и Версаля очень легко сходили за «низких петролейщиц», о которых трубили их газеты. Но, спустя несколько дней, аресты приняли более методичный характер. Войска были руководимы в своих поисках «комитетами чистки», составленными из буржуа, живших в кварталах, а также доносчиками-добровольцами. Для последних полицейские книги заявлений были всегда братски открыты, и число доносов с 24-го мая по 13-ое июня достигло баснословной цифры 379.828. Одна уже эта черта говорит, более, может быть, чем все другое, о низости победившего класса и о характере той беспощадности, которую он желал внести в репрессию.

Весьма понятно, что правительство не могло судить такое громадное число арестованных с соблюдением всех законных форм правосудия, даже пользуясь упрощенным производством военных судов. Оно не могло этого сделать еще и потому, что не предприняло заранее никаких шагов, и кажется несомненным, что оно просто не желало иметь пленных и рассчитывало, что армия не будет брать в плен.

Но эти пленные были все-таки теперь налицо. Невозможно было расстрелять их всех, этого нельзя было сделать на глазах волнующейся Франции и внимательно следившей за всем Европы. Этому приходилось подчиниться, и поэтому с августа эра юридического возмездия наследовала эре военных экзекуций. Но, несмотря на это, мучения побежденных продолжались еще в течение долгих недель. 30.000 из них, на которых уже заранее смотрели, как на осужденных, были эвакуированы на понтоны и в форты Ламанша и берега Атлантического океана, где они встречали после переезда в скотских вагонах, тянувшегося 25, 30 и 32 часа, те-же насилия и те-же мучения, которые они уже испытали ранее в Сатори. Из их числа 1179 человек умерло.

Благодаря такому размещению арестованных, версальская юстиция употребляла большую часть своего времени на доставку своих жертв в заседания суда. Но эти жертвы были так мало

<sup>1)</sup> Gaulois 21-го сентября 1871 г. Выписка из статьи Quatre mois de captivité

виновны даже в глазах самих этих кровожадных зверей, призванных решить их судьбу, доказательства их преступлений так основательно отсутствовали, что все эти Гаво, Мерлины, Боаденеме, Жобеи, Деллапорты и подобные им могли в общем произнести всего 10.137 противоречивых приговоров, из которых 9.285 только за вооруженное восстание и незаконное отправление общественных должностей. Таким образом, против 30.000 человек обвинение было просто на просто прекращено, но только после предварительного заключения, и какого еще заключения: которое тянулось порой целые месяцы, а иногда и годы!

Эти процессы, которые велись, как какие-то аттаки в штюки, судьями-офицерами, унтер-офицерами и солдатами, у которых сапоги еще не просохли от крови и которые судили,—о, на-смешка!—пленных, которых не смогли убить до битвы, в течение ее или во время бойни, эти процессы все-таки доказали отсутствие тех обвинений, тяжестью которых надеялись подавить побежденных и опозорить их в глазах истории. Дело о петролейщиках—а их было организовано под начальством Ферре до восьми тысяч, как утверждали газеты Парижа!—свелось на процесс пяти мужественных женщин: Ретиф, Сюэтан, Маршэ, Паповоан и Бокэн, присужденных первые три к смертной казни не за поджог общественных зданий, который не мог быть доказан, а за то, что они сражались на баррикадах.

Дело о поджогах окончилось не менее плачевно. В общем ни одна из клевет, направленных против всего революционного движения или против наиболее известных его участников в частности, не могла быть подкреплена ни малейшим доказательством и не дошла даже до судебного разбирательства. Ни один из хитроумных судей в галунах не решился взять на себя смелость обвинять коммунаров в лихоимстве, в краже и в грабеже, т. е. в преступлениях, в которых их так щедро обвиняла буржуазная пресса. При разборе дела этого грозного восстания, которое, по словам газет, рекрутировало своих адептов среди обитателей всех тюрем Франции и всего света, из всех 40.000 арестованных и 13.000 осужденных оказалось всего 2.381 человек, справки о которых подтвердили их прежнюю судимость за преступления и проступки, характеризовать которые, впрочем, официальный отчет, появившийся 1-го января 1875 г., воздержался. Надо еще добавить, что эта цифра получилась, несмотря на значительное число рецидивистов, намеренно припущенных к следствию. Наконец, эта инсurreкция, которую возбудили якобы иностранцы на иностранное золото, и в которую якобы бросились с целью разжечь ее пламя всякие

авантюристы обоих миров, дала только 396 осужденных—не французов.

Многие из этих процессов разбирались с большой pompой, особенно тот, который происходил в 3-м военном суде и тянулся с 7-го августа по 2-е сентября 1871 г. В числе обвиняемых были пятнадцать членов Коммуны, попавших в руки неприятеля: Асси, Бильорэ, Шампи, Виктор Клеман, Курбе, Декан, Ферре, Паскаль Груссе, Журд, Улисс Паран, Рагуль, Режер, Тренке, Верддор и Урбэн, затем Ферра и Люллье из Центрального Комитета. Процесс не дал, однако, того, на что рассчитывал Версаль. Приказные в эполетах были, правда, жестоки, но еще более они были смешны. Обвиняемые также, надо признать это, не держали себя на должной высоте. Журд и Груссе держали себя твердо и смело, но чересчур замкнулись в сфере своей личной деятельности. Никто из обвиняемых, за исключением Тренке и Ферре, не попытался поставить вопрос на почву великого социального состязания, т. е. не сделал того, что являлось единственно подходящим, особенно при общей слабости защиты

Но дали-ли бы им говорить? В этом можно сомневаться, если мы припомним прием, который краткая «защита» Ферре встретила у судей, у обвинения и у публики. Из своего заявления, которое не содержит в себе и пятидесяти строк, делегат Коммуны в Комиссии Общественной Безопасности мог прочитать только первые и последние строки. Из этих пятидесяти несчастных строк он мог произнести только то, что мы с полной точностью сейчас приведем вместе с злыми перерывами председателя суда Мерлина и правительственного комиссара Гаво, которые помешали чтению заявления Ферре. Этот эпизод лучше всего рисует судебные прения в этом суде убитых, а также и в других судах, функционировавших по соседству с ним.

М е р л и н. Слово принадлежит защитнику Ферре.

М а р ш а н. — Господа, чтобы исполнить требования закона, необходимо было назначить Ферре защитника, и г. председатель назначил меня. Мой клиент заявил о нежелании иметь защитника. Прошу во имя свободы его защиты, чтобы ему самому предоставлено было слово.

М е р л и н (обращаясь к Ферре). — Прежде, чем дать вам слово, я должен вас предупредить, что не потерплю ничего, что служило бы к прославлению Коммуны. Вам нечего здесь восхвалять, а следует лишь защищаться и ответить на выставленные против вас обвинения.

Ф е р р е. — С целью сообразоваться с этим требованием я и написал несколько слов, которые желал бы прочитать.



(Читает). Господа, после заключения Парижского трактата, явившегося следствием позорной капитуляции Парижа, республике грозила опасность. Люди, унаследовавшие империи, павшей в грязи и крови...

М е р л и н. — Павшей в грязи и крови?.. Я вас останавливаю. Разве ваше правительство не было в таких-же точно условиях?

Ф е р р е. — ... эти люди цеплялись за власть и хотя и находились под гнетом общественного презрения, но подготовляли в тиши государственный переворот; они отказывали Парижу в избрании им своего муниципального совета.

Г а в о. — Это неправда.

Ф е р р е. — 18-го марта не было еще закона, разрешавшего выборы.

М е р л и н. — Я предупреждаю вас во второй раз; если в третий раз я вас остановлю, то лишь слова.

Ф е р р е. — (продолжая). Честные и искренние газеты были запрещены, лучшие патриоты осуждены были на смертную казнь...

М е р л и н. — Садитесь, я лишаю вас слова и передаю его вашему защитнику, если он имеет что-либо сказать.

Ф е р р е. — Мне осталось прочесть всего несколько строк, и я в особенности хотел бы прочесть последние, которые касаются исключительно меня.

М е р л и н. — (после просьбы адвоката Маршана). Пусть прочтет.

Ф е р р е. — Я—член Парижской Коммуны и нахожусь в руках ее победителей. Они хотят моей головы, пусть они ее берут. Никогда я не спасу своей жизни низостью. Свободным я жил, таким-же желаю и умереть. Добавлю только одно слово. Судьба капризна. Будущему завещаю я вспомнить обо мне и отомстить.

М е р л и н. — Вспомнить убийцу!

Г а в о. — Подобному манифесту место на каторге.

М е р л и н. — Все это не относится к действиям, благодаря которым вы находитесь здесь.

Ф е р р е. — Это доказывает что я принимаю судьбу, которая мне уготована.

Ответом на эти благородные и гордые слова был смертный приговор. Люлье был вынесен такой же приговор, но только для формы, так как тотчас-же он был помилован. Остальные подсудимые, кроме оправданных Декана и Парана, и Курбе и Виктора Клемана, присужденных к трем и к шести месяцам

тюремного заключения, осуждены были в каторжные работы без срока и в ссылку.

Но 30.000 трупов, подаренных реакции ее армией, и 45.000 заключенных, агонировавших на понтонах и в тюрьмах, были еще недостаточны для утоления жажды крови и репрессии, охватившей реакцию. Она хотела-бы, чтобы ни один из побежденных не избежал ее рук, и одна мысль, что некоторые из них, перейдя границу, могут найти убежище в гостеприимной стране, отравляла ее торжество и ликование.

Уже 26-го мая Жюль Фавр, обуреваемый подобными-же жестокими чувствами, обратился ко всем дипломатическим агентам Франции при иностранных дворах с циркуляром, который является памятником истинной низости. Фавр писал: «Гнусное дело злодеев, которые в данный момент падают под героическим натиском нашей армии, не может быть смешиваемо с политическими актами. Оно представляет собою ряд преступлений, предусмотренных и наказываемых уголовными законами всех цивилизованных народов. Убийство, грабеж и поджоги, систематически организованные с адским искусством, не могут предоставить их виновникам ничего иного, кроме законной кары за их совершение. Ни одна нация не может считать этих злодеев неотвественными, и присутствие их на всякой территории было-бы постыдно и опасно. В виду этого, если вы узнаете, что какое либо лицо, скомпрометированное в парижском покушении, перешло границы того государства, у которого вы аккредитованы, я уполномочиваю вас потребовать у местных властей его немедленного задержания и тотчас-же известить меня, чтобы я мог оформить дело, послав требование о выдаче преступника». После этого Фавр еще несколько раз возобновлял официально и официально такого-же рода попытки у разных дворов, с целью добиться тех-же результатов. Буржуазная Франция, столь униженная и сговорчивая перед европейскими монархиями,— после своего поражения—в этом случае становилась упорной, горделивой и почти вызывающей: твердо и настойчиво она требовала выдачи беглецов во имя международного права и всемирной нравственности.

Однако, только Испания и Бельгия унизились до того, что сначала склонились было на эти позорные представления. Англия в лице своего премьера Гладстона ответила, «что ее правительство должно будет еще исследовать вопрос, в каком отношении и насколько лица, выдачи которых требуют французские власти, могут быть рассматриваемы, как политические преступники». Это попросту означало отказ и урок, данный республиканским

правителям, опустившимся еще ниже, чем бандиты Брюмера и Декабря. Этот отказ британского правительства определил и решения других держав. Одна за другою большинство держав, даже Бельгия, на которую, может быть, подействовал также и полный достоинства протест Виктора Гюго, открыто или же фактически отказалась играть роль загонщиков для французской реакции; в виду этого эмигранты могли мирно поселиться на чужбине.

Это мужественное и гуманное поведение Англии спасло жизнь и свободу не одной тысяче парижских работников. Некоторые из них, более смелые или более счастливые, успели проскользнуть сквозь ячейки военной и полицейской сети, и на другой же день после поражения Коммуны им удалось перейти границу. В июне и в июле к ним присоединились и все те, которым удалось получить паспорта и запастись необходимыми на дорогу средствами; до этого же они прятались, скрывались, бродили с квартиры на квартиру, подвергаясь постоянным преследованиям и находясь под угрозой быть выданными благодаря попрежнему неистовавшим доносам. Таких эмигрантов был легион. Большинство из них направилось прямо за Ламанш, где общество, которое газеты ознакомили довольно верно с парижской бойней, относилось приветливо к изгнанникам и готово было доставлять им работу и занятия. Некоторые остались на континенте, кто в Швейцарии, кто в Бельгии, даже в Германии, в только что присоединенных провинциях, т. е. там, где еще слышался родной язык и, следовательно, разлука с родиной не казалась такой тяжкой и рискованной.

Как те, так и другие были свободны, или почти свободны, их уже не преследовали, как диких зверей; они получили право иметь оседлость и возможность устроиться, и, во всяком случае, были живы.

К концу июля в Париже не было уже, можно сказать, ни одного коммунара. Из 100.000 человек, из 100.000 республиканцев и социалистов, до самого конца поддерживавших движение 18-го марта, все те, которые не были убиты и расстреляны во время и после битвы, или которые не гнили в тюрьмах победителей, все бежали и направлись в изгнание без надежды на возвращение.

Именно в этот момент затишья и оцепенения, наступивший вслед за последними судорогами, положение представилось в своем истинном свете, и реакция могла точно определить размеры своего торжества. Целые кварталы лишились своего населения; жизнь как бы замерла в них. На некоторых улицах, на которых

ранее работники кишели, как муравьи, остались только старухи и самые маленькие дети. 100.000 избирателей не явились к урнам при муниципальных выборах в июле месяце, т. е. через два месяца после «Кровавой недели». В некоторых округах эта убыль обнаружилась особенно сильно; например, в XX округе число вотировавших в апреле—16.300—спустилось в июне до 6.700 человек. Таким образом, около 10.000 избирателей, более трех пятых взрослого мужского населения, погибли в течение штурма.

Но вскоре один еще более красноречивый документ ярко и решительно установил размер потерь, понесенных инсurreкцией, и поднял завесу с итогов этой ужасной бойни, которая совершена была армией по приказанию Тьера и буржуазии. Документом этим является исследование промышленности и торговли Парижа, предпринятое в начале осени 1871 г. членами нового муниципального совета и производившееся под руководством вождей молодого буржуазного радикализма—Ранка, Локруа и Аллэн-Тарже.

Уже генерал Аппер в своем отчете следственной комиссии о 18-м марте дал некоторые внушительные статистические данные, указывавшие на профессии осужденных коммунаров. Вот эти данные: писатели—2.901, слесаря-механики—2.664, камешники—2.293, столяры—1.659, торговые приказчики—1.598, сапожники—1.491, служащие—1.065, маляры—863, типографские рабочие—819, каменотесы—766, портные—681, столяры-полировщики—636, ювелиры—528, плотники—382, кожевники—347, скульпторы—283, жестяники—227, литейщики—224, шапочники—210, портнихи—206, басонщики—193, часовых дел мастера—179, позолотчики—172, печатники обоев—159, формовщики—157, картонажники—124, переплетчики—106, преподаватели—106, инструментальщики—98 и т. д. Но эти цифры, как мы видим, относились только к осужденным военными судами, т. е. всего к 20.000 лиц, из общего числа 100.000. Муниципальное исследование указало на общее число исчезнувших, мертвых, арестованных и эмигрировавших и наглядно обнаружило ужасные потери, произведенные реакцией в рядах класса пролетариев.

Оно обнаружило следующее: сапожное производство, в котором до 18-го марта заняты были 24.000 французских рабочих, потеряло 12.000 убитыми, арестованными или эмигрировавшими. В производстве готового платья число недостававших рабочих превысило 5.000. Потери мебельного производства в предместье Сен-Антуан достигли по меньшей мере 6.000 человек, и хозяева умоляли, чтобы им вернули их рабочих (конечно,

не тех, которые были убиты), так как они с ужасом ожидают октября, месяца заказов, и не знают, как им обойтись без этих рабочих. В строительном деле потери не могли быть еще точно установлены, но исследование указывало, что все мастера маляры должны были быть замещены учениками и что 3.000 кровельщиков, свинцовых и цинковых дел мастеров отсутствуют. Производство бронзы не досчитывало 1.500 своих лучших рабочих. Такие же потери отмечены были среди механиков и рабочих по металлу. Маляры вывесок, обычно изобиловавшие, продолжает отчет, совершенно отсутствуют. Такого же рода данные констатированы были и по отношению ко всем отраслям промышленности, производящим так называемые «парижские изделия» (article de Paris), в которых в предыдущие годы работало более, чем 20.000 рабочих. Наконец, фабриканты швейных машин заявили, что их производству грозит полное разорение, так как работницы, покупавшие раньше их машины, совершенно исчезли. Один из этих фабрикантов утверждал, что у него на руках на 400.000 франков подписок, выданных этими работницами взамен машин, взятых ими на выплату, и что из этой суммы только четвертая часть будет выплачена, так как три четверти остальных, выдавших расписки, не дают о себе знать и исчезли.

Версаль, однако, еще меньше заботился о Париже, уже разбитом, чем ранее он заботился о Париже, еще полным силы. Его мало трогали вопли и жалобы столицы, даже если они исходили и от собственных его клиентов. За революцию, совершенную или допущенную городом, он должен был отвечать весь целиком. Тьер даже насмешливо предлагал мебельным фабрикантам предместья Сен-Антуана своих пехотинцев и артиллеристов, чтобы заменить ими отсутствовавших рабочих, а для отпугивания этого ответа военные суды еще более усилили экзекуции и свои обвинительные приговоры.

Теперь этих фабрик убийств функционировало уже 26: в Версале, в Париже, в Венсенне, в Сен-Клу, в Мон Вале Бене, в Севре, в Сен-Жермене, в Рамбулье, в Шартре; остальные суды заседали в местах расположения главных военных округов. Обвиняемых спешно приводили целыми дюжинами; их вводили в суд в наручниках; многие из них лишены были даже официальных защитников, но зато «жесвидетелей было сколько угодно:— полицейских сыщиков; судьи ободряли их жестом или словом; свидетелей защиты не было, т. к. они не осмеливались являться на суд из опасения в свою очередь подвергнуться аресту. Обвинение, допрос и решение, все вместе, тянулось не более десяти минут.

Таким образом вынесено было 270 смертных приговоров, из которых 8 пришлось на долю женщин. К срочным и пожизненным каторжным работам приговорены были 410 обвиняемых, в том числе 29 женщин. В ссылку в крепость осуждены были 3.989 человек, из них 20 женщин; в простую ссылку послано было 3.507 чел., в том числе 16 женщин и 1 подросток; к тюремному заключению приговорены были 1.629 чел., из них 8 женщин; к простому заключению—64, в том числе 10 женщин; к общественным работам приговорены были 29. К аресту более, чем на год, приговорены были 1.344 чел., из них 15 женщин и 4 подростка; к аресту от 3 месяцев до 1 года—1.622, в том числе 50 женщин и 1 подросток; к аресту менее, чем 3 месяца—432. К изгнанию приговорены были 322 человека, а 117, в том числе 1 женщина, приговорены были к отдаче под полицейский надзор. Вот мрачный баланс у 1 января 1875 г. по отчету министра юстиции Третьей республики, в правление Мак-Магона. Надо еще отметить, что это краткое сведение счетов одержанной победы не коснулось приговоров, произнесенных по поводу деяний, совершенных в провинции.

Ничто не противодействовало приведению в исполнение этих низких приговоров. Знаменитая «Комиссия помилования», назначенная 17 июня Национальным Собранием по предложению самого Тьера, который лицемерно сваливал с себя на нее заботу об отпуске по капелькам буржуазного милосердия, не постановила даже и в пятидесяти случаях смягчения наказаний. Общественная совесть поэтому и заклеила ее заслуженным названием «Комиссии убийц». 28-го ноября эта комиссия позволила расстрелять или, вернее, расстреляла Росселя, Ферре и сержанта Буржуа, отведенных в наручных на Саторийское поле; их спокойное мужество заставило побледнеть самих палачей. 22-го февраля 1872 г. та же комиссия расстреляла трех якобы убийц генералов Леконта и Клемана Тома—Герпин-Лакруа, Лагранжа и Верданье, явно невиновных; они умерли при криках «да здравствует Коммуна!». 19-го марта она расстреляла Про и Веделя, осужденных за то, что они держали фонари во время ночной экзекуции в улице Шодэ, совершенной по распоряжению Рауля Риго в тюрьме Сен-Пелажи. 30-го апреля они убили мужественного раненого на баррикадах Жентона, который притащился на место экзекуции на своих костылях. 25-го марта очередь настала для кожевника Серизье, начальника знаменитого 101-го батальона XIII округа, для Буена и Будена, замешанных в убийстве доминиканцев Аркейля; своим хладнокровием они пристыдили солдат экзекуционного взвода.

6-го июля две новые жертвы расстреляны были на том же поле: Бодуань и Рульяк. 24-го июля комиссия казнила сразу четверых: Франсуа—смотрителя тюрьмы Ла-Рокет при Коммуне, Обри, Даливу и де-Сент-Омера, приговоренных к смерти за дело улицы Гаксо. 18-го сентября комиссия ограничилась тройным расстрелом: Денивелля и Дешана, обвиненных в убийстве офицера федералистов Бофора, и Лолива, заподозренного в участии в расстреле заложников в Ла-Рокет. 22-го января совершена была последняя, тоже тройная, казнь члена коммуны Филиппа из XII округа, взятого с оружием в руках, Бено и Декана—поджигателей, по словам обвинительного акта.

Осужденные в ссылку тоже не были забыты. Правительство долго колебалось в выборе такого места для далекой каторги, где бы возможно было навсегда схоронить мужественных людей, которые осмелились восстать и бороться против него; решено было наконец избрать Новую Каледонию, недоступный и пустынный утесистый остров у антиподов, в шести тысячах миль от матери-родины. Осужденные ожидали, впрочем, отправки в место ссылки, уже находясь на каторжных работах, и на каких еще работах! Нужно только почитать описания их в автобиографиях тех, которым пришлось испытать их <sup>1)</sup>;—форт Бояр, Сен-Мартен-де-Ре, остров Олерон, остров Э, форт Келлерн, тулонский Арсенал видели этих осужденных—с ядром, прикованным к ноге, и бичи и плети свистели в их ушах. Наконец день отправки наступил; 3-го мая 1872 г. Данаэ с тремястами ссыльными открыла шествие. За ней последовали: Guerrière, Garonne, Var, Rhin, Sybille, Orne, Calvados, Virginie—зловонные клетки, очаги заразы и пловучие подобия ада. Ссылаемые, к которым относились хуже, чем к уголовным преступникам, подвергались всякого рода оскорблениям и мучениям в течение этого переезда, продолжавшегося по меньшей мере пять месяцев и доставившего акулам обильную трапезу.

Тут были мужчины: члены Коммуны—Паскаль Груссе, Журд, Рагуль, Вердюр, Тренке, Амуру; агенты революционного правительства—Фонтэн, Анри Бриссак, Люциппа, Дакоста, Рок де Филоль, Бальсан; борцы, кото ым не удалось получить пулю-освободительницу на поле битвы—Лисбонн, Чиприани, братья Аллеманы, Анри Пляс; писатели—Рошфор, Альфонс Гюмбер, из Père Duchêne—Марото, Альбер Грандье; из Rappet—Оливье Пэн. Были и женщины, еще более выносли-

<sup>1)</sup> Справьтесь в *Memoires d'un Communard*, Jean Allemane.

вые и более твердые, чем мужчины; например, Луиза Мишель, требовавшая от судей смерти, но они ей в этом отказали. «Я не желаю защищаться,—сказала она этим рубакам, когда предстала перед ними,—и не хочу, чтобы меня защищали! Я вся целиком принадлежу социальной революции и заявляю, что готова принять ответственность за все мои действия. Я принимаю эту ответственность без всяких ограничений.\* Вы обвиняете меня, что я участвовала в расстреле генералов? На это я заявляю: Да, если бы я находилась на Монмартре, когда они собирались стрелять в народ, то ни одной минуты не поколебалась бы заставить стрелять в тех, кто отдавал подобные приказания. Что-же касается парижских пожаров, то я участвовала в них, я хотела противопоставить нападающим преграду из огня. У меня нет соучастников; я действовала по собственным побуждениям... И я прошу у вас, которые выставляют себя военным судом и которые выдают себя за моих судей и не прячутся, как комиссия помилования, я прошу у вас Саторийского поля, где уже пали наши братья. Вам говорят: надо выкинуть меня из общества. Ну, что же! Комиссар республики прав. Так как, повидимому, всякое сердце, бьющееся за свободу, имеет право лишь на кусочек свинца, то я требую и своей доли! Если вы оставите меня жить, я не перестану кричать о мести и передам убийц комиссии помилования мести моих братий. Я кончила... если вы не трусы,—убейте меня». И военные суды задрожали перед этой женщиной, которая вызывала их с таким спокойным мужеством; они не осмелились приговорить ее к смерти и осудили ее на медленную смерть,—на ссылку в крепостях. Она отнеслась к своей участи стоически, и на палубе Virginie, которая увозила ее далеко от Франции, от матери, от всего, что ей было дорого, она утешала своих сотоварищей по неволе, как она будет утешать и поддерживать их и в конце переезда, на земле изгнания, всегда сохраняя в своей несокрушимой душе надежду и веру, веру в великое дело пролетариата, надежду на неизбежное отмщение.

Вот и все! В эти дни искупление было завершено, и оно было полное. Законами, посредством законов, посредством своих законов буржуазная реакция, как этого и требовал Тьер, приложила печать к своему торжеству. Она совершила этот удар грандиознее, чем в июне и в декабре <sup>1)</sup>. Она сломила рабочий класс, выпустила из него всю кровь, выбросила из его среды на целые годы его наиболее смелые и мятежные элементы. Перед этим ее последним преступлением все предыдущие ее престу-

<sup>1)</sup> В июне 1848 г. в декабре 1851 г. Пер.

пления, бывшие в истории, в ее, по крайней мере, истории, умяляются и бледнеют. Варфоломеевская ночь не унесла с собой и 5.000 жертв, террор 93 и 94 г.г. считает свои жертвы разве только вдвое большим числом; но как Варфоломеевская ночь, так и террор захватили всю территорию страны. В июне 48 г. убитых было, может быть, 10.000. На этот раз их надо считать в 30.000, вместе с другими 70.000, так или иначе вычеркнутыми если не из жизни, то из общества: это были посаженные в склепы, которые не должны были возвращать раз попавшую в них добычу или, наконец, это были выброшенные из родного края на бесконечные скитания в изгнании. Чтобы найти в истории такие же разительные и чудовищные примеры, следует вернуться к временам Рима, Мидии и Ассирии, к страшным избиениям варварских времен, когда человек был для человека волком, когда он это сознавал и открыто говорил об этом.

В данном случае столкнулись не два народа, а два класса, настолько же чуждые друг-другу, как ассирийцы и евреи, карфагеняне и римляне, настолько же непримиримо враждебные, как угнетатели и угнетаемые, как грабители и обираемые, как господа и рабы, и если существует международное право и народное право между одним кабинетом и другим, между одним правительством и другим, между одной нацией и другой, то этих прав нет и не может быть для классов, которые борются в границах одной и той же страны и опаривают друг у друга не клочок какой-нибудь провинции, а право на жизнь и на пользование плодами труда. В этом случае действует только одно правило, один закон—это закон более сильного, и... горе побежденному!

---

## ХІХ. Несколько замечаний.

Самое затруднительное—это судить о неудавшемся движении. Победенные всегда виновны, даже в глазах людей, любящих их и разделяющих их убеждения. Кто наиболее страстно надеялся на их победу, тот весьма часто склонен и отнестись к ним наиболее сурово. В этом, может быть, лежит причина того, что Коммуна так мало встречала и до сих пор еще так мало встречает снисхождения в глазах даже симпатизирующих ей ученых, пожелавших заняться ею. В общем Коммуна получила прощение и полное и открытое признание только у пролетариата, который, игнорируя детали и случайности, а, следовательно, и слабость, неспособность и индивидуальные погрешности ее,

вспоминает только об одной баррикаде, картину которой он рисует на экране прошлого, как эпизод самый героический из бывших до сих пор и наиболее известный в его вековой борьбе против владеющих Капиталом и Властью. Может быть, это представление—упрощенный мираж, не передающий ни противоречий, ни оттенков. Но, принимая во внимание общую картину, не является ли такое понимание наиболее верным и даже единственно верным?

Правда,—об этом уже много говорилось, и мы сами старались доказать это,—Коммуна при своем возникновении явилась движением поразительно спутанным и смутным, и ее бурное течение прорезано было различными и сложными потоками. Правда, очень многие патриоты заблудились в этом движении и, как Россель, например, думали, что через него и с его помощью возможно было наэлектризовать истекающую кровью и умирающую Францию и снова бросить ее на пруссаков. Мечта безумная, нелепая надежда, но она все-таки возбуждала, несомненно, не мало голов. Правда также и то, что республиканцы, и притом все республиканцы столицы, на одно мгновение явно или молчаливо присоединились к инсurreкционному правительству, потому что видели в нем гарантию против заговоров, замыслаемых в Национальном Собрании и во всей стране выходцами реакции и направленных против режима, созданного революцией 4-го сентября. Да, все это верно, и возможно даже утверждать, что, как республиканское движение, Коммуна достигла некоторого успеха, что именно под ее давлением Тьер, чтобы успокоить волнующиеся большие города провинции, должен был дать обещание сохранить республику, а затем не мог уже и не хотел изменять то, что вынужден был сделать по необходимости. Можно еще прибавить, что Коммуна являлась коммунальным движением, что она задавалась целями децентрализации, широкой административной и политической автономии, и многие доходили даже до чрезуур смелого заключения, что в этом-то именно и заключалась ее главная мысль, ее руководящая идея и как-бы духовное ее завещание.

Да, все эти утверждения заключают в себе долю и, иной раз, значительную долю истины. Надо еще добавить, что Коммуна, как, впрочем, и всякая иная революция, не развивалась сообразно какой-либо предвзятой схеме, по какому либо идеальному плану, в какой-то абстрагированной пустоте. Сдавленная, хаотичная и подвижная, как сама жизнь и те исключительные условия, при которых она возникла, Коммуна дает зрительно возможность охарактеризовать себя очень различно и, иной раз, очень противо-

речью. Конечно, она являлась патриотической, республиканской, коммунальной, но вместе с тем она представляла собою нечто иное. Прежде всего и главным образом она была пролетарской, следовательно, социалистической, потому что пролетариат, раз двинувшись, может действовать и бороться только ради социалистической цели. Коммуна была—и народное сознание ясно видело и чувствовало это—рабочей инсurreкцией, которая поставила против эксплуататоров эксплуатируемых, вначале с целью сохранить оружие, которое желали у них отнять, а затем в целях собственного их освобождения. По своей сущности и по основам она была первым крупным генеральным сражением Труда с Капиталом. И именно потому, что Коммуна носила прежде всего этот характер, что ее республиканство являлось лишь бессознательным социализмом, который угрожал самим основам социального порядка и провозглашал новый порядок,—она и была побеждена, а будучи побеждена,—задушена.

Мы уже сказали и не отказываемся от этой мысли, что, если бы революционная Коммуна случайно захватила власть в течение осады, если бы ей удалось ее 31-е октября или 22-е января, она могла бы укрепиться и продержаться. Почему? Потому что она казалась-бы истинно патриотической и была-бы действительно таковой, даже если бы и не желала этого. Оказавшись против завоевателя, она до известной степени чисто механически явилась-бы национальным средоточием и спаяла-бы во всяком случае на некоторое время с вооруженным пролетариатом среднюю и мелкую буржуазию. Она увлекла-бы в битву, овладела-бы и, следовательно, подчинила-бы себе такие социальные категории, которые при иных обстоятельствах должны были избежать ее воздействия, и благодаря этому она имела-бы возможность осуществить, даже вопреки желанию самих этих социальных категорий, глубокие реформы, которые узаконивались-бы наличными условиями, но несомненно пережили-бы сами эти условия. Таким образом, она прошла-бы один из этапов по пути эволюции и создала-бы по меньшей мере демократическую республику, пришествие которой и до сих пор составляет лишь предмет наших надежд.

Но когда капитуляция была уже подписана, когда мир был заключен, а законное Собрание, избранное страной, уже заседало, подобное развитие событий становилось невозможным. Буржуазия должна была роковым образом сначала ускользнуть, а вскоре и открыто выступить против Коммуны. Это и случилось в действительности. Двусмысленное положение продолжалось всего неделю. Коммуна 18-го марта почти немедленно проявила

себя, как чисто пролетарское движение; чувствовалось и чуялось, что она именно такова, и вокруг нее автоматически создалось пустое пространство. Не прошло и двух недель, как в Париже и вне его против Коммуны заключен был союз всех буржуазных элементов, заинтересованных в сохранении существующего экономического порядка, и она встретила на своем пути республиканцев и радикалов в роде Луи Блана, Клемансо или Бриссона, настолько-же озлобленных, ядовитых и беспощадных, как самые худшие из истинных реакционеров, желавших унижить, опозорить и уничтожить ее. В распоряжении Коммуны, как для защиты, так и для управления, оставались одни только пролетарии и редкие перебежчики из буржуазии, потерявшие связь с нею, как с классом, которые принесли с собою только одну свою личность.

Но в эти мартовские и майские дни 1871 г. рабочий класс не созрел еще для подобного колоссального дела. Ясное самосознание еще отсутствовало среди него. Главным же образом он не обладал в то время даже и зародышевыми формами тех учреждений, которым суждено заместить учреждения капиталистического порядка и обеспечить и упорядочить в обновленном мире круговорот производства и обмена; он не имел еще своих собственных профессиональных и кооперативных учреждений, появление и развитие которых должно предшествовать пролетарскому движению, а не следовать за ним, потому что именно эти учреждения, эти образующие элементы общества завтрашнего дня являются в наше время целым обществом в потенции и уже заранее представляют собою самую революцию.

Таким образом, даже если мы допустим эфемерную гипотезу о кратковременном торжестве Коммуны, то пришлось-бы сказать, что она могла-бы демократизировать существующие политические учреждения, проложить рабочему классу его путь, облегчить его поступательное движение, освободив его от некоторых оков, которые опутывают его ноги, как какие-то каторжные ядра. Но, помимо этого, Коммуна очевидно ничего бы не дала, и ее победа с точки зрения чисто пролетарской и социалистической явилась-бы, без сомнения, как мы уже говорили, только иною формой поражения.

Поражение Коммуны в то время, может быть, имело еще большую ценность. Последовавшая вслед за ним жестокая репрессия придала инсurreкции, к которой при иных условиях могло-бы выработаться безразличное отношение, трагическое величие. Поражение это вырыло между правящими и управляемыми, между эксплуататорами и эксплуатируемыми, экспроприаторами

и экспроприруемыи ту пропасть, через которую с тех пор уже не мог быть перекинут и не будет перекинут никакой мост. Оно глубоко отозвалось и до сих пор еще отзывается в сердце всемирного пролетарита и вызвало во всех странах автономное социалистическое и рабочее движение, стремящееся все более и более обособиться от всех буржуазных партий с тем, чтобы реализовать свои собственные цели и осуществить полную и абсолютную переплавку общества, осужденного до самых своих основ.

К О Н Е Ц .

Воспоминание О-ва Гольдштерн и со-последов  
Уральское Отделение